

Василий Иванович АрдаMATский

Ленинградская зима

Глава первая

Шел июль сорок первого года — война с Россией была в полном разгаре...

Михель Эрик Аксель терпеливо ждал назначения. Каждое утро он приходил на Тирпицфер, в главный штаб абвера, и прежде всего направлялся в протокольный отдел — приказа все не было. Аксель — достаточно зарекомендовавший себя офицер абвера, чтобы не нервничать и знать, что впереди его ждет достойное дело. Временно он работал в отделе систематизации разведанных. Это тоже было приятное занятие — ежедневно, ежечасно, хотя бы по донесениям, наблюдать, как немецкие войска стальными клиньями вламываются в страну большевиков, берут их города, сея там ужас и панику. С несколько ревнивым чувством он читал информацию, поступавшую из разведывательно-диверсионного центра «Сатурн», который вместе с центральной группой войск был нацелен на Москву. Перед началом кампании он ожидал, что «Сатурн» будет поручен ему. Он очень хотел этого и был поражен, когда начальником «Сатурна» назначили Зомбаха — одного из «серых полковников» абвера; эти полковники только тем и славились, что у них безупречные биографии.

Аксель в военной разведке всего пять лет, но в его послужном списке уже немало серьезных дел... Главное, конечно, Мадрид. Его послали туда в 1936 году, когда генерал Франко поднял мятеж против Испанской республики. В Мадридском университете тогда появился молодой немецкий ученый — долговязый, с приятным интеллигентным лицом. Его интересовали документы и свидетельства о распаде Византии в результате четвертого крестового похода, в бесконечно далеком XIII веке. До того как стать работником абвера, Аксель три с половиной года учился во Франкфурте, в университете имени Гёте, на историческом факультете, так что в обличье неразговорчивого мужа науки ему было не так уж трудно вводить в заблуждение даже образованных людей и оправдывать приставку «д-р» на своей визитной карточке. Впрочем, всем известно, как легко получить в Германии докторское звание.

Аксель исправно ходил в архив Мадридского университета и работал с древними рукописями и документами. Там он трудился до полудня, а во второй половине дня занимался разведкой — вербовал агентов, изучал настроение республиканской столицы.

Войска Франко, поддержанные Германией и Италией, готовились к решающему наступлению. В эти дни Аксель получил приказ выехать через Португалию в порт Кадис и в определенный день и час подняться там на борт аргентинского парохода «Ангела»...

Он сделал все, как было приказано, и в капитанской каюте парохода увидел главу абвера Вильгельма Канариса.

Обязанный профессией ничему не удивляться, Аксель сдержанно приветствовал шефа и вытянулся, ожидая приказаний.

Канарис в черном кителе гражданского моряка сидел на вертящемся кресле. Не поднимаясь, он тихим, глуховатым голосом поздравил Акселя с присвоением ему звания капитана.

— Впрочем, вы знаете: у нас в абвере звание — вещь условная, безусловно только одно — талант разведчика. — Черные маслянистые глаза Канариса мазнули по высокой фигуре Акселя сверху вниз. — Однако когда есть и то и другое, можно радоваться... — Сделав секундную паузу, он дружески улыбнулся. Это было для Акселя великой наградой.

Канарис упруго выбросил свое плотное, погруневшее тело из кресла и, подходя к Акселю, сказал:

— Я читал ваши донесения. Там все правда?

Аксель молчал, но не мог скрыть обиды.

Канарис выжидательно снизу вверх смотрел на него. Недовольно сдвинув свои густые брови и отступив на шаг, он показал Акселю на диван.

— Присядьте, капитан. Что-то вы слишком впечатлительны...

Аксель сел в угол дивана, неудобно скрестив свои длинные ноги.

Канарис прислонился спиной к иллюминатору, от этого в каюте стало темнее, и Аксель перестал видеть лицо шефа.

— Фюрер ставит перед нами новые задачи... — негромко заговорил Канарис. — Совершенно новые... Франко скоро начнет последнее наступление. Мы ему поможем. В Мадриде, Барселоне и в других городах нужно срочно создать отряды из верных, хорошо вооруженных людей, которые в нужный момент ударят республике в спину. Франко будет наступать на Мадрид четырьмя колоннами, наши отряды будут пятой. Ваше мнение — это можно сделать? Сидите, пожалуйста. — Канарис опустил в кресло и сидел боком, не поворачиваясь к Акселю, не хотел мешать ему собраться для точного ответа.

— Испанцы очень своеобразны... — начал Аксель.

— Я прекрасно знаю испанцев, с ними можно иметь дело, за волевыми людьми они идут охотно.

— Степень их надежности...

— Главной силой «пятой колонны» должны стать люди, для которых победа красных означала бы их гибель, — перебил Канарис. — Этот принцип отбора охранит вас от дорогостоящих ошибок.

— Анархистов брать? — осторожно спросил Аксель.

— Только на слепые роли, люди, которые выступают против всякой власти, опасны...

Каждое новое сомнение Канарис отсекал со все большей резкостью, но Аксель не торопился соглашаться. Он отлично помнил крылатое выражение Канариса, что уверенность рождается, когда умирают сомнения. Дело стоило того, чтобы хорошо его обдумать.

— Начав эту работу, мы подвергнем себя большому риску, и я теперь все время чувствую контрразведку за своей спиной, — сказал Аксель.

— Согласен — риск есть... — Канарис наклонил голову, и его глаза спрятались под кустистыми седеющими бровями. — Да, кто-то провалится и погибнет, — продолжал он. — Может быть, и вы. А кто-то доведет дело до победного конца. — Канарис снова замолчал, давая возможность Акселю прочувствовать услышанное. — А главное, — продолжал он, — фюрер говорит нам: любое общество, любое государство в момент больших потрясений слепнет и глохнет...

Это было сумасшедшее дело... Забыв о Балдуине Фландрском, Аксель с рассвета до поздней ночи носился по Мадриду на купленном по случаю стареньком горбатом «фиате». Он вербовал верных людей в свою «пятую колонну», добывал оружие и складывал его в тайники. Он настолько обнаглел, что в отеле, где жил, снял еще две комнаты, разместил в них свой штаб — там сидели два испанских фалангиста, его помощники, которые совершенно открыто вели запись желающих воевать в рядах «пятой колонны».

Все шло как по маслу, и в нужный час «пятая колонна» вышла на улицы Мадрида, напала на его защитников с тыла и этим сильно ускорила падение города.

Канарис запомнил Акселя, и тот вернулся в Берлин, на Тирпицфер, уже майором.

Весной 1939 года Аксель получил новое ответственное задание и спешно выехал в Советский Союз. Его мадридская легенда была признана настолько удачной и прочной, что ее решили не заменять, а лишь немного подправить. Он отправился в Ленинград снова в качестве историка, под тем же именем. И снова его интересовали хитросплетения византийской истории.

— Задание фюрера срочное, но это совсем не значит, что надо спешить, — говорил Канарис, прощаясь с Акселем. — Трех-четыре месяцев, думаю, вам хватит. Зная вас как мастера сомнений... — улыбнулся он, — я не желаю вам удачи, я твердо верю в нее...

Ровно в девять утра Аксель появлялся в Государственном Эрмитаже — всегда в одном и том же скромном потертом костюме, длинноногий, медлительный, с внимательными светлыми глазами за стеклами очков. Вскоре он уже называл работавших с ним сотрудников по имени и отчеству, мило коверкал русские имена и, смеясь, извинялся за это. Он объяснял, что родился и рос в Риге, что его отец состоял компаньоном в русско-немецкой коммерческой фирме, а его лучшим другом детства был русский мальчик. С тех пор он знает русский язык, очень плохо, конечно...

Он был очень серьезен, медлителен, молчалив, не тратил ни минуты на праздные разговоры и редко вставал со своего места за огромным дубовым столом, заваленным древними манускриптами. Когда сотрудники музея шли в буфет обедать, он оставался на своем месте и однажды смущенно объяснил, что буфет не предусмотрен его скромным бюджетом. По этой же причине он живет не в отеле, а в канцелярии немецкого консульства.

— Сейчас у нас в Германии все средства отданы науке военной, а мы, историки, — просто нищие, — печально закончил он и испуганно расширил глаза: не слышал ли кто-нибудь посторонний его смелое заявление?

Сотрудники сочувственно и понимающе вздыхали, давая понять, что здесь опасаться некого, и тащили его в буфет.

После работы Аксель огибал пустынную Дворцовую площадь, шел мимо Адмиралтейства, обходил огромный Исаакиевский собор и через сквер направлялся в гостиницу «Астория». Там он обедал долго и со вкусом — русская кухня после берлинских эрзацев доставляла ему большое наслаждение. Отобедав, он покупал в вестибюле «Астории» газеты и шел через площадь в мрачное прямоугольное здание немецкого консульства, где действительно жил, но не в канцелярии, как он рассказывал, а в прекрасной комнате, которую предоставил ему консул Зоммер, его коллега по абверу и давний знакомый. Вечерами они вместе просматривали информацию агентов, работавших на консульство, составляли донесения в Берлин и обсуждали меморандум о Ленинграде, который должен был написать Аксель. Перед сном они позволяли себе партию в шахматы. И всегда за игрой возникал один и тот же спор...

Чем дальше Аксель жил в Ленинграде, тем больше поражал его этот громадный, непохожий на другие русский город. А консул не видел в Ленинграде ничего особенного, кроме того, что в нем, как в любом другом индустриальном городе, много заводов, а значит, много опасного пролетариата. Зоммер посмеивался над впечатлениями своего коллеги и называл их дамскими. Аксель называл позицию Зоммера школярской и опасной. И как во всяком споре, для Акселя постепенно прояснялась истина...

В этой поездке главной задачей Акселя было составить меморандум о Ленинграде. Такие меморандумы о шести советских городах готовились по требованию самого фюрера. Гитлер хотел знать не только военный потенциал каждого из этих городов, но и состав жителей, образ их жизни и настроения. Аксель понимал всю сложность

стоящей перед ним задачи и немного досадовал, что ему было предложено заняться в Ленинграде еще и вербовкой агентов, — для двух таких серьезных дел не хватало времени.

Наступил канун Нового года. Консул на рождественские дни уехал в Москву, чтобы провести праздник среди своих в немецком посольстве. Акселью для встречи Нового года консул распорядился заказать столик в «Астории». С ним пойдут две девушки из консульства — секретарша консула Лора и сотрудница шифровального отдела Клара.

Их столик оказался на возвышении, в боковой галерее, откуда хорошо был виден весь зал, в центре которого стояла большая елка с красной пятиконечной звездой на макушке. Аксель с большим любопытством наблюдал, как зал заполнялся людьми — удивительно разными по возрасту, по манере держаться и даже по одежде. Рядом, у большого стола, уселась компания гражданских моряков. Их дамы старались держаться небрежно и величественно, но это плохо им удавалось — атмосфера шикарного ресторана была для них непривычна. Поодаль тесно облепила стол шумная компания молодежи. Парни были одеты, как показалось Акселью, небрежно, двое из них были даже без галстуков, в спортивных рубашках с расстегнутым воротом. А их девушки, наоборот, старательно принарядились, завились, подкрасили губы. Вытянув шеи, они с жадным любопытством глядели по сторонам и перешептывались.

Спутницы Акселя были одеты просто, держались непринужденно, казалось, им нет никакого дела до всего, что происходит вокруг. Лора с ее почти белыми, падавшими на плечи волосами могла считаться классическим типом нордической женщины, настоящей арийки — у консула Зоммера был недурной вкус. У Клары — длинные черные глаза, а черные волосы вились крупными кольцами. Она была тоже красива по-своему.

Откуда-то сверху раздался хорошо знакомый всем голос диктора — началось официальное новогоднее поздравление по радио из Москвы. Все встали с бокалами в руках. Поздравление показалось Акселью слишком длинным, он с удивлением наблюдал, как внимательно и серьезно все вокруг слушали то, что говорила Москва. Он показал глазами своим дамам, что надо встать, и они тихонько поднялись с бокалами в руках.

Наконец послышались звуки гимна. Раздался нестройный крик «ура!». Захлопали пробки шампанского. Зазвенели бокалы. Слышались возгласы, люди целовались, снова кричали «ура!» и смеялись.

Аксель чокнулся со своими дамами и сказал им негромко:

— За фюрера...

— Прозит... прозит... — ответили они и дружно выпили.

Общий веселый гул становился все сильнее.

За соседним столом поднялся громадный усатый мужчина в черном кителе моряка. Он громко постучал ножом по тарелке, добиваясь за своим столом тишины, и поднял наполненную рюмку.

— За наших прекрасных женщин! — громко сказал он простуженным басом и протянул рюмку, чтобы чокнуться, к такой же большой, как он сам, даме.

— Ура-а-а! — закричали мужчины, вставая.

Аксель поднял свою рюмку и тихо сказал своим девушкам:

— Я присоединяюсь к тому, с усами.

Они сдвинули бокалы и выпили.

Теперь на небольшом пространстве, свободном от столов, образовалась тесная толчая танцующих.

Аксель танцевал с обеими девушками по очереди, скоро устал и запросил пощады. Ему хотелось посмотреть на то, что творилось в зале, это было просто интересно.

В русских непонятно сочетались какая-то сосредоточенная дисциплинированность, которая заставила их простоять десять минут, слушая радиоречь из Москвы, и искренняя непосредственность, веселье. Люди, явно незнакомые в начале вечера, быстро знакомились, сдвигали столики и вместе распевали песни... Веселье становилось все более шумным.

Во втором часу ночи к их столику с наполненной рюмкой в руке подошел молодой мужчина в смокинге. Смокинг был ему немного велик, будто с чужого плеча, но крахмальный пластрон красиво облегал сильную грудь и смуглую шею. Он был высок, с вьющимися темными волосами и красивым лицом — такие лица Аксель называл валетными: в них было трудно найти какую-нибудь характерность.

— С Новым годом, друзья! — сказал он на хорошем немецком языке, шаркнул ногой и потянулся рюмкой к Лоре, чтобы чокнуться. Лора сидела неподвижно и как будто не видела его, но незнакомец, несколько не смутясь, продолжал: — У нас в новогоднюю ночь все — друзья... и как друг я обязан прийти вам на помощь... — обратился он к Акселю. — Прошу вашего разрешения потанцевать с одной из ваших дам.

Аксель предоставил своим девицам самим решить этот вопрос. Они одновременно встали, и все рассмеялись. Аксель пошел танцевать с Кларой, а с незнакомцем танцевала Лора.

— Танцует великолепно, но сильно пьян, — сообщила Лора, вернувшись к столу. — Недавно развелся с женой. Фамилия — Горин... Работает юрисконсультантом в издательстве и в каких-то двух местах еще. Если не врет, конечно...

После второго танца Лора доложила:

— Говорит, что ему опостылела его компания, набивается к нам.

— Ни в коем случае, — предупредил Аксель и деловито спросил: — С лирикой не лезет?

— Еще как! — рассмеялась Лора. — Вот и сейчас не сводит с меня глаз и все поднимает бокал со значением. Отметил, что у меня божественная фигура.

— Если попросит, дайте ему свой телефон, — улыбаясь, сказал Аксель. — Спрашивал, кто вы?

— Ваша секретарша. А вы ученый, в командировке.

— Прекрасно, Лора, на месте Зоммера я держал бы вас не секретарем.

После очередного танца юрист подвел Лору к столу и бесцеремонно уселся на свободное место. Тотчас за его спиной возникла статная фигура распорядителя бала.

— Простите, пожалуйста, но, по-моему, вы перепутали столики, — сказал он, кланяясь.

— Я сижу где хочу, — обиделся юрист. — Или в нашей стране это запрещено?

— Нет, почему же? Сидите где хотите, только бы наши гости не возражали, — объяснил распорядитель.

— Мы не возражаем, господин помогает мне в танцах, — пошутил Аксель, и распорядитель, извинившись, отошел.

Юрист долго еще не мог успокоиться, ворошил свои густые темные волосы, тряс головой и все бубнил о своем праве сидеть где угодно, даже если это право и не записано в Конституции.

Аксель внимательно наблюдал за новым знакомым. «Если притворяется, то делает это великолепно...» — подумал он и сказал своим девушкам, что пора идти домой.

Отвязаться от пьяного юриста стоило немалого труда...

Спустя два дня он позвонил Лоре, и они встретились на Островах.

Вскоре состоялось второе их свидание.

— Ничего, кроме легкого флирта, — строго инструктировал Аксель.

— Нет! Я выйду за него замуж, у него синие глаза, не отговаривайте меня! — смеялась Лора...

За вторым свиданием последовало третье, четвертое. Аксель сначала издала, по рассказам Лоры, изучал юриста и все больше убеждался, что этот человек может представить для него интерес. Прошло, однако, немало времени, прежде чем Аксель снова встретился с Гориным и принял решение о его вербовке.

Горин Михаил (Григорьевич). Возраст — 38 лет. По образованию юрист. Хорошо владеет немецким языком. Происходит из старой петербургской интеллигентной семьи. Отец тоже юрист, умер в 1931 году. Мать находится на его иждивении, по его словам, — вздорная старуха, из-за которой у него произошел разрыв с женой. Живет вдвоем с матерью в отдельной квартире, в центре, на Невском проспекте. Работает юристом-консультантом в издательстве и по совместительству в Ювелирторге и в Торговом порту. Легкомыслен в отношениях с женщинами. В настоящее время уверен в развитии его романа с сотрудницей консульства Л.Шарп, работа которой в этом направлении заслуживает всяческого поощрения.

Стимул агента Девиса — его убежденность, что он достоин гораздо лучшей жизни, чем та, которую он вынужден вести. Государственный строй ему неважен, так как собственных политических убеждений у него нет. Имеет определенную склонность к западной жизни, к чисто бытовой ее стороне — красивые, хорошие вещи, развлечения и т.п. Несмотря на хороший заработок (он работает в трех местах), постоянно нуждается в деньгах. Хорошо и модно одевается. Азартный картежник. Пьет умеренно, но в состоянии опьянения плохо себя контролирует. Он уверен, что Запад со временем предоставит ему красивую и богатую жизнь, хочет и будет стараться заслужить право на это. В данный момент его главный недостаток — непричастность к делам и объектам, которые нас особо интересуют. В скором будущем возможен его переход на работу, находящуюся ближе к нужным объектам. Он прилагает усилия в этом направлении.

Однако уже сейчас он дает очень полезные данные о настроениях в пестрой среде городской интеллигенции.

Резюме: перспективный агент...

Подписывая этот документ, Аксель был уверен, что завербовал полезного и перспективного агента. Но Горин как бы не подтверждал общую концепцию, которую Аксель выработал для Ленинграда и ленинградцев. Почему он равнодушен к городу, где родился, вырос и живет всю свою жизнь?

Не город же виноват в том, что ему не выпала судьба, какой он хотел? Иногда он высказывается критически о режиме, но Аксель видит за этим лишь любовь к анекдотам, а не какое-нибудь убеждение. Все это нужно еще выяснить...

Они встречались все чаще и каждый раз в новом месте. Горин довольно быстро

усваивал элементарные методы конспирации, запоминал несложный шифр для письменных донесений, технику тайнописи. Жил он на Невском, в громадном доме со сложным проходным двором, где было много закоулков, каких-то выступов, тупичков, подъезды были расположены в глубоких нишах. Аксель зашел сюда днем и долго гулял по двору.

Вечером он принес Горину домой пачку свежих немецких иллюстрированных журналов и тысячу рублей за полученную от него информацию.

В комнате юриста было уютно, горела большая лампа под шелковым абажуром. Из приемника слышалась тихая грустная музыка. В окно залетал ветерок, приносящий откуда-то запах сирени. Когда мать принесла кофе, Михаил Григорьевич представил ей Акселя:

— Мой немецкий друг, антифашист, которому, увы, нельзя жить на родине.

Мать на мгновение остановила на госте безразличный взгляд и вышла.

Они тихо беседовали, сидя на тахте, покрытой бухарским бархатистым ковром. За толстым стеклом башенных часов бесшумно и неторопливо плавал сияющий диск маятника.

Аксель смотрел на свет лампы сквозь рюмку, наполненную коньяком, и вдруг живо спросил:

— А вдруг война? Что вы будете делать?

Горин долго молчал с серьезным лицом.

— С кем война? — спросил он.

— Допустим, что с Германией.

— Буду ждать вас, — тихо ответил Горин и, вскинув голову, посмотрел на Акселя, как бы спрашивая, правильно ли он ответил.

— Но как же вы поступите со своими патриотическими чувствами?

Горин пожал плечами и, подняв брови, закрыл глаза.

— А как к этому отнесется ваша мать?

Горин удивленно расширил глаза:

— А она тут при чем? Я давно вырос из коротких штанишек.

— Для немца мнение матери равносильно закону, — сказал Аксель, отпивая коньяк.

— Очевидно, у нас этот закон отменили в революцию, — усмехнулся Горин.

Часы отбили четверть. Приглушенно шумел Невский, слышались гудки автомобилей, звонки трамваев.

— Вы любите свой город?

— Я хочу, чтобы он любил меня, — рассмеялся Горин — разговор пугал и увлекал его своей остротой.

«Гипертрофированный эгоизм», — подумал Аксель и непринужденно спросил:

— Вы любите Достоевского?

— Нет. Я прочитал «Преступление и наказание» из чисто профессионального интереса, и больше ни-че-го. У меня идиосинкразия ко всяческой психопатии, —

убежденно ответил Горин, хотя на самом деле он слово в слово повторил то, что однажды в его присутствии сказал отец.

— Если бы вы судили Раскольников, каков был бы ваш приговор?

— Оп-рав-дать! Он имел право жить без нужды.

Аксель где-то читал, что среди лиц адвокатской профессии случаются такие психологические перерождения, когда в их сознании размывается грань между стремлением оправдать конкретного преступника и преступлением вообще. Но здесь все было еще элементарнее: просто Горин уже давно готов на преступление во имя вульгарной цели — жить лучше, чем он живет теперь. Ну что ж, агент с такой внутренней пружинкой тоже может сделать много.

Горин вдруг подумал, что показал себя немцу не в очень выгодном свете, и решил исправить положение. Он запустил пятерню в свои густые волосы, взъерошил их и сказал:

— Я в себе знаю столько разных характеров, типов, что мне иногда становится страшно...

— Достоевский как раз и воспел это расслоение русской души, — ответил Аксель и стал прощаться...

Настоящие фамилия и имя — Клигина Нина (Викторовна). Возраст — 28 лет. Воспитывалась в сиротском доме. Яркая, красивая внешность. Ей пророчили сценическую или кинематографическую карьеру. По окончании школы приехала в Ленинград, чтобы стать актрисой. В театральный институт не была принята. Поступила контролером в клуб кинороботников, где немедленно была замечена ее внешность. Ей обещали роли и даже законный брак, но неизменно обманывали. Тем не менее она вошла в желанный ей круг деятелей кино. В настоящее время живет одна. Имеет комнату в общей квартире. Озлоблена. Завистлива. Острый интерес к дорогим вещам. Обожает светский образ жизни, вращение среди звезд кино. В настоящее время работает помощником режиссера на киностудии. Легко сходится с мужчинами.

Использование агента должно быть осторожным, но польза от него может быть большой, учитывая неограниченную возможность ее знакомств.

Вербовка проведена со всеми формальностями при содействии хорошего знакомого Людмилы — нашего агента Девиса.

Резюме: агент со скрытыми большими возможностями.

Настоящие имя и фамилия — Соколов Геннадий (Иванович). Возраст — 29 лет. Из крестьян северной части России (район Вологды). До 1929 года отец имел сыроварню, затем ее конфисковали. Отец был лишен прав и выслан. Впоследствии он пропал без вести. Агенту в то время было 20 лет. Вместе с матерью он переехал в Ленинград, где брат матери работал дворником. Поселились у него. Частным образом агент изучил фотографию и последние 6 лет работает в артели «Фотоателье». Часто выезжает (перспективно для нас): летом — на курорт, зимой — по вызовам — на свадьбы, похороны и т.д. (следует продумать использование его возможностей как фотографа, свободно передвигающегося по городу).

Стимул агента — жажда мести за отца. Деньги его не интересуют. Если не знать его биографии, ненависть агента к Советской власти может показаться патологической. В настоящее время активно его использовать рискованно, он легко может привлечь к себе внимание советской политической полиции. На этот счет ему сделано строгое разъяснение.

Резюме: в ситуации крайнего порядка агент Рубин может оказаться неоценимым.

Консул Зоммер не одобрял завербованных Акселем агентов — он вообще всех русских считал ненадежными.

— Я немного начинаю верить их человеку, только узнав, что в его жилах течет немецкая кровь, — говорил он.

— Теперь, когда Германия вышла на мировую арену, для нашей разведки нет ничего опаснее, как считать достойными доверия одних лишь немцев, — возражал Аксель. — В критической ситуации все ваши чисто немецкие кадры всплывут на поверхность, потому что каждый воробей в городе знает, что они немцы.

— Среди моих агентов, дорогой друг, немало рабочих, приехавших сюда из Германии, чтобы помочь своим братьям по классу строить мировой коммунизм. Жена Цезаря вне подозрений.

— Не забывайте, мой друг, что Цезарь человек неглупый, и, во всяком случае, он умнее своей жены, — парировал Аксель... Но Зоммер не сдавался и однажды, чуть улыбаясь, торжественно вручил Акселю шифровку из Берлина:

— По вопросу нашего бесконечного спора имеете, коллега, элегантную зубочистку. Поздравляю...

«Людмилу не закрепляйте и не развивайте. При решении стоящих перед вами великих задач вряд ли следует опираться на проститутку», — прочел Аксель.

— Вы радуетесь преждевременно, — не скрывая злости, сказал он консулу.

— А я и не радуюсь вовсе, — ответил Зоммер. — Я просто считаю свои кадры более надежными.

Вечером Аксель отправил в Берлин шифровку:

«На № 08/1503

Позволю себе опротестовать ваш 1503. Проституции в нашем понимании здесь нет, а таких женщин, как мой объект, множество. Особенно возле разнообразного мира искусства. Как правило, это неудачницы в профессии, пытающиеся возместить это близостью с людьми мира, не принявшего их в свою производственную сферу, и теперь достигаемую ими путем доступности чисто женской. Как всякая доступная женщина, и эта тоже втайне нелегко переживает, что ее жизнь не удалась, ей не стать ни женой, ни матерью. Здесь же это обостряется прямолинейной до самозабвения пропагандой, утверждающей с каждого забора, по радио и в печати, что тебе открыты все дороги и достижимы любые цели. Более того, она очень ясно и для себя больно видит, как другие женщины действительно достигают многого, между тем как ничем особенным они не отличаются...»

«...Одни с этим смиряются, покидают отвергнувший их мир, и уходят в общую неприметную жизнь, и, может быть, находят там счастье. Другие, как, например, наш объект, цепляются за избранный мир любым способом, но здесь коммерческой торговли телом нет. Здесь удовлетворение духа крайним способом. Вербовку объекта я строил на встречном движении.

Пункт 1. Вы достойны иной жизни.

Пункт 2. В том, что вы влачите недостойную вас жизнь, виновато общество, которое только прокламирует внимание к человеку.

Пункт 3. С этим обществом вы можете вступить в борьбу. Тайная деятельность возвысит вас над всеми, кто вас сейчас унижает.

Пункт 4. Если произойдет изменение общества, и, возможно, не без нашей помощи, ваша судьба изменится в корне. Те, кто сейчас командует вами,

превратятся в ничтожество.

Объект прошел через все эти пункты, нигде не вступив с ними в спор и приняв их суть как должное. А если у объекта возбудить гнев и указать для этого гнева адрес, агент сможет быть нам крайне полезен во всех ситуациях, в том числе и в критической. Наконец, уже сейчас мы можем управлять ее знакомствами, и это открывает неограниченные возможности».

Спустя несколько дней в консульство пришла шифровка:

«Возражение против Людмилы снимается...»

Наступил день, когда написанный Акселем меморандум консул отвез в Москву, оттуда он дипломатической почтой был переправлен в Берлин.

Аксель трогательно простился с сотрудниками Эрмитажа и пароходом выехал домой...

Глава вторая

Приезжая в абвер, Аксель заходил в оперативный зал, где в этот утренний час у карты собирались офицеры. С первого дня войны адмирал Канарис завел у себя на Тирпицффер атмосферу подчеркнутой сдержанности. Однажды — это было значительно раньше, когда немецкие войска гнали англичан к обрывистому берегу Дюнкерка, — Канарис застал у карты офицеров, которые говорили о ходе войны с восторженной экзальтацией. Адмирал властно поднял руку, и в наступившей мгновенно тишине отчетливо прозвучал его негромкий, чуть гортанный голос.

— Так можно вести себя лишь на скачках. На полях войны гибнут немцы, которые в отличие от вас не наблюдают ее из окна...

Он вышел, ступая на каблуки сапог, — так он ходил, когда очень сердился...

С тех пор в оперативном зале абвера всегда стояла чинная тишина, и эти утренние собрания у карты шутники прозвали «утренней молитвой»...

Сегодня на «утренней молитве» Канарис сделал Акселю знак подойти. Адмирал, который был на две головы ниже Акселя, неловко взял его за локоть и повел в глубь зала.

— Я хочу вернуться к вашему меморандуму о Ленинграде, — сказал он. — Возьмите прочитайте его свежими глазами и в тринадцать ноль-ноль зайдите ко мне... — Адмирал уходил чуть качающейся походкой моряка — коренастый, плотный и коротконогий, увенчанный крупной седеющей головой...

Аксель спустился на лифте в подземный этаж, где помещался архив. Пока искали нужную папку, в его голове одно за другим мелькали предположения: зачем понадобился меморандум?.. Ничего плохого в этом быть не может, он уверен, что тогда в Ленинграде не только собрал важную информацию о городе, но старался ее осмыслить и раскрыть опасные особенности этого города.

Голос в радиорепродукторе трижды произнес его фамилию и пригласил пройти в зал номер два к столику номер тринадцать.

В залах абверовского архива столики стояли в каком-то странном беспорядке. Но это только казалось беспорядком — они стояли так, что работающий за одним столом не мог видеть того, что находилось на соседних.

Еще издали Аксель узнал на своем столике знакомую синюю папку с торчавшей из нее сопроводительной карточкой оранжевого цвета.

Аксель стал листать бумаги и вдруг от неожиданности широко раскрыл глаза — перед ним была страница, сверху донизу отчеркнутая жирной чертой синего карандаша. Специальный приказ Канариса запрещал работникам абвера оставлять на документах какие бы, то ни было следы. Что же это такое? Кто это сделал?

Аксель быстро перелистал папку до конца — синим карандашом был отчеркнут весь последний раздел документа: «...Некоторые замечания психологического характера».

Аксель сосредоточился и начал неторопливо читать этот раздел:

«Для жителей Ленинграда характерна обостренная любовь к своему городу, гордость за свою принадлежность к нему. Это своеобразный местный патриотизм, заставляющий их даже вести себя по-особому. Спор между ленинградцем и москвичом о том, чей город лучше, стал традиционным. Для ленинградца сомнений на этот счет не существует.

Ленинградцы считают свой город самым красивым в мире. (От себя замечу: повидав многие города мира, я не нахожу равного Ленинграду).

Ленинградцы считают свой город самым интеллигентным. (Замечу, что действительно ленинградская толпа выгодно отличается, скажем, от московской.)

Ленинградцы считают свой город святыней революционной истории своего государства. (Напомню, что именно здесь совершилась пресловутая русская революция.)

Ленинградцы считают свой город живым памятником всей русской истории. (Действительно, Ленинград — это бесчисленное множество памятников истории России, в том числе прекрасных и бесценных.) Любопытно, что официального культа памятников истории здесь не наблюдается. Более того — даже царские дворцы или музей Эрмитаж находятся в довольно запущенном состоянии».

Аксель заглянул в самый конец раздела и вспомнил, как, делая выводы, он вымучивал тогда каждое слово, как смертельно боялся переоценить важность собранных в этом разделе фактов и оказаться в чьих-то глазах плохим наблюдателем, а значит, и плохим разведчиком. Он прочел отчеркнутое еще раз, стараясь представить себе, что читает чужое. Нет, все написано точно, даже хорошо, и все это очень, очень важно, особенно сейчас, когда немецкие войска рвутся к Ленинграду.

Но он не мог успокоиться — синий карандаш всеял большую тревогу, и он задумался над последней фразой своего меморандума: «Если понадобится создать в Ленинграде сильную „пятую колонну“, сделать это будет очень трудно...»

Ровно в час Аксель вошел в кабинет Канариса и остановился у дверей, увидев сидевшего в кресле начальника генерального штаба генерал-полковника Гальдера.

— Идите, идите сюда, — пробасил Гальдер, показывая на свободное кресло напротив себя.

Аксель сел в низкое кресло, держа на задранных коленях папку.

— Значит, вы действовали в Мадриде? — спросил генерал. — Великолепная работа! Я бы на месте генералиссимуса Франко среди памятников, поставленных им самому себе, один воздвиг бы в честь вашей «пятой колонны». А? — Гальдер обернулся к Канарису и басовито рассмеялся, показав подозрительно белые зубы.

Канарис безразлично рассматривал свои короткопалые руки, лежавшие на столе.

— То, что мы применили в Испании, — продолжал Гальдер, — было тогда образцом тактической новинки. Девиз «Барбароссы» — тотальность. Однако наша священная обязанность — сделать все, чтобы не стали тотальными и наши потери. Вы долго жили в России? — спросил Гальдер, уставившись на Акселя водянистыми, светлыми глазами.

— Семь месяцев. — Внутреннее напряжение Акселя росло в ожидании развязки разговора.

— Немало, немало... — сказал генерал и, опустив тяжелые веки, замолчал.

В это время в радиоприемнике, приглушенно работавшем за спиной у Канариса, послышался фанфарный сигнал, предшествовавший передачам с Восточного фронта.

— Прибавьте, — попросил Гальдер.

Военный корреспондент говорил непосредственно из перевалочного лагеря для русских военнопленных...

— Я спросил у наших офицеров, сколько здесь русских, они не могли ответить, сказали: «Считайте сами...» — Голос замолчал, из приемника слышался ровный звук, будто кто-то непрерывно стонал на одной унылой ноте. Потом корреспондент

с помощью переводчика брал интервью у пленных. Все они говорили, что война с Советским Союзом уже проиграна, и выражали радость, что остались живы и попали в культурный немецкий плен...

Гальдер приподнял руку, и Канарис убавил звук.

— Это те русские, которых вы знали в Ленинграде? — спросил генерал.

Аксель ответил не сразу.

— Мне кажется... наша пропаганда... не очень... — сказал он уклончиво, хотя хорошо знал, что при Гальдере можно сколько угодно ругать пропаганду.

— Э-э, оставим это, — поморщился Гальдер. — Наше дело — сама война.

— Но ведь это опасно и для нашего солдата... — более уверенно продолжал Аксель. Видя, что Гальдер ждет какого-то разъяснения, прибавил: — Я читал досе по Бресту — слишком много эмоций, непонимание обстановки и непомерное удивление, что русские не сразу капитулировали. Надо хотя бы немного знать характер противника.

— А вы знаете его характер? — прищурился Гальдер.

— Во всяком случае, я знаю, что в России давно романтизируется пограничная служба, что их пограничные войска должны драться особенно упорно.

Тяжелые веки Гальдера вздрогнули.

— Мы приближаемся к Москве и Ленинграду, обе цели грандиозны, — негромко сказал он. — О Ленинграде есть разные мнения. Фюрер сказал как-то, что землю, на которой стоит Ленинград, следует вернуть морю... Есть другое мнение — сохранить этот город как декорацию. Как декорацию, — многозначительно повторил Гальдер. — Я читал ваш меморандум. Сейчас вы ничего не хотели бы в нем изменить?

— Разве что нашел бы какие-нибудь более точные слова, — ответил Аксель.

— Этим вы займетесь, когда будете писать мемуары. А пока у меня к вам практический вопрос. Вы пишете, что очень трудно создать там «пятую колонну». Но не договариваете до конца — беретесь вы за эту затею или ее надо оставить. А? — Гальдер повернулся к Канарису.

— Мы занимаемся этим, — бесстрастно ответил Канарис. — Но нельзя нашу задачу рассматривать в отрыве от того, что делает армия. Вы же понимаете, что поднять город против самого себя можно только в атмосфере паники и страха. Именно в этот момент армия должна взломать двери города, как это было в Мадриде.

— Но когда взломаны двери, в дом входят посторонние люди... — сказал Гальдер и посмотрел на Канариса.

— Весь вопрос, сколько посторонних осталось лежать за порогом дома. Тотальные потери могут превратить победу в поражение, вы знаете это лучше меня... — спокойным, ровным голосом ответил Канарис.

Аксель затаив дыхание слушал их разговор, он прекрасно понимал, что именно сейчас решается его судьба.

— Я хочу одного — ясного представления о ваших возможностях, — отдельно и громко сказал Гальдер.

— В ближайшие два-три дня мы представим вам исчерпывающий документ... — ответил Канарис.

Когда Гальдер, тяжело поднявшись с кресла, ушел, Канарис долго молчал,

разглядывая свои руки, щурил глаза. И наконец спросил:

— Все-таки трудно или невозможно?

— Трудно. Очень трудно, — негромко ответил Аксель. — На Мадрид похоже не будет.

Канарис встал и начал ходить вдоль стены, скрытой плотным занавесом, за которым висела огромная карта мира.

— Вам ясно стратегическое значение Ленинграда? — Адмирал остановился и взглянул вверх, туда, где на карте, за занавесом, был обозначен Ленинград.

— Да. И я читал записку фюреру генерал-фельдмаршала фон Лееба.

— Прекрасно... — Канарис снова мягко вышагивал по ковровой дорожке, вдоль стены. — Значит, вы понимаете, что означает для Германии не взять Ленинград. Не взять?! — вдруг громко спросил он и остановился. Высоко подняв голову и грозя пальцем, он повторил: — Не взять! Не!.. — И после выразительной паузы спросил: — Вы не хотели бы изменить вывод в своем меморандуме?

— Нет, — встал и вытянулся Аксель.

— Даже если бы вы знали, что на основании вашего вывода может быть отменен наш удар по Ленинграду?

— Ленинград будет взят общими усилиями — армия и мы. Как в Мадриде.

— На что же вы надеетесь? — спросил Канарис, шагая вдоль стены.

— На пророческое указание фюрера, однажды легкомысленно подвергнутое мною сомнению, — ответил Аксель, провожая взглядом шефа.

Канарис остановился и непонимающе, выжидательно смотрел на него.

— Государство в час больших потрясений слепнет и глохнет. Помните, как в Испании я попытался противопоставить этому опасность риска, а вы посоветовали мне поверить фюреру?

— Да, да, именно это... — словно про себя сказал Канарис. Он повернулся к стене и отдернул занавес. Взяв указку, адмирал издали нацелился на пятно, где крупными буквами было написано: «Петербург».

— Учитывая особенность города, — говорил Канарис тоном лектора, — все будет решать быстрота и смелость действий, начатых в точно избранный момент... в точно избранный момент, — повторил Канарис. И продолжал: — Группа «Север» будет наступать на город всей своей мощью. Ей будет придана часть войск группы «Центр». Накануне вашего дня город будет подвергнут тотальной обработке артиллерией и с воздуха. На плечах паники вы поднимете свои силы и добьете то, что еще будет сопротивляться в самом городе. Повторяю: темп, смелость и точно выбранный час.

— Я готов выполнить это задание, — сказал Аксель твердо, без всякого пафоса.

— Вот вы и дождались своего дела, — сказал адмирал и, подойдя ближе, пожал локоть Акселя. — Немедленно свяжитесь с офицерами первого и второго отделов, они в разное время занимались Ленинградом. Все, что у них найдется полезного для себя, забирайте.

— Мы будем действовать параллельно? — спросил Аксель.

— Их дело — каждодневная разведка и диверсии в советском тылу непосредственно для фронта, и это, так сказать, фон для вашей деятельности. Их силы для вас непригодны, агентура у вас должна быть своя, особо надежная и

умелая.

— Меня тревожат сроки, вот-вот падет Новгород, — сказал Аксель.

— Он должен был пасть двенадцать дней назад, — ответил Канарис и закончил: — Действуем по нашему старому принципу — неторопливая быстрота. Но надо сделать все, чтобы вы вовремя заняли исходную позицию в городе.

Канарис уже пошел к столу и вдруг повернул обратно:

— Да, совсем забыл: должен поздравить вас с получением звания полковника. Очень рад за вас... — Он не подошел, однако, чтобы пожать руку Акселю, а только приветственно взмахнул рукой. Впрочем, в абвере все знали, что Канарис званиям не придает особого значения...

Глава третья

15 августа 1941 года немцы заняли Новгород.

Над городом клубился черный дым. Он медленно таял в ясном голубом небе. Еще слышалась стрельба на восточной окраине города. На базарную площадь только что согнали пленных, взятых в бою за город. Над старинными церквями, пронизывая дым, с тревожным криком летали тучи галок. Улицы, по которым несколько минут назад пронеслись серо-зеленые автомобили и гремучие мотоциклы, точно вымерли — ни единой живой души, куда ни посмотри.

Командующему группой армий «Север» генерал-фельдмаршалу фон Леебу не терпелось посмотреть на первый взятый им большой русский город.

Фельдмаршал ехал в огромном открытом «майбахе» с далеко выдвинутым вперед мощным мотором и скошенным задом. Когда автомобиль передними скатами начинал осторожно сползать в дорожную яму, тяжелое тело фельдмаршала тоже сползало с кожаного сиденья, и тогда он сердито подбирал ноги и снова садился очень прямо, высоко держа массивную голову.

Фельдмаршал настороженно, с каким-то жгучим интересом смотрел на деревянные дома, которые казались ему бедными и некрасивыми. На длинные дощатые заборы. На незнакомые цветы, глядевшие из маленьких окон. На визгливо лаявшего щенка, бежавшего за машинами. На голубей, сидевших на коньке крыши.

«И это Россия?» — спрашивал себя фельдмаршал...

Рядом с фельдмаршалом, почтительно от него отодвинувшись, сидел молодежавый полковник с красивым смуглым лицом. В окружении фельдмаршала шутили, что фельдмаршал приблизил Кристмана за редкую мужскую красоту, а всерьез говорили, что нет ничего страшнее хитрого адъютанта у злого генерала. Кто знает, может быть, фельдмаршал, чье массивное, обвисшее лицо было очень некрасивым, только для того и держал при себе этого полковника, чтобы постоянно напоминать всем, как дешево стоит по большому военному счету мужская красота...

Сейчас, после бессонной ночи, глаза у красивого полковника были сонными. Выполняя приказ командующего, он уже вторые сутки подбирает карты местности, пройденной группой армий «Север», — фельдмаршал хочет выяснить, где, в каких сражениях были допущены просчеты, сорвавшие первоначальный план наступления. Полковник боролся с дремотой, но продолжал внимательно следить за фельдмаршалом.

Фон Лееб повернулся к нему и сказал, подтягивая для изображения улыбки отвисшую нижнюю губу:

— Если все русские города такие, не стоило начинать эту войну.

— Отсталая страна, — с готовностью отозвался Кристман.

— Но почему они так хорошо дерутся за эти деревянные лачуги? — вдруг повысил голос фельдмаршал и сердито посмотрел на полковника, как будто тот отвечал за то, что русские дерутся упорно. Кристман счел за лучшее промолчать.

— И совсем не такой уж большой город, — продолжал ворчать фон Лееб. Он приподнялся и оглянулся назад — там в клубах пыли поблескивали лакированные спины машин, в которых ехали генералы и чины поменьше.

Машину резко встряхнуло, и фельдмаршал обрушился на сиденье. Он уже открыл рот, чтобы разразиться бранью, но в это время из-за поворота вдруг точно всплыла на зеленой волне косогора белоснежная церковь. Вместе с черным дымом она повторилась в реке.

— Остановитесь, черт бы вас взял! — крикнул фон Лееб.

Вся вереница машин постепенно остановилась. Спины машин, еще недавно сиявшие на солнце, потускнели, покрылись густой дорожной пылью.

Фельдмаршал смотрел на церковь.

— Очень красиво. Феноменально! — сказал он. — Черный дым — это война, а церковь — бог среди войны. А? — Он взглянул на адъютанта и, не дождавшись ответа, отвернулся — что может думать о боге этот красивый полковник, у которого в душе, кроме Гитлера, никакого бога нет? Сам фон Лееб — ревностный католик. Гитлер за это недолюбливает его или, точнее сказать, недолюбливал... Все знают об их разговоре во время назначения фельдмаршала командующим группы войск «Север».

— Мне рассказывают, что вы скорее католик, чем военачальник, — полушутя-полусерьезно сказал тогда Гитлер.

— Чем больше я католик, тем больше военачальник, — ответил фон Лееб. Фюреру не осталось ничего иного, как заявить, что он уважает любую убежденность, если она на пользу возрожденной Германии...

Вот почему сейчас никто в свите не позволил себе даже улыбнуться тому, что командующий застыл перед русской церковью.

Вдруг, разорвав черную пелену, низко-низко над машинами с воем пронесся самолет. Кто-то успел крикнуть: «Ахтунг!», но этот крик покрыл дружный смех, все видели, что это был пассажирский «юнкерс», идущий на посадку.

Фон Лееб вялым жестом руки приказал ехать дальше, но вскоре на боковой, тенистой улице по сигналу мотоциклистов эскорта машины снова остановились.

«Майбах» командующего стоял перед красным кирпичным зданием, на котором скособочилась вывеска «Аптека». Подбежавший на носках квартирьер штаба распахнул широкую дверцу «майбаха» и протянул руку командующему:

— Прошу, господин фельдмаршал, это ваш временный дом, только на сегодня.

Первым человеком, которого принял в Новгороде командующий, был полковник Аксель.

Фельдмаршал сидел в небольшой комнате за ломберным столиком в вольтеровском кресле. У стен стояли сдвинутые аптечные прилавки. Было очень тесно. Фельдмаршалу некуда было деть ноги, он вытянул их в сторону и потому сидел боком. Войдя, Аксель растерялся, не зная, где ему стать, чтобы быть перед глазами командующего. Фон Лееб молча кивнул на табурет, стоявший у окна.

— Что вам нужно, полковник? — устало и тихо спросил фон Лееб.

Своими выцветшими, светлыми глазами он рассматривал чистенькую полковничью форму Акселя. Фельдмаршал ненавидел штабных чистюль, но сейчас перед ним стоял офицер абвера, службы особой, и он должен был ему помочь — об этом специально просил Берлин...

— Очень много, господин фельдмаршал, — почтительно наклонившись вперед, ответил Аксель. — Начиная с помещений, которые удовлетворяли бы нашим специфическим требованиям, и кончая солдатами для его охраны. Транспорт, связь...

— Одну минуточку, — остановил его командующий. — Где-нибудь тут, за дверью, находятся мой адъютант и мой стенограф. Пригласите их, пожалуйста...

Аксель продиктовал стенографу свои давно продуманные требования. Фельдмаршал приказал немедленно расшифровать продиктованное и поставить на

перечне его гриф.

— Ничего не позабыли? — спросил он. — Я обещал Берлину сделать все, что вы попросите...

Когда стенограф вышел, фельдмаршал вдруг неожиданно спросил:

— Вы действительно поможете нам в Ленинграде?

— Надеюсь...

— Что? — переспросил фельдмаршал, приставляя к уху ладонь: в свои 65 лет он уже неважно слышал.

— Надеюсь, что мы поможем армии, — громко сказал Аксель.

Фельдмаршал кивнул и сказал тихо, будто про себя:

— Русские воюют лучше, чем мы думали.

— Тем грандиозней ваши успехи, — убежденно возразил Аксель.

Фельдмаршал удивленно посмотрел на него:

— Если бы вы состояли при мне, я разжаловал бы вас за беспардонную лесть, — сказал он серьезно. — К вашему сведению, я не выполняю приказа фюрера ни по срокам, ни по результатам. Это — имея перед русскими огромное преимущество в силе! Должен заметить, что информация о слабой приверженности русских к своему политическому режиму оказалась явно ложной. Кто-то за это ответит... — Розовые, с сеткой прожилок, обвисшие щеки фельдмаршала чуть вздрогнули в усмешке: — Не адмирал ли Канарис?

Аксель после благоразумной паузы сказал:

— Еще два года назад я сообщал из Ленинграда, что в случае войны борьба за этот город легкой не будет.

— Интересно — почему? — поднял клочковатые брови фельдмаршал.

— Русские, как и все нормальные люди, — патриоты своей страны, а Ленинград для них еще и символ истории, — ответил Аксель.

— Странно, что за этот символ они начали бороться еще в районе Шяуляя, — ворчливо заметил фон Лееб.

Фельдмаршал, склонив голову к плечу, смотрел на Акселя — поза была ироническая, а глаза смотрели требовательно и ожидающе. Он подождал, пока абверовский полковник ответит, но, не дождавшись, спросил:

— Сколько ваших людей будет действовать в Ленинграде?

— Десять — двенадцать.

— Только-то? — удивился фельдмаршал. — Гальдер обещал мне нечто гораздо большее. Мы уже понесли непоправимые потери и обязаны взять этот город малой кровью. — Он сделал ударение на слове «малой» и сердито засопел.

— Осмелюсь сообщить вам, господин фельдмаршал, — осторожно начал Аксель. — Нас, начинавших дело в Мадриде, было еще меньше. А когда пришел срок действовать, город был сбит с ног. Удар наносили, конечно, уже не мы, а созданная нами ныне уже знаменитая «пятая колонна».

— Может быть, может быть, — проворчал фельдмаршал и вдруг с новым оживлением спросил: — А кто же эти, с которыми вы начнете дело в Ленинграде?

Немцы?

— Нет, господин фельдмаршал, это русские.

— Ру-усские! — удивленно протянул фельдмаршал. — Из пленных? Да они продадут вас за пфенниг.

— Мы взяли русских из среды старой русской эмиграции, они жили у нас в Германии. Выбрали наиболее надежных.

— Может быть... может быть... — Фельдмаршал закивал седой головой. Видимо, ему хотелось поговорить обо всем этом с человеком со стороны. — А здешние русские — нечто необъяснимое. Я допрашивал одного. Он даже не понимал, с кем он говорит. Все мы слепые и жалкие слуги войны, а он, видите ли, борец за счастье человечества. Кошмар какой-то... — И вдруг без всякой логики фон Лееб добавил: — Я хотел бы видеть своих солдат такими же фанатиками.

— По всем рассказам, наши солдаты воюют бесстрашно, — осторожно возразил Аксель.

Выцветшие глаза фельдмаршала вдруг потемнели, узловатая рука, лежавшая на ломберном столике, свернулась в кулак.

— Хотите правду? Когда противник смят техникой, наши бесстрашны. Когда противник проявляет упорство, наши начинают проявлять дьявольскую предусмотрительность. — Фельдмаршал встал и, заложив руки за сутулую спину, прошелся вдоль аптечного прилавка. Он остановился перед Акселем, который, стараясь не показать поспешности, тоже встал.

— А русские идут на наши танки с ручными гранатами. Берут вот так гранаты, прижимают к животу и бросаются под танк... — Фон Лееб показал, как это делают русские: прижал ладонь к своему выпуклому и обвисшему животу. — Вы знаете об этом? А если знаете, сообщили об этом фюреру?

— Все равно Россия обречена, — ответил Аксель, ничем не выдавая своего отношения к словам фельдмаршала.

— Тогда торопитесь в Ленинград, — равнодушно посоветовал тот.

В это время приглушенно заворчал стоявший на окне телефон и показавшийся в приоткрытой двери адъютант тревожно сообщил, что с командующим срочно хочет говорить его начальник штаба.

Фон Лееб сделал шаг к окну, взял трубку, зачем-то внимательно ее осмотрел и наконец приложил к уху.

— Слушаю, — сердито произнес он и затем надолго умолк, но лицо его перестало быть равнодушным, он смотрел на Акселя так, точно приглашал разделить с ним свое удивление. — Хорошо. Согласен... — наконец сказал он и, швырнув трубку на подоконник, насмешливо снизу вверх посмотрел на Акселя: — Хотите услышать новость, полковник? В районе Старой Руссы русские начали контрнаступление. Я сейчас санкционировал приказ повернуть туда часть своих сил, прервав их движение к Ленинграду. Надеюсь, что вы поспешите в Ленинград и предоставите мне возможность однажды доложить фюреру о том, как хорошо вы мне помогли. Желаю успеха...

На другой день подразделению Акселя были переданы несколько небольших домов на тихой окраинной улице Новгорода. Зона, где находились эти дома, была обведена двойным рядом колючей проволоки. С обеих сторон улица была закрыта, а у перекрестка появились проходная будка и ворота.

В одном доме поселились русские. В другом — немцы. Аксель со своим адъютантом лейтенантом Цвигелем занял отдельный домик, стоявший в густом саду. В просторном доме рядом расположился узел связи. От него во все стороны протянулись провода. В каменном сарае у ворот был оборудован гараж на две легковые машины.

Особое подразделение абвера под кодовым названием «ФАК-104» начало действовать. Буквы и цифры его названия означали, что оно причислено к «Абвер-команде-104» и является ее филиалом. Но причисление это было настолько формальным, что даже начальник «Абвер-команды-104» подполковник Шиммель долгое время не имел представления о том, чем занимаются Аксель и его люди.

Глава четвертая

Русские агенты подразделения «ФАК-104» собрались в доме, которому было присвоено название «оперативный зал». Дом этот совсем недавно был жилым, и в нем еще ничего не было сделано для превращения его в служебное помещение. Судя по всему, его обитатели бежали в последний момент, вещи нетронутыми остались на своих местах, и казалось, что вот сейчас кто-то войдет с улицы или выйдет из другой комнаты, что агенты абвера пришли в гости и ждут, когда придут хозяева.

Участники совещания сидели в просторной, высокой комнате на стареньких, затертых венских стульях за овальным дубовым столом. Суровая скатерть, аккуратно сложенная, лежала на буфете.

Аксель сидел в плетеном кресле, удобно облокотившись на гнутые ручки, и, улыбаясь, рассматривал поверхность стола — вся она была в рубцах и пятнах. Он оглянулся назад, где по бокам громадного буфета висели два портрета: чопорной дамы в белой кофточке со сложной конусообразной прической и усатого мужчины в каком-то мундире.

— Ну что же, вот вам русский дом, пожалуйста... — сказал Аксель. — Дом еще полон русского духа, но мы чувствуем себя здесь прекрасно и начинаем заниматься своими делами. Такие же русские дома и там, в Ленинграде. И мы сейчас на практике убеждаемся в правильности гениальной мысли нашего фюрера о том, что в пору больших потрясений государства слепнут и глохнут. Раньше я наблюдал это в Мадриде...

Аксель начал рассказывать о своей работе в Испании.

— Все было очень просто, — говорил он. — Ничего особенного я там не делал, встречался с людьми, соблюдал конспирацию. Вот и все. Я был обыкновенным постояльцем отеля, может быть, коммерсантом, а может быть, журналистом. И у того и у другого работа состоит в том, чтобы встречаться с людьми. Вот я и встречался...

Аксель избрал умышленно такой упрощенный рассказ, отлично понимая, что значила для этих русских уверенность в успехе предстоящей им работы. Он должен был любыми средствами вселить уверенность в сидящих перед ним людей.

Выпрямившись, как манекен, с выпяченной грудью и отведенными назад покатыми плечами, слушает Акселя полковник Александр Иванович Мигунов. Этот пятидесятилетний, но, казалось, совершенно не тронутый временем, умный и сдержанный мужчина был понятен и близок Акселю. До русской революции он делал блистательную карьеру при генеральном штабе. Революция выбросила его за границу, но он не оказался, как другие, в пучине морального разложения, понял, где ему нужно быть, и поселился в Германии, отдав все свои знания и силы немецкой армии, точнее — ее военной разведке. Он ненавидит большевиков, и его ненависть конкретна и тоже понятна. Отец полковника владел в России огромными земельными угодьями. Революция отняла все. А когда старик попытался с помощью охотничьего ружья защищаться от мужичья, они повесили его перед домом на вековой липе, посаженной прадедом. Полковник говорит, что отцовская земля ему не нужна, он не хочет начинать все сначала, но хочет тоже использовать ту же самую липу как виселицу... Рядом с Мигуновым сидит, потирая выбритую до глянца голову, крепко сколоченный, плечистый Никита Чепцов. Его отцу в Питере принадлежали доходные дома, баня, и он хочет их теперь получить... Григорий Жухин родом из Харькова, там находятся завещанные ему старшим братом два кинотеатра, но он прекрасно понимает, что его путь в Харьков лежит только через поверженный Ленинград, и поэтому сделает все, что ему прикажут.

Все они считают, что слишком много и долго страдали в изгнании, и месть тем, из-за кого они стали нищими странниками по чужим землям, стала для них главным смыслом жизни.

Акселю очень нужно внушить этим людям, что все будет так же просто, как это было у него в Мадриде, — надо будет только встречаться с нужными надежными людьми и соблюдать строжайшую конспирацию. Наступление немецких армий развивается, а это значит, что с каждым днем паника в городе будет увеличиваться, она развалит жизнь города, расколется его население, и очень многие из тех, кто сегодня для рейха опасен, завтра будут выполнять все приказы его командования.

— Уверяю вас, основной характер действий в Мадриде и здесь один и тот же, — энергично продолжал Аксель. — Есть, однако, чисто национальные особенности населения этих городов. Испанцы народ беспечный, непроходимо темный и ужасающе бедный. На все это я и делал ставку. Люди, живущие в Ленинграде, совсем не беспечны. Наоборот, они излишне и нервно подозрительны. Но отсюда для нас простой вывод — всячески улучшать конспирацию. В культурном отношении население Ленинграда неизмеримо выше. Для испанца деньги и коррида — все, за них он готов отдать душу. Для ленинградца, во всяком случае, я думаю, для большинства и особенно теперь, материальный вопрос не существует. Ленинградцев волнует нечто большее, о чем мы с вами уже не раз говорили и о чем все читали в моем меморандуме.

Рассказывая, Аксель внимательно наблюдал за своими слушателями, старался понять состояние каждого. Но все одинаково напряженно и внимательно слушали его. Разве только Максим Михайлович Браславский был погружен в какие-то свои мысли, он слушал, закрыв ладонью высокий, красивый лоб. Этот русский был не похож на других, и Аксель уже давно наблюдал за ним с любопытством — у Браславского в России не было никаких материальных интересов, вместо этого он нес в себе сильный заряд тщеславного желания стать в будущей России крупным деятелем.

Аксель предложил задавать вопросы, надеясь, что, может быть, в этом несколько приоткроется настроение его людей. Но вопросов не было. Все агенты прошли достаточно тщательную и многостороннюю подготовку, чтобы сейчас, накануне операции, не спрашивать ни о чем, что касалось сути предстоящего им дела.

— В тактической разработке приводятся два способа вербовки в «пятую колонну», — вдруг жестким, вьедливым голосом сказал Есипов. — Один способ — с помощью наших агентов, находящихся в городе. Другой, так сказать, самостоятельный, идущий, как сказано в разработке, по геометрической прогрессии. Вот в этой прогрессии я одновременно вижу прогрессирующий риск...

— Оба способа вербовки нельзя рассматривать в отрыве один от другого, — ответил Аксель. Он не хотел дать Есипову изложить свои опасения более подробно. — Их лучше рассматривать как идущие одна за другой стадии одной и той же вербовочной работы. Сначала, естественно, вербовка идет по указаниям агентов, так вы вербуете, скажем, десять человек. Но затем каждый из этих десяти разве не может дать нам людей из близкой ему среды, и таких, за которых он поручится?

Есипов слушал и медленно кивал лысой головой, но потом сказал:

— Я не об этом, господин полковник. Нам приводили статистику, что там каждый пятый взрослый человек — секретный агент НКВД. Разве можно не считаться с этой статистикой, когда завербованные люди дадут нам прирост хотя бы в двадцать человек?

— В ваших условиях, господин Есипов, есть элемент демагогии, — ответил Аксель. — Вы словно забываете, что данные средней статистики нельзя прикладывать к группе специально отобранных людей, специально, понимаете? Здесь соотношение может быть уже один к ста.

— Но ведь с нами будут действовать более ста людей, — невозмутимо уточнил Есипов.

— Я понимаю ваше беспокойство, — ответил Аксель, — и хотел бы предложить вам, господа, разговор, откровенный до конца. Мы не можем гарантировать вам, что на время вашей деятельности русская контрразведка прекратит свою опасную для нас работу. Да, господа, жизнь разведчика полна опасностей, но от вражеской разведки у нас есть надежная защита — бдительность и хорошая конспирация. Если мы будем помнить это, нам не надо будет заниматься софистикой подсчета вероятного засорения нашей среды вражескими агентами, нам надо будет только бороться с ними.

Аксель закрыл совещание, вышел в сад и сел на скамью под раскидистым дубом. Было безветренно и душно. На черном небе блекло проглядывали звезды. Где-то далеко на востоке чуть слышно ворчала война. В соседнем саду слышались веселые голоса немецких солдат. Они там готовили баню, рубили дрова, хохотали и не знали, как будут мыться в этой бане... «Вот оно, величие новой Германии! Одно слово фюрера — и его солдаты уже глубоко в России, ни трудности, ни кровь, никакая сила не может остановить того, что происходит, — самая великая из войн стальным валом катится по равнинам России. Здесь делается новая история человечества...» — думал Аксель, в душе у него поднимался горделивый экстаз, комок подкатил к горлу...

Он встал и пошел по еле приметной дорожке, под ногами у него шуршали опавшие листья. Сучья цеплялись за голову, идти согнувшись было неудобно, нелепо...

Он вернулся к скамейке, сел, закурил сигарету и стал снова думать о великих событиях, о великом фюрере, великой Германии и ее солдате, о своем участии в великой победоносной войне...

Попал в Ленинград по северной дороге, через Тихвин и Мгу. Прямая дорога уже перерезана врагом. Ехали долго, часто останавливались. Тревожные отрывистые гудки паровоза, вопли «Во-о-здух!». Почти все бежали в поле.

Очередная остановка в лесу — появились самолеты. Черные кресты на крыльях. Я уже видел их в Риге, но на этот раз самолеты были видны как-то особенно ясно — горбатые, спереди блестят стекла и струятся круги от винтов, на крыльях — кресты. Они летели низко, наверняка видели наш поезд, но почему-то не бомбили и не обстреливали. Мы стояли и смотрели на них. Поражала мысль, что там, в кабинах самолетов, — люди, что они сейчас смотрят оттуда на нас и что у них сейчас одна мысль — как поскорее нас убить. А ведь они знают нашего Пушкина, а мы — их Гёте. И наконец, поразительно, невероятно, что все это происходит в XX веке, когда мы по радио можем услышать Бетховена с той стороны земли...

Уже под самым Ленинградом немецкий самолет на бреющем полете пронесся над поездом, стреляя из пулеметов. В нашем вагоне пуля распорол потолок в коридоре и ушла в пол.

Ленинград еще ни разу не бомбили, но город к этому уже приготовился. У витрин построены и строятся щиты, которые заваливают мешками с песком. Люди заклеивают окна бумажными полосками — что это даст? По ночам на крышах дежурят посты ПВО.

Ездил на передовую. Дальше штаба армии не пустили. Сказали, что посторонним там нечего делать. С каких это пор военные корреспонденты стали посторонними? Объяснили, что сейчас происходит перестроение, некоторые части отводятся в резерв, а свежие заступают на их места, проехать по дорогам невозможно... Ясно — мы отступаем.

В штабе армии мне позволили присутствовать на допросе немецкого парашютиста. Немец был лет 25, рослый и красивый, прямо Зигфрид. Я приготовился записывать, рассчитывая вернуться в Ленинград с боевой

корреспонденцией «Допрос пленного»...

Полковник, в очках, похожий на учителя, начал допрос:

— Имя и фамилия?

— Адольф Гитлер, — громко ответил немец. Он нагло улыбался, и глубокий шрам на его щеке шевелился, как червяк.

— Имя и фамилия? — еще раз спросил полковник.

— Адольф Гитлер, — ответил немец, и мне показалось, что он подмигнул мне.

Имба подпрыгнула — близкий разрыв бомбы или снаряда.

— Что вас интересует еще? Торопитесь, мои товарищи уже стучат в окно, — засмеялся немец.

В избу вошел комдив. Весь в пыли, даже брови были сивыми, пыль сыпалась с него на пол.

— Что тут происходит? — сощурил он воспаленные глаза.

— Только что начал допрос, товарищ комдив, — ответил полковник. — Пленный заявляет, что его зовут Адольф Гитлер.

— Адольф Гитлер? — Комдив почему-то обрадовался, попросил полковника переводить и сказал: — Это же прекрасно, что к нам в плен попал сам Гитлер! Какая удача! Как раз у нас тут есть представитель из радио, и мы сейчас подарим ему сенсацию.

Немец слушал перевод, кивал головой, но перестал улыбаться.

— Нам будет очень приятно поставить Адольфа Гитлера к стенке и расстрелять, — обернулся комдив к полковнику. — Оформляйте протокол...

Он вышел, оставив после себя пыльное облако в луче солнца.

Я думал, что этот Зигфрид испугается. Но он только спросил, будет ли какая-нибудь судебная процедура. Полковник объяснил, что время военное, он пойман как диверсант и канцелярщина необязательна.

— За мою смерть вы заплатите так дорого, что расстрел доставит мне наслаждение, — торжественно сказал парашютист, и казалось, его наглые глаза горели голубым пламенем...

Вошли конвойные, один из них — великан в матросской форме — поднял немца со стула за воротник, как щенка. И вдруг немец закричал:

— Айн момент! Айн момент!

Матрос оглянулся на полковника, тот на секунду задумался и приказал негромко:

— Выполняйте приказ.

Матрос подтолкнул гитлеровца к дверям, но тот бросился назад, к полковнику, крича:

— Я скажу все! Нас сброшено двадцать человек! Я знаю место сбора!

— Выполняйте приказ, — повторил негромко полковник.

Немец рухнул на колени и пытался вырваться из рук матроса, но тот снова взял его за воротник и швырнул в дверь.

— Почему вы не выслушала его? — спросил я.

— Всех перебили. Он один живой из десанта... — ответил полковник.

Корреспонденция называлась «Адольф Гитлер на коленях просит пощады»... Спустя несколько дней узнал, что корреспонденция не пошла, дежурный редактор не без сарказма сказал, что даст корреспонденцию, когда ее символика будет поближе к реальности...

Глава пятая

Приближалась полночь, но в приемной Жданова было полно народа, и с того момента, как на окнах были сдвинуты тяжелые гардины, время здесь как бы остановилось. Помощник Жданова то и дело звонил по телефону, вызывал в Смольный все новых и новых людей. Это были руководители различных ленинградских учреждений или предприятий, они хорошо знали друг друга и сейчас сидели и стояли группами, тихо разговаривая.

Начальнику Управления НКВД Куприну Андрей Александрович Жданов назначил прием на ноль-ноль. Просил получше подготовиться, чтобы разговор был максимально плотным и продуктивным. Куприн, конечно, волновался — Жданов был не только членом Военного совета города и секретарем обкома, но и секретарем Центрального Комитета партии.

Куприна страшило неумение действовать в новых условиях, когда каждая крупница опыта давалась в бою, а каждая ошибка могла стоить крови. Он завидовал тем думстам чекистам, которые ушли на фронт — там все ясно.

Он собирался честно сказать о своих сомнениях Жданову, ему некому больше сделать такое признание...

Дверь в кабинет как-то неуверенно приоткрылась, и в темноте тамбура показалась крупная фигура хорошо знакомого Куприну директора одного ленинградского завода. Дела на этом заводе всегда шли хорошо, и директор был, что называется, на виду. Здоровяк, всегда шумный, веселый, сейчас он вышел из кабинета бледный, осунувшийся, ни на кого не глядя. В приемной стало очень тихо.

Шаркая ногами по ковровой дорожке, директор завода пошел к выходу, и в это время Куприну предложили пройти в кабинет...

Верхний свет был потушен, горели два плафона на стене и настольная лампа. Малоосвещенный кабинет казался еще больше. Слева, на длинном столе для заседаний, были разложены военные карты.

Куприн стоял перед столом и ждал, когда на него обратят внимание, но Жданов еще долго резкими движениями карандаша записывал что-то в большом блокноте. Выглядел он очень усталым и раздраженным. Лицо у него было опухшее, нездорово-белое и мало похожее на крепко налитое, молодцеватое, которое все видели на портретах. На нем был штатский костюм темно-синего цвета, белая рубашка с мягким воротничком, черный галстук. На лацкане пиджака — красный флажок депутатского значка.

Жданов воткнул карандаш в стакан, откинулся на спинку кресла и потянул узел галстука:

— Чего стоите?

Куприн сел на стул и положил перед собой папку.

— Духотища страшная... — Жданов провел тыльной стороной ладони по лбу, посмотрел на нее и, вынув из кармана носовой платок, тщательно вытер руку.

— У нас два врага сейчас — фашизм и наша штатская безответственность, — сухо и гневно сказал он, как будто продолжая начатый разговор. — Только что у меня был директор завода. Война для него еще не началась. Весь — в прошлой славе. Как думаете, с чем он пришел? Посоветоваться, как быстрее перестроить производство на военный лад? Отнюдь! Просил забронировать чуть ли не весь завод! Хотя бы для отвода глаз о продукции для фронта сказал! Я, говорит, не имел на этот счет указаний. А? — Черные блестящие глаза Жданова закрылись на мгновение, он повертел головой, будто ему давил воротник рубашки. — Указаний не было. А? Спрашиваю у него: сын у вас есть? Есть, уже воюет. И это для вас не указание?

Молчит. А если, спрашиваю, вашего сына убьют, потому что для него не хватило винтовки?.. — Жданов снова закрыл глаза и сказал тихо: — Безответственность... — И вдруг выпрямился, шумно вздохнул и громко сказал: — Народ мобилизовался, а они ждут указаний! — Он несколько раз молча и глубоко вздохнул и продолжал: — Иосиф Виссарионович сказал мне, что за Ленинград он не тревожится, питерские рабочие понимают, что победу нам обеспечит только полная военная мобилизация всех сил. А вот некоторые питерские руководители этого еще не поняли...

Придвинув к себе пухлую красную папку, Жданов вынул из нее несколько листов, — Куприн издали узнал свои ежедневные сводки и увидел на полях размашистые знаки вопроса красным карандашом.

— Одно соображение общего порядка: по-моему, непосильно одному человеку возглавлять дела госбезопасности и особый отдел фронта, — решительно сказал Жданов. — Согласны?

Куприн наклонил голову.

— А чего же до сих пор молчали? Любите власть? Ждали указаний?

— Я поднимал этот вопрос.

— Где? Когда? Что предлагали?

— Я писал своему непосредственному руководству, — начал Куприн и сразу умолк, поняв, что сказал не то.

— Что замолчали? — грубовато спросил Жданов. — Вспомнили, что у вас нет более непосредственного руководства, чем партийная организация Ленинграда?

— Так точно, — по-военному ответил Куприн.

— Так точно... так точно... — ворчал Жданов, перелистывая сводки. Он отложил их на край стола и сказал: — Вот что меня тревожит. Работа фронтовой разведки и контрразведки ясна — они заняты схваткой с врагом, так сказать, лицом к лицу. Но что происходит здесь, в городе? — продолжал Жданов, показывая на сводки. — Регистрация болтунов. Мелочь и чепуха. Город сам справится с болтунами. Мародеры, спекулянты и прочая нация — дело милиции и истребительных батальонов. А вам надо думать о показаниях немецкого майора — о тех, что вы присылали мне. Майор заявил ясно и недвусмысленно — немецкое командование рассчитывает на взрыв города изнутри. Так?

— Совершенно точно, — живо подтвердил Куприн, радуясь, что разговор неожиданно приблизился к делам, о которых он думает все последнее время.

— Вы понимаете, о каком взрыве они помышляют?

— Думаю, что понимаю.

— А в сводки лопатой сгребаете слухи? — Голос Жданова звучал громко и напряженно.

— Я не верю в возможность организовать вылазки, — упрямо сказал Куприн.

— А в попытку ее организовать?

— Пытаться они могут сколько угодно...

— Ах, вы им позволяете? — едко спросил Жданов. — А может, умнее пресечь любую такую попытку в самом зародыше? Вы понимаете, что всякая сволочь в особо трудных для нас обстоятельствах неизбежно поднимет голову? Вы это вовремя увидите?

— Мы все время думаем об этом и все же сначала должны помешать тем, кто

может прийти оттуда, — начал Куприн, но Жданов перебил его:

— Так образцово поставлено у вас дело, что вы можете устанавливать очередность, кого, в каком порядке хватать? — Глаза Жданова — насмешливые и серьезные одновременно — стали вдруг очень большими на бледном лице.

— На наш взгляд, наибольшую опасность представляет прямая их агентура. Ее устранение...

— Таковая имеется? — снова перебил Жданов.

— Их консульство здесь действовало активно.

— А вы спали?

— Мы еще до войны натыкались на их агентуру.

— Что значит — натыкались? Как слепые? А теперь прозрели?

— Более двухсот наших опытных сотрудников ушли на фронт, — сказал Куприн, думая, что эта цифра пояснит его мысль, вызвавшую несправедливую насмешку Жданова.

— Вы хотели бы набрать двести новых? Не позволим! — отдельно сказал Жданов и мягко стукнул пухлым кулаком по столу. — А каждая диверсия в городе, каждый проникший в город диверсант или вылезший на белый свет доморощенный мерзавец — все они будут целиком на вашей совести! Готова ваша совесть выдержать такое испытание?

Жданов требовательно смотрел на Куприна, припухлости под его глазами нервно подрагивали. Куприн напряженно молчал.

— Я упомянул об ушедших на фронт только затем, чтобы показать нашу первоочередную заботу о линии фронта, — сказал наконец Куприн.

— И это правильно, — неожиданно согласился Жданов. — Но что дальше? Тришкин кафтан?

— Почему? И на фронте и в городе для нас главная цель — те, на кого они могут опереться.

— Могут или рассчитывают?

— Не улавливаю разницы...

— Они утверждают, что все наше государство — это колосс на глиняных ногах и что мы уже рушимся. Что наши идеи чужды народу и так далее и так далее. Они могут полезть напролом, надеясь реально, скажем, на панику в городе. Что вы по этому поводу скажете?

— Мне кажется, что следует отделять то, что они кричат по радио, от того, что предпринимают и могут предпринять реальные силы: их армия, разведка. Плюс, конечно, еще авантюризм как стиль действий. Но поднять восстание в городе они не смогут.

— А если они все же попытаются?

— Ленинград их раздавит. Население поможет нам.

Жданов долго смотрел на длинный стол с картами и вдруг чуть заметно улыбнулся:

— Не уговорил я вас на вариант с восстанием. У меня тоже нет сомнений в верности Ленинграда революции и Советской власти. Но тогда выходит, что вам нечем и заниматься?

— В таком огромном городе немало опасной публики.

— Да, найдутся способные выстрелить нам в спину! Найдутся саботажники! Уголовники! Их вы обезвредите?

— Я как раз хотел несколько подробнее доложить вам о нашей работе в городе, — начал Куприн, открывая папку...

Возвращался он к себе на Литейный по улице Воинова. Ночь была безоблачной, по северному светлой, в Ленинграде бывают такие в августе, они как воспоминание о белых июньских ночах. Куприн решил выйти к Неве... Река поблескивала и казалась тревожной. В сером перламутровом небе покачивались темные рыбины аэростатов и, если приглядеться, становились видны блеклые звезды... Куприн видел все это, но как-то безотчетно — все это было знакомое, родное, но ничто сейчас не задевало души. Он думал о разговоре в Смольном. Жданов сказал, что чекисты просто не имеют права работать плохо, они должны слиться с сердцем города, чувствовать каждую его боль. А таящиеся в городе мерзавцы должны быть обезврежены раньше, чем они попытаются хотя бы шевельнуть пальцем.

Повернув за угол на Литейный, Куприн столкнулся с патрулем. Это были морячки — молоденький командир и два краснофлотца с винтовками за плечами.

— Пгедъявите пропуск, — картаво потребовал командир. Возвращая пропуск, он картинно, по-морски, отмахнул честь.

— Ночь спокойная? — спросил Куприн.

— Спокойная... если не считать, что идет война, — ответил командир, и оттого, что он не скартавил ни в одном слове, показалось, что он сказал это совсем другим, более взрослым голосом.

Цокая подкованными каблуками по камню, патруль уходил к Неве. Голубой луч прожектора воткнулся в небо, рассек его пополам, исчез, и небо стало темнее. Где-то очень отдаленно громыхнуло — не то гроза, не то война. Навстречу Куприну промчалась, мигая притушенными фарами, легковая машина — наверное, в Смольный...

Поднявшись на четвертый этаж, Куприн вызвал своих заместителей. Макаров пришел очень быстро — его кабинет ближе, и он вообще более поворотлив. Сухощавый, всегда спортивно подтянутый, резкий в движениях, он был не особенно симпатичен Куприну своей самоуверенностью и склонностью спорить по любому поводу.

— Ну, как было? На или под? — спросил Макаров, входя.

За дверью послышался низкий голос Стрельцова, он уже вошел, но тут же повернул обратно и, приоткрыв дверь, сказал что-то дежурному.

— Прошу извинить... — проворчал он, садясь в кресло перед столом Куприна.

— Что случилось? — спросил Куприн.

— Два раза просил уточнить очередность эвакуации наших семей — как горох об стену! А в результате — звонили из горкома, завтра дают места, а кто может уехать, мы не знаем.

Стрельцов был возмущен, но говорил неторопливо, он вообще никогда не торопился.

— Ну, так что же, что же все-таки было в Смольном? — нетерпеливо спросил Макаров.

— По поводу наших сводок сказано, что мы берем поверху, слухи собираем, охотимся на болтунов. Товарищ Жданов напомнил, что за надежность тыла, за

спокойствие города целиком отвечаем мы.

Куприн подробно рассказал о своем разговоре со Ждановым.

— Пахать надо глубже — факт, — нарушил молчание Стрельцов.

— Что вы имеете в виду? — спросил Макаров.

— Помните, мы закрыли дело деникинца, кажется, его фамилия Бруно? — спросил Стрельцов.

— Там не за что было зацепиться, — ответил Макаров.

— Сегодня майор Грушко доложил, что этот самый Бруно исчез и есть все основания полагать, что он отправился к немцам, — неторопливо сообщил Стрельцов. — Вот, мне кажется, это как раз пример мелкой пахоты.

— Когда он у нас проходил? — спросил Куприн.

— Меньше года, — ответил Макаров и пояснил: — Здесь, у вас, мы слушали доклад Грушко об этом деле и дружно его прикрыли.

— Не помню, — сказал Куприн. — Давайте вызовем Грушко, пусть напомнит.

Куприн был рад, что разговор в самом начале обрел конкретность — от общих дискуссий и обмена мнениями он уже порядком устал.

Майор Грушко, чемпион города по самбо, как многие сильные люди, стеснялся своей могучей фигуры. Вот и сейчас, войдя в кабинет и поздоровавшись, он быстро сел за длинный стол около двери, положив перед собой толстое дело.

— Мы решили вернуться к делу Бруно. Помните? — сказал Куприн.

— Как не помнить... — негромко отозвался Грушко, но в голосе его слышались сильные, трубные ноты.

— Напомните суть этого дела...

Андрей Адольфович Бруно до недавнего времени работал заведующим мастерскими одного производственного комбината. Первый раз им заинтересовались примерно полгода назад, когда о нем поступил запрос из Одессы. Там судили долго скрывавшегося крупного деникинского контрразведчика, и он дал показания в отношении какого-то Бруно. Этот Бруно бежал из Красной Армии к Деникину и передал белым секретные документы. На это показание обратили серьезное внимание только спустя несколько лет после суда... Стали искать и вскоре там же, в Одессе, нашли в архиве судебное дело. Оказывается, в двадцать втором году Бруно судили за уклонение от военной службы — время было уже не военное, и ему дали два года условно. Об измене суду не было известно. Одесская прокуратура объявила розыск Бруно, и он без особого труда был обнаружен в Ленинграде, где жил с 1929 года. Когда его вызвали в НКВД, он принес целую папку благодарностей. Все, что сказали о нем на суде в Одессе, он категорически отрицал. Но подтвердил факт уклонения от военной службы и судимость за это и сообщил, что фальшивую запись в его военном деле сделал за взятку тот самый деникинский контрразведчик, который работал тогда в одесском военкомате. Очной ставки устроить было нельзя — контрразведчик давно расстрелян. Никаких других данных не было, и искать их не стали. Дело закрыли, а Бруно оставили в покое...

— Вчера вечером позвонила по телефону работница мастерских и сообщила, что у них пропал заведующий. Я проверил: он еще недели три назад сказал, что едет в Гатчину за дочерью, и не вернулся, — закончил Грушко свой короткий рассказ.

— А может, он там заболел? — спросил Макаров.

Грушко поднял в недоумении свои крутые борцовские плечи.

— Подождите, — сказал Куприн. — В Красной Армии он служил?

— Сперва он был офицером в царской, — ответил Грушко, заглядывая в дело. — Потом в Красной, потом — у Деникина, а потом — уклонение от службы уже снова в Красной. Пестрая картинка...

— Какую проверку провели мы? — спросил Куприн.

— Слабую, — тихо ответил Грушко.

— Я прошу у вас не оценку, а точно, что было сделано, — густые черные брови Куприна сошлись в одну линию.

— Опросили его непосредственное начальство, поспрошали сослуживцев, все дали отличную характеристику. Вот и вся проверка.

— Вот это и есть копать поверху, — сказал Куприн. — Очень полезно, что мы наткнулись на этот пример. Надо срочно послать в Гатчину человека.

— А если Бруно там нет? — спросил Макаров.

— А если он там? — перебивая, ответил Куприн. — Решение принято. Что у вас, Грушко?

— Хочу напомнить еще об одном человеке. Помните дело о пожаре на новом корабле? Там свидетелем проходил некто Давыдченко.

— Хорошо помню — мы локти кусали, что не смогли его судить, — сказал Стрельцов.

— Давыдченко живет тоже в Гатчине. Я до сих пор уверен, что вся техника для поджога тогда хранилась у него, — сказал Грушко.

О дружбе майора Грушко и майора Потапова знают на всех этажах управления. Нельзя без улыбки смотреть на них, когда они рядом: великан Грушко и шуплый Потапов с сильными очками на носу, не дотянувшийся даже до плеча своего друга. Они дружат семьями, хотя живут в разных концах города, пойти в гости друг к другу так у них и называется — произвести замер города с юга на север или наоборот, в зависимости от того, кто к кому шел.

Поздней ночью они вышли из управления и стояли у подъезда на безлюдном Литейном проспекте.

— Ты меня предложил? — спросил Потапов.

— Макаров.

— Спешка с семьями из-за этого?

— Сам распорядился.

— Хорошо, что наши будут вместе.

— Не верю, что Бруно там, ты скоро вернешься.

— Что дома скажем?

— Служба, что ж еще...

— А проводить нельзя?

— Когда же? В девять к Стрельцову. Грузовики — в десять.

В бездонном темном небе послышался гул невидимого самолета, оба невольно посмотрели вверх, туда, где нес свою ночную вахту наш истребитель. Грушко положил тяжелую руку на плечо друга:

— До утра. Ольге привет.

— Наде...

И они пошли — каждый в свою сторону — и еще долго слышали шаги друг друга...

Образовался какой-то быт: живу в гостинице «Астория», в самом дешевом номере — главный бухгалтер Московского радио может спать спокойно. Езжу с оказиями на фронт, но толком ничего не вижу и не понимаю, что там происходит. Военные, с которыми приходится говорить, — одни темнят, другие сами ничего не знают, третьи паникуют, четвертые грозятся в недалеком будущем разгромить врага. Поди разберись во всем этом...

Ежедневно диктую в Москву радиокорреспонденции о боевой готовности Ленинграда, о доблестном труде ленинградцев и о ратной доблести защитников города. Но все это правда — атмосфера, в которой живет, трудится и воюет город Ленина, очень бодрая. Ни тени паники. Смотришь на Невский и диву даешься — бурлит, как в мирное время. Только военных больше в толпе.

Гостиница полна эвакуированными из Прибалтики, но долго они здесь не задерживаются, их отправляют дальше, в глубь страны. На днях в кафе «Астория» ко мне привязался пьяный эстонец, все спрашивал у меня с надрывом: «Скажите мне, дураку, зачем я уехал из своего родного Таллинна?»

В Ленинграде появились московские писатели Светлов и Славин. Они чудом прорвались сюда на автомашине — на какой-то заграничной, большой, черного цвета. Все мы ахали, изумлялись, как ловко они сумели проскочить в Ленинград. Какой молодец их шофер Хаскин — парень с шалыми глазами.

И вдруг Светлов сказал:

— Как вам не стыдно, задумайтесь, о чем вы говорите, опомнитесь, милые! Страшная суть происходящего не в том, что мы проскочили, а в том, что мы — советские люди — вынуждены проскакать в свой город Ленина. Задумайтесь, ребятки, над этим. И тогда вы поймете, что мы со своим авто пережили не героический эпизод, а прямо дикий, пронзительный позор! Понимаете? Позор! Наш доблестный Хаскин перенес этот позор, находясь в наиболее активной позиции, ибо он вертел баранку. А мы со Славиним от обычного груза отличались тем, что на наших спинах не было надписи «Нетто», что, как известно, означает вес без упаковки. Вот так-то, дорогие мои...

Пора, пора серьезно задуматься о войне, о своем месте в ней и о своей ответственности. Ведь прошло уже целых два месяца войны...

Глава шестая

Чернышев Николай Петрович. Беспартийный. Одинокий. Родился 2 сентября 1905 года в городе Пскове, в семье железнодорожника-мостостроителя. Жил в Пскове до 1924 года, когда отца перевели на южную дорогу. Семья поселилась в Харькове. Отец в этом же году умер от тифа. Николаю пришлось бросить школу и поступить на авиационный завод. Работал токарем. В 1927 году в результате аварии в цехе получил инвалидность (потерял три пальца правой руки). Затем до 1929 года работал на том же заводе заместителем заведующего Домом культуры. С 1929 по 1935 год — заместитель директора парка культуры и отдыха в Харькове. С 1935 по 1940 год — агент по снабжению Военторга. Вольнонаемный, место службы — город Витебск. С 1940 года в составе особой группы Военторга работает по обслуживанию частей Красной Армии, вступивших в Прибалтику. В связи с войной — эвакуация. Потерял свою колонну, самостоятельно добрался до Ленинграда, ищет работу.

Сначала переход Чепцова через фронт был назначен на 15 сентября, но стало известно, что решающее наступление на Ленинград начнется раньше, в первой декаде сентября. Аксель был заинтересован, чтобы его человек оказался в городе до наступления, и Чепцов отправился через фронт в день своего рождения, шестого сентября. Он должен пробыть в Ленинграде недолго. Ему приказано ознакомиться с обстановкой в городе, провести разные эксперименты первичного внедрения, выборочно проверить агентуру и вернуться.

Чепцову исполнилось тридцать девять лет. Это был низкорослый крепыш на коротких толстых ногах, его крупная, наголо бритая голова казалась вросшей в плечи. О его лице в служебной карточке написано «без особых примет», и это подчеркнуто — такие лица в разведке ценятся.

В 1917 году отец вывез пятнадцатилетнего Никиту за границу. Мать умерла за год до революции. Отец умер в Германии в 1932 году, оставив сыну обувную фабрику. Тридцатилетний Никита Чепцов не пожелал возиться с кожами и вечно недовольными рабочими и продал фабрику. Деньги улетучились быстро. Помогли приятели, которые обещали ему счастливое будущее. Однажды в Мюнхене, в пивной, друзья показали ему своего вождя Адольфа Гитлера — смешного человека совсем не немецкого вида. Но наступило время, когда этот человек стал рейхсканцлером Германии, а друзья Чепцова заняли очень высокие посты. Но они его не забыли, и вскоре Чепцов уже носил форму штурмовика, а позднее — черный китель гестаповца, — ему была поручена проверка и чистка живущей в Германии русской эмиграции. Потом его перевели в абвер. Год назад его посылали в Прибалтику, где он действовал как один из организаторов репатриации прибалтийских немцев на родину, но главной его обязанностью была вербовка среди русской эмиграции агентов для абвера и для гестапо. Сразу после возвращения из Риги он был причислен к особой группе, занимающейся Россией, а отсюда попал к Акселю.

Аксель, конечно, знал о том, что Чепцов человек гестапо. Он знал, что без соглядатая из гестапо его не оставят, так пусть лучше будет этот не хватающий звезд с неба крепыш. Чепцов откровенно сказал Акселю, что у него в Ленинграде есть сугубо личные интересы — он хранил наследственные документы на владение хлебными складами и коммерческими домами. Аксель решил, что эта заинтересованность Чепцова в конце концов окажется сильнее гестаповских привязанностей и заставит его стараться изо всех сил.

Подбирая кандидатуру для первого похода через фронт, Аксель остановился на Чепцове еще и потому, что в случае неудачи будет лучше, если с ней будет связан человек гестапо, а не абвера. Гораздо больше Акселя тревожило другое: Чепцов, узнав, что он идет первым, вдруг как-то обмяк, стал излишне задумчив...

Они выехали в полдень. Солдат, сидевший за рулем новенького, выкрашенного в лягушинный цвет полуоткрытого «ДКВ», видимо, первый раз вел машину с переключателем скоростей на переднем щитке, часто путал скорости, и машина то вдруг останавливалась, то дико прыгала вперед. Солдат негромко ругался.

Длинному Акселю в маленькой машине было неудобно, он сидел на заднем сиденье, согнув ноги в сторону, и все время чувствовал ими колени Чепцова. Это было омерзительно. Его раздражал новенький клеенчатый плащ, скрипевший при каждом движении. Его сердил солдат, плохо ведущий машину. И главное — его злило, что он отправился в эту поездку только из-за того, что агент, на которого он так полагался, вдруг в последний момент раскис — так ему показалось. Однако Аксель умел отлично владеть собой.

— Волнуетесь? — участливо спросил он, тронув Чепцова за локоть.

— Да... немного...

— Для разведчика момент внедрения в новую среду всегда самый волнующий... Это похоже на первое свидание. А? Я даже завидую вам... — Аксель с веселым видом смотрел на Чепцова и видел тоску в его серых маленьких глазах. — Знаете, какое самое типичное заблуждение во взгляде на нашу профессию? — продолжал Аксель. — Присвоение нам сверхчеловеческих возможностей. Разведчик же — самый обыкновенный человек, разве что посмелее других. И контрразведчик тоже человек. Когда они впервые сталкиваются — это два человека, и ничего больше. Вот вы стоите перед чекистом, кого он видит? Военторговский деятель, бежавший из Прибалтики до Ленинграда. Он видит крепкого мужчину в хорошей военной гимнастерке, без петлиц, но с офицерским ремнем, в сапогах по личному заказу. В общем, бесспорно, перед ним военторговец. Если вы тоже будете уверены в этом, чекист ничего другого в вас увидеть не сможет. Он же тоже человек, а не волшебник. Если он еще заметит вашу руку, то просто захочет вам помочь. Право, никогда не следует преувеличивать человеческие возможности противника. Это опасно...

— Я это понимаю, — слабо улыбнулся Чепцов. — В сороковом в Риге я их уже видел. И они меня — тоже. Волнует, что тут — Россия...

Они свернули на грейдерную дорогу, сильно разбитую прошедшими войсками. Разговаривать стало трудно. Машина то и дело заваливалась в ямы. Они стали смотреть по сторонам, но ничего не было видно — у дороги густо росла посеребренная пылью скучная ольха.

— Узнаете родную природу? — спросил Аксель.

— Моя родная природа — Берлин, Грюневальд, — ответил Чепцов.

Машина прыгала на ухабах...

В штабе дивизии их уже ждали. Они пересели в бронетранспортер командира дивизии и направились на позиции батальона, где Чепцов будет переходить линию фронта.

Впереди, рядом с водителем, сел командир дивизии — совсем молодежавый полковник, очевидно, из «французигов» — так называли офицеров, выдвинувшихся во время французской кампании. На заднем сиденье между Акселем и Чепцовым втиснулся похожий на цыгана, рослый, шоколадно загоревший подполковник. Когда машина тронулась, он сказал Акселю на ухо:

— Рад познакомиться, я подполковник Рестель, возглавляю в восемнадцатой армии отдел «Один Ц».

Аксель слышал об этом отделе и о подполковнике. Они пожали друг другу руки.

— Хочу посмотреть, как вы будете это делать. — Рестель показал глазами на

Чепцова.

— Технология примитивная, — улыбнулся Аксель, он не хотел вести этот разговор в присутствии Чепцова...

Из полуразрушенного кирпичного сарая на окраине сожженной деревни открывался далекий обзор местности — хорошо были видны и железнодорожная станция, и, чуть правее, ближайшая цель Чепцова — небольшой городок, который завтра в порядке разведки боем должен быть занят.

Когда стемнело, командир дивизии послал за свою передовую линию две группы разведчиков. Одну — к городу, другую — к станции. Вскоре обе группы вызвали на себя пулеметный огонь противника, и его огневые точки были зафиксированы артиллерийскими наблюдателями. Как только разведчики вернулись, начался огневой налет на позиции русских, а затем с правого фланга наискось, держа курс на станцию, пошли два танка.

Чепцов простился с Акселем, поблагодарил за помощь командира дивизии, перекрестился и вышел из сарая. Его шаги стихли в темноте. Командир дивизии спросил удивленно:

— Русский?

— Да. Когда примерно он должен перейти? — спросил Аксель.

— Через час, не раньше.

— Я не имею возможности ждать. Очень прошу вас, если это нетрудно, сообщить мне результат через штаб корпуса.

В штабе, ожидая, пока заправят бензином машину, Аксель разговаривал с подполковником Рестелем. Они сидели за столом в уютном садике позади дома, занятого командиром дивизии. Сад сонно шелестел пожухлой и пыльной листвой, но было тепло по-летнему. Полковник приказал подать кофе и оставил их вдвоем.

— Я вижу, ваш русский не из пленных? — спросил Рестель.

— Обожглись на пленных? — спросил Аксель, он не собирался углубляться в подробности. Этот Рестель был слишком самоуверен и немного раздражал своей бесцеремонностью.

— Да нет... Особых ожогов пока не имел, — ответил Рестель, весело смотря на Акселя черными глазами. — Надо только находить среди них подлецов. И тогда можете не волноваться.

— А как же это вы их определяете?

— По глазам, — хохотнул Рестель и продолжал: — Подлец — понятие надклассовое, наднациональное и даже надгосударственное. Подлец индивидуален и интернационален.

— Но все же, как вы их находите?

Рестель почувствовал заинтересованность Акселя и стал говорить серьезно.

— На войне подлец начинается с трусости. Я прежде всего интересуюсь, как данный индивидуум попал в плен. Вот случай. Индивидуум сам прибежал. Свои всадили ему пулю в ягодицу. Веду с ним задушевный разговор о прежней его жизни и о жизни его будущей, если, конечно, не случится с ним смерти, от чего я ему никаких гарантий не даю. И вижу — индивидуум самой величайшей драгоценностью на земле считает свою собственную шкуру. Хлоп! Капкан сработал! Вся дальнейшая игра идет на шкуре, как на арфе.

— Но он же и для вас останется трусом, — возразил Аксель.

— Вступает в действие простейшая формула: индивидуум узнает, что он будет жить на этой грешной земле только до тех пор, пока верно мне служит и выполняет все мои приказы. Чуть в сторону — смерть. И он идет по этой прямой, как паровоз сквозь туман. Нет, лет, полковник, поверьте мне: русский подлец нам полезен как никто.

С востока донесся грохот далекого артиллерийского огня.

— Не там, где мы были? — спросил Аксель, прислушиваясь.

— Севернее... гораздо севернее... — сказал Рестель, вдруг став очень серьезным.

— Тогда вернемся к подлецам. Я хотел заметить, что человек, которого там считают подлецом, для нас вовсе не подлец, и мы соответственно должны к нему относиться.

— Никакого противоречия! — возразил Рестель. — Придет срок, и я своего подлеца обласкаяю, даже орден ему дам. Но вначале мой подлец знает, что он подлец, исходя из своих русских критериев поведения. И в этом его до поры до времени не нужно разубеждать. Если же вы сразу дадите ему понять, что его подлость для вас — ценный подарок, он сядет вам на голову. А если увидит, что вы не очень щедры на ласку, он обманет вас при первом же испытании...

Они беседовали о русских подлецах, попивая ароматный кофе в уютном садике на русской земле, слыша ее тепло, ее осенние запахи. Над ними было густое черное русское небо в редких и блеклых звездах...

В это время Чепцов уже подходил к окраине городка. Он совершенно спокойно прошел весь путь. Огородами пробрался до глухого переулочка возле церкви и пошел по нему к центру города. Впереди он увидел силуэт грузовика и услышал голоса. Подошел ближе и стал смотреть. Две женщины выносили из склада тяжелые ящики, а мужчина — это был шофер — расставлял их в кузове грузовика.

— Бог на помощь, — сказал Чепцов, подойдя еще ближе.

— Если ты с богом, помоги, — сердито и сипло ответила женщина, тащившая на плече ящик...

Чепцов молча перехватил у нее тяжелый ящик и вскинул на грузовик. Он стал вместе с женщинами таскать ящики, пока они не загрузили кузов машины.

Женщины, шофер и Чепцов уселись рядом на бревнах передохнуть.

— Местный будете? — спросила женщина с сиплым голосом. Чепцов в темноте не мог ее разглядеть.

— Местный... — усмехнулся он. — Я от самой Риги местность ногами меряю. А по службе я военторговец. Доторговался вот...

— Гляди, Груня, наш товарищ по всем несчастьям. А я заведу тут магазином, это мой склад. Три дня грузовика не могла допроситься. Никому дела нет, а случись что, сам знаешь, подай сюда завмага.

Где-то в центре города сухо треснул разрыв снаряда, и тотчас над крышами там расплылось розовое пятно. Чепцов знал: началась артиллерийская обработка города, через час сюда пойдут танки. Но это началось почему-то раньше времени, о котором ему было сказано в штабе дивизии.

— Поехали, бабоньки. — Шофер встал и быстро направился к машине.

— Не дрожи! — сипло крикнула ему вслед заведующая магазином. — Ящики-то бабоньки таскали, дай хоть остыть малость.

Шофер, не отвечая, залез в кабину и завел мотор. В это время снаряд ударил

позади склада, воздушная волна сорвала с него крышу, всю целиком, и, перебросив ее через улицу, поставила шалашом перед домом.

Завмаг стала поспешно садиться в кабину, другая, встав на колесо, легко вспрыгнула в кузов и втиснулась там между ящиков.

— Куда едете? — спросил Чепцов.

— В Ленинград, куда ж еще... — ответила женщина. — А ты что, остаешься?

— Подвезете?

— Залезай, шевелись! — злобно крикнул шофер.

Близко разорвался еще один снаряд. Комья земли застучали по крыше шоферской кабины. Грузовик рванулся с места. Чепцов забросил в кузов рюкзачок, схватился за борт и с разбега вскинул свое крепкое тело в двинувшуюся машину.

Над городом метался судорожный свет непрерывных артиллерийских разрывов и начинавшихся пожаров. Казалось, что черное небо вот-вот расколется от непрерывного грохота.

Грузовик, не зажигая света, мчался по пылающим улицам, и Чепцов молил бога только об одном, чтобы шофер не заблудился в горящем городе и вывел машину из-под огня. «Вот тебе и точный немецкий расчет, — подумал он. — Ну что бы я делал, если б не оказалось этого грузовика?» И вдруг Чепцов с удивлением и тревогой обнаружил, что он все печется о том, как он доберется до города, и совершенно не думает об огромной опасности, которая угрожает его жизни уже сейчас. Ведь достаточно одного снаряда на пути машины, и его разнесет вместе с этими ящиками, от которых пахнет хозяйственным мылом. Да, это глупо, трижды глупо видеть единственную опасность в чекистах...

Шофер, видно, дорогу знал хорошо — грузовик довольно скоро вырвался на шоссе, и город, охваченный огнем, остался позади...

На окраине Ленинграда грузовик свернул с шоссе и подъехал к воротам, над которыми полукругом, накладными буквами по сетке было выведено: «База потребсоюза».

Чепцов поблагодарил женщин и стал с ними прощаться, но они пригласили его позавтракать. «Это похоже на первое свидание, — вспомнил Чепцов слова Акселя и улыбнулся: — Не очень-то похоже... А ничего...»

В чистенькой сторожке шипела яичница на громадной сковороде. Откуда-то явился директор базы — толстяк с розовыми, налитыми щеками. Узнав, что на базе гость, выдавший войну, он принес поллитровку и стал расспрашивать.

— Всякого хлебнул, — угрюмо отвечал Чепцов. Надо было начинать жизнь неразговорчивого человека.

— Немцев видал? — спросил директор, голубые его глаза светились неподдельным детским любопытством.

— Издали.

— Издали оно и лучше, — понимающе заметил директор. — Вблизи они могут запросто голову оторвать.

Выпили за победу над врагом. Потом за Родину и за товарища Сталина. Директор как-то сразу осоловел, обмяк, и его повело на философию.

— Хорошо мы жили... — тоскливо начал он. — Больно хорошо жили. Пришел час расплачиваться. Немец... Он же сосиски из опилок ел, честное слово, сам в газете читал. Масло он в глаза не видел. Ему пушки взамен масла предлагали. Вот он с

голодухи и злой как черт. Рвется до даровой шамовки, до нашего масла, до наших окороков. А мы все еще чешемся.

— Говорили — никому пяди земли не отдадим, — насмешливо вставила заведующая магазином, расчесывая свои густые поседевшие волосы.

— И не отдадим! — вдруг заорал директор и ударил кулаком по столу, его лицо налилось кровью, стало багровым.

— Оно и видно... — Груня кивнула на Чепцова. — От самой Риги пяди меряет.

— Главный счет впереди, — грозно провозгласил директор и, расплескивая водку, стал наливать себе еще.

— Когда Гитлер всех нас на виселицу вздернет, да? — съехидничала заведующая магазином.

Директор выпил.

— Ошибкой было, Нина Ивановна, что назначили вас завмагом, — сказал он печально. — Политически незрелый вы человек.

Заведующая магазином встала из-за стола и вышла из сторожки. Вслед за ней вышла и Груня.

— Скатертью дорога, — крикнул им вслед директор. — Баба есть баба во все времена. Верно? Звать-то вас как?

— Николай Петрович. — Чепцов посмотрел на часы и заторопился. — Пора мне.

— Куда пора? — Директор пьяно пялил глаза на Чепцова.

— Пойду начальство искать.

— Ну и дурак. Зачем тебе начальство? Само тебя найдет, когда понадобится, а так схлопочешь себе шинельку, и все.

Чепцов показал руку.

— Это что... немцы? — заморгал директор.

— Да нет, давно... Спасибо за приют и ласку, до свидания...

Два дня находился при штабе дивизии. Они девятый день твердо держат оборону. Хочу написать на тему «Остановить врага во что бы то ни стало». Все командиры тему одобряют, но, когда говорю, что хочу показать опыт их дивизии, они решительно уходят от разговора.

Болтался без толку в штабе дивизии — никто, как видно, не принимает меня всерьез. Наконец уже вечером надо мной сжалился капитан Соломенников, пожилой, седой штабник. Какая у него должность, не понял. По возрасту и по внешности быть бы ему комбригом, а он — капитан. Все лицо у него сожжено солнцем, а в морщинках проглядывается белая кожа.

Не знаю, почему капитан Соломенников взялся за мое военное образование, но он увел меня к себе ночевать, и мы говорили всю ночь. Верней, он говорил, учил умуразуму. Он служил в русской армии еще в первую мировую войну и немца видит на войне не впервой, или, как он выразился: «Германец, мне не в новинку».

— Для Германии эта война с нами — безнадежное бедствие... Они не учли главного: победить нас могут, только уничтожив подчистую все население, а это им не под силу. Никому такое не под силу — государство уничтожить нельзя, даже самое маленькое. Они и до нас уже напобеждались: Польша, Франция и так далее. И каждая эта страна для Германии как начало раковой

опухоли, причем опухоль эта и политическая, и экономическая, и моральная, и, конечно, военная...

Темная изба, на полотах лежит капитан, мелькает огонек папиросы. Слышу ровный, спокойный голос Соломенникова:

— Гибельно и попросту глупо оценивать ход войны по сданным городам. Я стараюсь даже командирам рот прививать умение и желание видеть не только то, что у него под носом, а самую дальнюю перспективу войны... И вам советую. Вы иронизировали насчет бравых выписок из боевых донесений. Зря. В этих доблестных поступках наших солдат — главный страх Германии и главная черта войны, которую мы сегодня ведем...

Русский характер — вот еще проблема для немцев. Немец прибывает к нам из-под своей черепичной крыши и от сортира, отделанного белым кафелем, смотрит на наши крестьянские избы под соломой или сидит на корточках в огороде и никак не может понять: почему живущий в адских избах русский мужик идет на смерть, защищая эти самые избы? Немцы проиграют войну, но они так и не поймут, в чем тут дело... Хотел бы вам посоветовать: пишите в свое радио правду, только то, что происходит на самом деле, и вы никогда не ошибетесь. Сегодня мы отступаем — это правда. Не бойтесь ее. Противник наступает, но несет значительные потери... А конец еще далеко-далеко...

Может, другие понимают все без встречи с вами, дорогой капитан Соломенников, а мне эта встреча была необходима до крайности.

Я, видать, еще мало и мелко думал о войне. Как-то недавно Светлов шутил, что редакция требует от него «подвальную корреспонденцию», но чем он может заполнить целый газетный подвал, если он сам, сидя в подвале бомбоубежища, про эту великую войну точно знает только одно, что там убивают... Сегодня он вернулся с фронта. «Чем дальше туда, чем ближе к бойцу, тем спокойнее на душе, и, очевидно, чтобы обрести полный покой, просто надо самому стать солдатом. Правда, там часто убивают, но, ей-богу, лучше быть убитым, чем жить в неведении трясущимся неврастеником», — сказал он, и, как всегда, было непонятно, смеется он или всерьез.

Светлов прав. Не встретился ли и ему на фронте свой капитан Соломенников?

Глава седьмая

Уже несколько дней Потапов жил на «собственной» даче под именем Дмитрия Трофимовича Турганова. Рыжеватая бородка сделала его лицо совершенно другим. В сером, порядком заношенном пиджаке и мятых брюках, заправленных в сапоги, он был похож на интеллигентного человека, пришибленного жизнью, — ходил, опустив голову, сутуля плечи, исподлобья смотрел себе под ноги через толстые очки в металлической оправе. Несколько раз за день Потапов выходил на угол главной улицы и смотрел, как двигались войска и с ними — беженцы.

Фронт приближался. По ночам небо на западе шевелили багровые отсветы и слышался невнятный, отдаленный гром. Через Гатчину все гуще шли наши отступавшие войска. Городок быстро пустел, постоянные жители перебирались в Ленинград.

Нужно было решать, что делать. Потапов уже давно разыскал дом, в котором жила дочь исчезнувшего из Ленинграда Бруно. Это было совсем недалеко от дачи, «купленной» Потаповым, чуть ближе к Охотничьему замку. Соседка сказала, что старый Бруно уже давно приезжал за дочкой и увез ее, говорил — в Ленинград. Вход в дом заколочен, но окна только прикрыты ставнями. Потапов открыл ставню и заглянул через окно — мебель стояла в полном порядке, на полу лежала дорожка, пианино не было закрыто чехлом. Похоже, что хозяйева собирались скоро вернуться...

Давыдченко явно ждал немцев. Ему принадлежала половина небольшой дачи возле церкви, в самом центре городка. Владельцы другой половины уехали в Ленинград, и Давыдченко решил расположиться во всем доме — он расколотил наглухо забитую дверь, сломал перегородку и часть своих вещей перетащил на чужую половину. Он вел какую-то суетливую, нервную жизнь: то хлопотал с топором на участке, то с озабоченным видом убегал зачем-то в город.

Потапов позвонил в Ленинград и доложил о положении дела. В отношении Бруно приказ был сложный: ждать до последней возможности и, если Бруно появится и откажется вернуться в Ленинград, оставаться вблизи него. Давыдченко надо было заставить своевременно уехать в Ленинград.

Но как определить ту самую последнюю возможность, до которой ему надо ждать появления Бруно? Гром войны совсем близко, на веранде беспрерывно звенят стекла. Дождь то начинался, шумя по железной крыше, то затихал. А сейчас шел ровно, споро, с монотонным шумом...

Глубокая ночь. Каждый час, каждую минуту в Гатчину могут ворваться немцы. Потапов недавно вернулся с дачи Бруно — там все по-прежнему. Надо было спать, но он не мог себя заставить.

Всего несколько дней миновало, как он уехал из Ленинграда, но кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Только сегодня он разговаривал по телефону с Грушко, но сейчас, ночью, разговор этот уже казался нереальным... Литейный... Большой дом... Паша Грушко... Оля с Вовкой.

Даже проститься с семьей толком не мог. Ночью вырвался домой на несколько часов. Пока дошел — он жил возле Балтийского вокзала, — уже стало светать.

Дома не спали, недавно позвонили из хозяйственного отдела и предупредили, что грузовик заедет за ними в десять утра.

Когда Потапов вошел в комнату, Ольга даже не повернулась. Она понуро сидела на чемодане посередине комнаты, бессильно опустив сцепленные руки. Теща, Нина Ивановна, с книжкой сидела на своем любимом месте в углу, у настольной лампы.

Потапов сел рядом с Ольгой на чемодан и обнял ее за плечи.

— Оля, от нас с тобой ничего не зависит, — сказал он.

Ольга подняла голову, и он увидел ее похудевшее и постаревшее лицо.

— Волковы вон не бегут, — сказала сухим голосом Нина Ивановна.

Волковы — их соседи по коммунальной квартире — большая рабочая семья.

— Мы тоже не бежим, Нина Ивановна, — как только мог спокойно ответил Потапов. — А придет срок, Волковых тоже эвакуируют, это придумано не для нас одних.

— Лично я не поеду на ваш Урал.

— Значит, вы не любите свою дочь, своего внука, — устало сказал Потапов и спросил: — Все уложили, Оля?

— Не знаю... ничего не знаю... кошмар какой-то... — еле слышно сказала Ольга.

— Он один только все знает и все понимает, — язвительно сказала теща.

Потапов молчал. Что он мог сказать жене и ее матери, кроме того, что не уехать они попросту не имеют права. И уедут. Завтра, нет, уже сегодня, скоро, в десять утра. Он не может сказать им ничего другого... «Надо поговорить с Олей сейчас же, сию минуту...» — подумал он. Они уже давно виделись только урывками, ночью да ранним утром, когда он уходил из дому. И сейчас, очень скоро, он уйдет...

— Слушай, я останусь с тобой, — вдруг сказала Ольга и, крепко обняв его за шею, прижала голову к его груди.

— О Вовке подумай... — сказал Николай, тоже крепко обняв ее. — Пойми, Оля, милая, вас отправляют подальше от опасности, идет тяжелая война. Для вас же это делают!

Ольга подняла голову и стала молча, со слезами на глазах глядеть на мужа.

— Пойми, девочка, все будет хорошо, — продолжал он, взяв ее голову в свои руки. — Ведь не одни же вы едете, с вами будет наш представитель — все же организовано как-то. Поймите и вы это, Нина Ивановна.

— Пап, а ты уже видел живого фрица? — раздался из-за ширмы Вовкин голос.

— Что-что, а это он видел, можешь не беспокоиться, — непонятно съязвила теща.

Потапов посмотрел на Ольгу и увидел ее такой, какой она была в тот летний день в Петергофе и потом, на их свадьбе, когда ребята с Балтийского и ее институтские подружки вот в этой комнате пели песни, плясали и без конца вопили: «Го-о-о-орько-о-о!» Никогда он не умел сказать ей о своей верной любви, о том, как она нужна ему всегда, всегда...

Они поженились почти десять лет назад. Потапов был тогда свежееиспеченным инженером-судостроителем, первый год работал на Балтийском заводе. Она еще училась в педагогическом институте. Познакомились случайно, летом, в Петергофе, а в новогоднюю ночь уже сыграли свадьбу. Они любили друг друга и, по правде сказать, особенно не задумывались над тем, как сложится их семейная жизнь, главное — что они будут вместе. Спустя год его по партийной мобилизации послали в НКВД, и началась работа каждый день с утра до поздней ночи. Работа, о которой дома даже поговорить нельзя. Когда в 1934 году родился Вовка, Ольге пришлось прервать учебу. В то время ее мать жила в Смоленске, она с самого начала не одобряла Олиного замужества и отказалась переехать в Ленинград, помочь дочери. Приехала только три года назад, когда стал подрастать внук и когда убедилась, что Ольга никогда не выполнит ее совета о разводе. Началась жизнь четвером в одной комнате... Не очень это было легко... И все равно, несмотря ни на что, было счастье. Было!..

Потапов внезапно проснулся. Посмотрев на часы, он вскочил с постели и сделал несколько резких движений руками — надо работать. Плеснул в лицо пригоршню холодной воды, торопливо вытерся и отправился к Давыдченко.

Потапов вошел в палисадник дачи и сразу увидел ее хозяина, тот засыпал землей загородку для завалинки. В холщовых штанах, сандалиях и в длинной толстовке с мягким поясом Давыдченко совсем не был похож на фотографию в деле — там лицо у него вообще симпатичное, а сейчас, когда он настороженно смотрел на приближавшегося Потапова, лицо его, сухое, с крючковатым носом, со злыми и пугливыми серыми глазами, никаких симпатий не вызывало.

— Здравствуйте, сосед, — сказал Потапов.

— Не имею чести знать, — глухо ответил Давыдченко.

— Могу представиться — Турганов Дмитрий Трофимович, моя дача на Зеленой улице.

— А говорите, сосед... — Давыдченко с какой-то досадой воткнул лопату в мягкую землю завалинки. — Ну и чем могу служить? Погодите, погодите, Зеленая, говорите, улица? А вы не тот сумасшедший, который перед самой войной купил гнилой дом?

— Почему же гнилой? Дом как дом, — обиделся Потапов.

— Так весь город знает, что его жучок съел. Они долго ненормального искали.

— И значит, нашли... — невесело улыбнулся Потапов. — А только, может, я и не такой сумасшедший, как сразу покажется.

Давыдченко внимательно смотрел на Потапова.

— Это как же прикажете понимать? — негромко спросил он.

— Очень просто, кому моя дача нужна?

— А-а-а-а? — неопределенно протянул Давыдченко. Он вопросительно смотрел на Потапова и вдруг дернулся от близкого разрыва снаряда или бомбы. Где-то зазвенело разбитое стекло.

— Черт! Не могу привыкнуть... — пробормотал он.

— От войны, как от смерти, не уйдешь... — философски заметил Потапов.

Они долго молчали. Утро раскрывалось все шире и ярче. Солнце плеснуло по мокрым макушкам деревьев, и они засверкали, будто украшенные стеклярусом...

— Так вы что... решили? — спросил Давыдченко.

Потапов долго протирал платком очки, смотрел в небо прищуренными глазами.

— Еще думаю, — ответил он. — А ваш совет?

Давыдченко, скосив взгляд, наблюдал за Потаповым.

— Весь вопрос, каков он, немец? Такой, как его у нас рисуют, или...

— Проверить можно только экспериментальным путем, — усмехнулся Потапов. — Гарантий нам с вами никто не даст.

— Может, когда они узнают... — Давыдченко вдруг стал энергично насыпать землю в ведро, отнес его к дому и спросил оттуда: — Мы ведь им не опасны? Может, и не тронут вовсе?

— Гарантий нет, — повторил Потапов.

— Полжизни стоит, — печально и с тихой злобой ответил Давыдченко и высыпал землю за доски.

— Вы-то хоть пожили в ней, а вот я купил, называется. В пору веревку на сук забросить...

Спустя час они сидели за столиком под яблоней и доканчивали бутылку водки. Давыдченко заметно обмяк, говорил более откровенно.

— Никто заранее не знает, где он упадет... — говорил он, вертя на столе пустой стакан. — Меня тут один человек звал... Он взял дочку с зятем и поехал навстречу немцам. Но ему-то хорошо, он по крови немец... А может, я сдурил, что не поехал с ним? А?

— Сами же сказали, неизвестно, где упадешь... — ответил Потапов. — И за приятеля вашего я тоже не поручусь, хоть он и немец.

— А он мне не приятель, — ответил Давыдченко с достоинством. — Я ему в свое время дачу для дочери сосватал. И я тоже ему говорил: подумай. Я ведь как соображаю: если уж немец прорвется сюда, то прорвется я в город, не удержали его на дороге в тысячу километров, что говорить про эти сорок? Так что, по всем данным, самое разумное сидеть здесь и ждать, что будет.

— За Ленинград сражение будет великое, — сказал Потапов.

— Тем более не следует туда лезть.

— И тут жарко будет. Здесь же немец свои тылы расположит. Красная Армия сюда бить будет день и ночь. Что не сгорит, то немцу понадобится. А в городе мы все ж будем среди своих... — рассуждал вслух Потапов.

— Может, мне те свои хуже чужих, — пробурчал Давыдченко.

— А это верно! Я тоже. И мне свояков там не найти, — согласился Потапов. — А немец все же чужей.

Давыдченко поднял голову и внимательно посмотрел на Потапова.

— Не знаю, как вы, а меня бог спас, а то бы сейчас ишачил я где-нибудь в таежной глуши, — сказал он.

— А что стряслось-то? — сочувственно спросил Потапов.

— Слава богу, не стряслось, мимо громыхнуло, — ответил Давыдченко. — Есть еще благородные люди — сами погибли, а не выдали, спасли, можно сказать, царство им небесное.

— Коммерция? — спросил Потапов.

— Ну, какая сейчас может быть коммерция? Так что в городе у меня своих раз-два — и обчелся, — сказал Давыдченко, выливая из бутылки в свой стакан последние капли.

— У меня не больше. — Потапов отлил ему из своего стакана половину оставшейся водки. — За то, чтобы наши с вами страхи кончились... — Они выпили, закусили хлебом.

— Меня, знаете, тоже погоняло по жизни... — продолжал Потапов. — С двадцать девятого года не по своему паспорту живу. Думаете, сладко?

Давыдченко то слушал Потапова очень внимательно, пристально смотря на него своими злыми глазами, то вдруг начинал следить за пчелой, кружившейся над

столом, а то поднимал глаза вверх и смотрел куда-то через забор.

— А все ж в городе за его камнями спрятаться будет понадежней, — сказал Потапов. — Так, наверно, все думают. Видели, как валом валят беженцы в город? Пойдем посмотрим...

Они вышли к главной улице и остановились на пригорке возле мостика. По шоссе от дворца в сторону Ленинграда беспорядочно двигались машины и люди. Двигались как-то неторопливо, точно в этом движении для людей не было никакого смысла. Пешие беженцы печально брели по краям дороги, глядя себе под ноги и не разговаривая, у каждого на спине был нелегкий груз. Они не поднимали головы, даже когда в небе слышался гул самолетов.

Возле Давыдченко остановился старичок в соломенной шляпе и чесучовом пиджаке, он катил перед собой тяжело нагруженную тачку.

— Простите меня великодушно... — сказал он. — Но с утра не курил, портсигар свой, находясь в нервном возбуждении, дома оставил...

— Откуда будете? — спросил Давыдченко, вынимая папиросы.

— Из самой Луги идем... — Старик посмотрел на шоссе, жадно закуривая папиросу. — Да кто откуда. Тут и из Риги есть народ. Я шел сюда, к родственникам, но дом забит. В Ленинграде у меня сестра.

— Думаете, там вас рай ждет?

— Что б меня там ни ждало, все равно, — хмуро сказал старик. Он поднял свою тачку и, не оборачиваясь, крикнул: — За папиросу покорно благодарю!..

От группы людей отделилась и подбежала к ним высокая женщина.

— Люди добрые, воды не дадите? — еще издали крикнула она.

— Мы тут не живем, дорогая... — начал Давыдченко, но Потапов перебил:

— Идемте...

Они вошли во двор ближайшего дома. Окна его были забиты, и, судя по всему, уже давно. Одичавшая кошка, мяукнув, метнулась под крыльцо. Нашли в глубине двора колодец. Давыдченко держал ведро, пока женщина пила.

— Спасибо вам, дядьки, спасибо, родные, — сказала она, отдышавшись и вытирая лицо платком. — Побегу догонять. Спасибо. До свидания. А вы-то? — торопливо говорила она, направляясь к калитке.

— Успеем... — ответил Давыдченко.

— Глядите, глядите... — повернулась к нему женщина. У нее было совсем молодое, красивое лицо, а черные волосы были тронуты серым налетом — не то пыли, не то седины. — А то увидите, что я повидала. Дождалась их, иродов, все не знала, как больную мать тащить. Они пришли, гогочут на всю деревню, мочатся посреди улицы, кур ловят. А потом пошли по домам. За какой-то час половину деревни перестреляли... и маму... тоже. — Красивое лицо ее искривилось, и она бегом побежала к калитке.

Потапов и Давыдченко молча вернулись на дачу. Сели снова под яблоней.

— Я про что сказать хочу, — вдруг решительно сказал Потапов. — Когда немец придет в город, мы спокойно сможем сюда вернуться — у них ведь что-то, а собственность признается. Вот мы и вернемся. Сразу-то, когда придут, сгоряча и пристрелить могут. А в городе порядка больше будет...

Давыдченко решительно встал:

— Да. Решили. Идите заколачивайте свой дворец. Тянуть больше нельзя...

Утром — оказия на фронт. Дорога до фронта все короче. Еще издали стало чувствоваться, что на передовой неспокойно... У железнодорожного переезда встретили автобус с ранеными. Они говорят — немец начал новое наступление.

Через три километра попали под зверскую и, как говорится, персональную бомбежку. Отлеживались в болоте. Когда рвалась бомба, болото колыхалось. Как будто земля под твоим животом ходит огромными волнами. Страшно — дико. Только одна бомба упала на шоссе недалеко от нашей «эмки» — ни единой царапины.

Двое суток болтался в этом районе. У артиллеристов, у пехотинцев, последнюю ночь у особистов и ревтрибунальцев. Все время вспоминал капитана Соломенникова. Все мне теперь видится иначе. Немец снова теснит, но это совсем не то, что я раньше видел под Ригой в первые недели войны. Сейчас все по-другому, и главное — люди будто другие — нет потерянных, перекошенных от страха лиц, не шепчутся.

Был на приемном пункте санбата. Слышал, как раненые солдаты возбужденно матерились, как рассказывали про бой. Так ведут себя люди, которых вырвали из драки, а они еще не додрались. Совсем молоденький паренек с раздробленной рукой рассказал: «Они ж чумные (это немцы), лезут, автомат у брюха, орут как на пожаре — на психику жмут, одним словом. А мы их выжидаем на прицельный и потом как дадим... Наверняка половину их выбили. А другая половина залегла. Мы — туда. Они вскакивают и бежать — страсть как штыка не любят. Но некоторые все же полезли врукопашную... — Он вздохнул смешно так, по-детски, и крепко выругался. — Один — сволочь здоровенная — прикладом как жахнет меня прямо по локтю... Вот гад! А?» Паренек маленький, худой, и руки у него маленькие, как у девушки. Оказалось, москвич. Киномеханик в рабочем клубе. Призвали за полгода до войны. Его повели к хирургу, он обернулся, крикнул: «Фамилию мою запишите — Кандобин. Алеша Кандобин». И снова вспомнился мне седой капитан.

Ночь у особистов. Приехали к ним работники воентрибунала. Армия воюет, а они воюют внутри армии — с трусами, изменниками, мародерами и прочей дрянью. Они рассказывали разные случаи, не для печати конечно. Например, о трусе и предателе, который, когда его товарищи шли в смертную атаку, спрятался в канаву и сделал себе самострел...

Спрашиваю: кто же эти негодяи? Откуда взялись?

Особисты с трибуналами только переглядываются. А полковник из трибунала сказал: «Народ — хозяйство сложное, многослойное, тут всякое в щелях может оказаться. Этот, что себе руку прострелил, — просто слизняк, и таким его сделали родители — воспитывали его так, что все — тебе, сынок, а от тебя, чтоб и волос с головки не упал...»

Утром видел, как его расстреливали. Полковник из трибунала зачитал приговор. Командир роты, в которой служил предатель, сказал: «На такую мразь фашисты и рассчитывают».

Это происходило рано утром в овражке. Еще не совсем рассвело. Ярко были видны только нижняя рубашка и бинт на руке приговоренного. Когда раздался залп, он вроде бы побежал, но сделал только один шаг.

Кто-то ногой спихнул его в яму...

Глава восьмая

Сентябрьское утро начиналось нежным прохладным рассветом. Черное ночное небо быстро светлело и становилось выше, в нем гасли последние звезды, исчезали аэростаты воздушного заграждения. Над городом чуть обозначилась протянувшаяся с севера на юг, похожая на тропинку гряда прозрачных облаков.

Где-то на крышах, в гулкой тишине пустого с ночи города переговаривались бойцы противовоздушной обороны. Казалось, разговаривали дома.

— Спокойная ночь, — сказал один дом женским голосом.

— Наверно, на подступах отбили, — сказал другой дом мужским голосом.

— Обстреливали близко к Исаакию... — сказал еще один дом.

— Опять у вас на третьем этаже в крайнем окне свет проглядывал, — сказал дом с другой стороны улицы.

— Подадим сегодня на штраф, а то и похуже, пусть знают...

Погромыхивали железные крыши — дежурные уходили с ночных постов. Старший лейтенант госбезопасности Дмитрий Гладышев в этот час на углу улицы Некрасова и Литейного проспекта принял дежурство у лейтенанта Дрожкина.

— Ну что? — спросил Гладышев.

— Домой вернулся в обрез, к самому комендантскому часу, бежал, бедняга, — ответил Дрожкин, потягиваясь в предвкушении сна.

— Работка, — недовольно проворчал Гладышев.

— Надо было идти в артисты, там совсем другое дело, — прищурился Дрожкин. — Ну, желаю...

Гладышев медленно шел по улице Некрасова к дому восемь, где на втором этаже — второе окно от ворот — жил Маклецов.

Особенно удобно подъезд дома восемь просматривается из садика, который дальше по улице Некрасова. И еще — из ворот на той стороне Литейного, где удобно было укрыться от дождя, а рядом из аптеки всегда можно позвонить в управление. И еще одно удобное место — баня, там у входа весь день толпятся люди.

Вот и дом восемь. Второе окно от ворот закрыто шторой. Дмитрий идет в садик и садится. Очень удачно стоит скамейка — с улицы ее не видно, а если чуть наклониться вправо, он видит всю улицу, видит дом восемь...

В 1939 году, окончив десятилетку, Дмитрий Гладышев отнес документы в педагогический институт и сел за учебники. За три дня до начала экзаменов его вызвали в горком комсомола.

Из горкома пятеро таких же, как Дмитрий, ребят отправились на Литейный, в Управление НКВД. Около часа они просидели в бюро пропусков. Ребята познакомились. Трое работали на ленинградских заводах, а двое, как и Дима, подали документы в вуз. Всем им тоже ничего толком не сказали в горкоме, но, в общем, все было и так понятно — в этот большой дом на Литейном их направили не случайно.

— Работа, слов нет, почетная, — сказал белокурый парень с Балтийского судостроительного.

— И материально должно быть прилично, опять же форма, — серьезно сказал маленький, очень красивый паренек.

Гладышев слушал разговор ребят и был уверен, что с ним-то произошло недоразумение, которое сейчас выяснится. И так уже три часа потеряно, придется сидеть над книжками ночью.

Наконец их окликнули из окошечка в стене и выдали пропуска...

С Гладышевым разговаривали двое. Один сидел за столом, и перед ним лежали институтские документы Дмитрия. Другой сидел сбоку на диване. Отвечая на их вопросы, Дмитрий поворачивался то к одному, то к другому, это сбивало с толку. И вопросы были странные, вроде: «Кто мужья всех твоих сестер?» А сестры замуж и не собирались еще...

— Я на тебя, Гладышев, виды имею, хочу в свой отдел взять, — сказал сидевший на диване.

— С тобой говорит начальник отдела товарищ Прокопенко, — пояснил сидевший за столом.

— В общем, Гладышев, картина такова: комсомол посылает тебя на работу к нам. Должен благодарить комсомол за доверие. А нам еще предстоит убедиться, достоин ли ты такого большого доверия. Станешь ты, Гладышев, чекистом. Будешь защищать от врагов завоевания революции. А время пришло опасное... — Прокопенко говорил, разделяя фразы короткими паузами. Дмитрий смотрел на него и видел только его глаза — светло-серые, с желтыми пятнышками вокруг зрачков. — И поскольку ты будешь служить в моем отделе, предупреждаю: все прощу, кроме халатной работы!

— У нас всякая халатность — это прямая помощь врагу, — добавил сидевший за столом.

Прокопенко встал. Он был чуть повыше Дмитрия, лицо у него совсем молодое, на щеках румянец, а виски седые. Военная форма ловко, даже щегольски, сидела на нем, сапоги сияли.

— Тебе все понятно, Гладышев? Чего молчишь?.. Впрочем, лучше молчи, говорить тебе еще нечего. Заполняй анкету и в понедельник выходи на работу.

Дмитрий хотел сказать, объяснить очень твердо и убедительно, что он работать не собирается, что он давно выбрал себе дело и решил только ему посвятить жизнь, он даже привстал немного, чтобы начать, но снова сел и сказал растерянно:

— Я же подал учиться.

— Вся жизнь у тебя впереди, успеешь и поучиться, — строго сказал Прокопенко.

Дима ничего не понимал, растерялся — как это можно, ведь никто не имеет права заставить человека делать что-то против его воли! Он уже решил сказать об этом, но вместо этого произнес невнятно:

— Я без отца не могу...

— Что ты не можешь?

— Решить не могу.

— А я с твоим отцом уже разговаривал, — ответил Прокопенко, и его светлые глаза засмеялись. — Что мог сказать кадровый питерский рабочий, который сам в восемнадцатом служил в ЧК? Сказал: раз надо, сын будет у вас работать.

И началась служба... Дмитрия прикрепили к опытному работнику старшему лейтенанту Григорию Борину, и они вместе наблюдали за одним приезжим немцем.

В половине девятого утра они ждали его на площади перед гостиницей «Астория»,

Борин сидел в садике перед зданием немецкого консульства, а Дмитрий стоял между колонн Исаакиевского собора. Ровно в восемь тридцать немец выходил из консульства, останавливался, смотрел в небо, потом на ручные часы, поправлял серую шляпу и медленно шел в сторону Исаакия, по-журавлиному ступая длинными ногами. Когда он подходил к собору, Борин уже встречал его с другой стороны собора. А в это время Дмитрий быстро шел к набережной и ждал немца там. Сменяя друг друга, они провожали его до самого Эрмитажа. Недалеко от служебного входа, которым пользовался ученый, в здании дворца была ниша, там они и ждали своего немца. Борин не терял зря времени, рассказывал Дмитрию различные истории из своей богатой практики, учил его, что надо делать, чтобы быть на улице незаметным, как вести себя в густой толпе или, наоборот, на открытой местности, где каждый человек как на ладони.

После работы немец уже шел не по набережной, а, направляясь в «Асторию» обедать, пересекал пустынную площадь Урицкого, потом сворачивал на Невский проспект и дальше шел по улице Гоголя... Ну и работа, скажет кто-то, каждый человек этим в детстве занимался и не называл это работой, то была игра в прятки. Может быть, именно потому Дмитрий первое время, выполняя задание, стеснялся уличной толпы, боялся, что его увидит кто-нибудь из знакомых. Потом это прошло, а Борин еще научил его, как самому «не видеть» знакомого, когда на самом деле ты его видишь...

В тот день, когда по управлению вышел приказ о присвоении Гладышеву звания младшего лейтенанта, он впервые отправился наблюдать за немцем без помощи своего учителя.

Выйдя из Эрмитажа, немец вдруг пошел не к «Астории», как обычно, а по набережной в сторону Летнего сада. Набережная для наблюдателя — место опасное — слева Нева, справа сплошной шеренгой дворцы и дома. Гладышев вспомнил все советы Борина и шел за немцем очень осторожно — останавливался возле рыбаков, спускался по лесенкам к Неве и снова поднимался, пользовался как прикрытием попутчиками.

Немец — это был Аксель — медленным прогулочным шагом человека, любящегося городом, провел Гладышева через Марсово поле к Инженерному замку и здесь остановился у трамвайного пути. Он смотрел на дворец, пока со стороны цирка не подошел первый трамвай, а затем перед самым вагоном перебежал рельсы и стал на тротуаре около остановки, смешавшись с толпой... Гладышев тоже перебежал рельсы перед тем же трамваем и чуть не наткнулся на Акселя.

Гладышев шел следом за немцем, направлявшимся к Невскому проспекту, где тот вместе с толпой покупателей вошел в «Пассаж». Там Дмитрий окончательно потерял его из виду. Он стоял у входа до закрытия и, когда люди совсем перестали выходить из «Пассажа», побежал в управление.

Случай этот наряду с другими разбирался на оперативном совещании. Начальник отдела Прокопенко сказал, что при всех совершенных ошибках Гладышев сделал и одно полезное дело — заставил немца показать профессиональное умение уходить от наблюдения, то есть раскрыться: теперь мы знаем, что он за ученый и где учился...

На другой день Аксель был взят под строгое и умелое наблюдение, но он пробыл в Ленинграде всего лишь два дня и уехал, оставив по себе в картотеке ленинградской контрразведки незаконченную карточку, а в личном деле Гладышева — замечание за допущенную ошибку в оперативной работе.

После этого прошло почти два года. История эта стала забываться. В личном деле старшего лейтенанта Гладышева уже записаны благодарности за отличную работу. И вот началась война...

...Почти все ребята с улицы Ткачей, с которыми Гладышев вместе рос, бегал в

школу, играл, дрался, ушли на фронт. Одних призвали, другие ушли сами — добровольцами. На днях у своего подъезда Дима утром столкнулся с тетей Полей — матерью одного из его товарищей, Игоря. Он поздоровался и посторонился, чтобы дать ей дорогу, но она остановилась прямо перед ним и, не отвечая, смотрела на него не то с удивлением, не то возмущенно. Дима всем существом понял, что хотела ему сказать мать Игоря, и ему захотелось убежать, прежде чем она это скажет, но женщина только положила ему на плечо свою руку и одними губами сказала:

— Нет больше Игорька... Нет... — Она качнулась назад, ткнулась спиной в стену и, тяжело повернувшись, пошла вдоль дома...

На службе, точно назло, в это утро ему приказали взять под наблюдение пожилого мужчину по фамилии Маклецов. Гладышев знал о нем только то, что в прошлом это был крупный нэпман, а сейчас, по свидетельству соседей, вел себя очень странно, возникло подозрение, что он собирается через фронт к немцам... Товарищи предупредили Дмитрия, что «объект» с докторским чемоданчиком в руках носится по всему городу, но при этом абсолютно ни с кем не встречается. И что вообще скорей всего, он ненормальный. А кончилось все тем, что Маклецов вошел в бюро пропусков НКВД, подошел к окошечку дежурного, положил на его стол свой чемоданчик, раскрыл его и сказал:

— Прошу взять. Тут золото и разные ценности, вношу на оборону страны.

Вместе с ценностями он подал заявление:

«Прошу принять от меня золотые драгоценные вещи (на вес), пять произведений живописи (без рам), а также 725 рублей царскими пятирублевками как мое подношение гражданина и патриота России на святое дело защиты от врага. Прошу данное дело не публиковать в газете, но выдать мне скрепленную печатью расписку в получении вышеозначенного.

А.А.Маклецов, 1941 год, Ленинград».

Среди сотрудников эта история вызвала веселое оживление, быстро обросла юмористическими подробностями, но Прокопенко смотрел на этот случай совсем не весело. На оперативном совещании, когда черед дошел до «золотой истории», он сказал:

— Я беседовал с Маклецовым. Вывод для меня ясен: этот бывший нэпман другом Советской власти никогда не был и не может быть. У него кровь течет в другую сторону. Вся логика его жизни против этого! В крайнем случае он — за Советскую власть без большевиков, а большевиков — на фонари. И мы не должны упускать его из виду...

И вот сегодня другие выслеживают диверсантов, пришедших оттуда, через фронт, учитель Дмитрия, Григорий Борин, вышел на след шпиона, а ему опять достался бывший нэпман...

Даже самые опытные работники, бывает, не могут объяснить, почему они вдруг в толпе угадали интересовавшего их человека. Наверно, это предопределяется двумя обстоятельствами: тот, кто хочет скрыться в толпе, даже подсознательно делает для этого какие-то усилия, а тот, кто его ищет, именно эти, даже подсознательные, усилия замечает. Так было и сейчас, когда Гладышев вдруг остановил взгляд на человеке, который неторопливо шел по улице. Ничего подозрительного в облике этого человека не было. На его гимнастерке не было петлиц, в таких гимнастерках сейчас ходили тысячи людей. Может, он шел чуть медленнее, чем следовало? Может, дело в том, что человек на несколько секунд дольше смотрел на дом номер восемь? Но кто знает, сколько мгновений должен смотреть человек на обыкновенный старый дом?

Человек прошел дом Маклецова и пошел быстрее. Гладышев вышел из садика и пошел ему навстречу. Вот он прошел мимо бани и был уже так близко, что

Гладышев разглядел его глаза. Пройдя метров сто, человек повернул назад и быстро пошел обратно к Литейному.

Он остановился у дверей парадного, где жил Маклецов, и стал читать объявление на стене — это был старый приказ о введении в городе комендантского часа. Почитав его, человек решительно вошел в подъезд.

Гладышев медленно двинулся по улице Некрасова, по ее нечетной стороне, к Литейному, не выпуская из виду дом восемь. И вдруг кто-то на миг откинул штору в окне маклецовской квартиры. Гладышев увидел человека, который только что читал объявление у парадного.

Дмитрий позвонил в отдел.

— Напарника для тебя нет, все в разгоне, — сказал Прокопенко. — Если они выйдут порознь, пойдешь за гостем.

— Выполняю, — отозвался Гладышев и повесил трубку.

Тяжелый вражеский снаряд попал в переполненный трамвай (номер моторного вагона 1881). На своем месте сидит мертвый кондуктор. Татьяна Коншина. В голову ранена четырехлетняя девочка Женечка Бать. Тяжело пострадали: заместитель директора Института усовершенствования учителей Бенцианов — 61 год, санитарка горбольницы Вера Загревская — 22 года, домохозяйка Спиридонова Мария — 46 лет, электромонтер Иван Ефремович Глушков, Тоня Болотина — 20 лет, Ангелина Финогенова — 17 лет. И другие. Всех быстро увезли.

На санитарной машине приехал в больницу. Сюда возят раненных во время бомбежки и обстрела. Целые палаты женщин и детей. Только что умерла 15-летняя ученица Верочка Куликова. Смерть еще не справилась с жизнью — девочка будто спит крепко. Старенькая нянечка обливается слезами, рассказывает: «С утра все просила меня, чтобы я не ошиблась и, когда она заснет, чтоб я не подумала, будто она умерла. Ты, говорит, сначала побуди меня как следует, покричи, потряси. Я очень боюсь заснуть, а вы подумаете...»

В канцелярии больницы хранится письмо на фронт одиннадцатилетнего тяжело раненного мальчика Вали Галышова: «Дорогие бойцы и командиры Красной Армии! Я — Галышов Валя, 11 лет, ученик 79-й школы 3-го класса. Мой папа на фронте. Я ехал из школы в трамвае номер 12. В это время ударил снаряд, а потом второй, все упали на пол, я нагнулся, у меня зазвенело в ушах, потом почувствовал в правой ноге что-то жаркое и увидел свою кровь, которая лилась. Потом подъехала „скорая помощь“ и увезла меня в больницу. Папа и бойцы! Отомстите фашистам за меня и за других ребят, которые тут со мной мучаются и будут калеки».

В больнице спрашивали — куда отправить письмо, мальчик адреса папы не знает. Я ответил — пошлите командующему фронтом или отдайте на улице любому военному.

Мне недавно рассказали о подвиге бойца по фамилии Улыбочка. Он один защищал высоту, на которую шли в атаку до сорока фашистов. Умело действуя то ручным пулеметом, то гранатами, то винтовкой, он удержал высоту, где его и обнаружили наши танкисты, которые довершили уничтожение вражеского отряда. Улыбочка имел несколько ран. Танкисты взяли его на танк и привезли в полевой госпиталь. Стали его регистрировать, спрашивают фамилию. Он говорит: «Улыбочка». Сначала отругали его за шутки, потом смеялись. Он написал в госпитальную стенгазету заметку о себе. Более чем краткую. Забавно она выглядела. Заголовок: «В бою за высоту». Весь текст пять строчек. «Выполняя приказ командира взвода, чтобы держать оборону до последнего, мною истреблено фашистов по приблизительному счету не меньше семнадцати штук». И подпись: Улыбочка.

К сожалению, увидеть его мне не удалось: когда я был в этом госпитале, Улыбочка был переправлен в другой, там ему должны были сделать какую-то сложную операцию. Я все повторяю эту фамилию и улыбаюсь, на душе как-то светлее делается.

Глава девятая

Инструкция абвера о вербовке агентов из иностранцев требовала, в интересах более глубокого взреза общества, ориентироваться на самый широкий диапазон намечаемых для вербовки кандидатур, так как одинаково ценными могут оказаться и агент-министр, и агент-горничная из респектабельного отеля.

В Мадриде у Акселя агентом, имевшим доступ в правительственные апартаменты, был буфетчик, разносивший министрам кофе и напитки. В Ленинграде Аксель упорно искал человека, похожего на мадридского буфетчика.

Однажды Горин привел Акселя в гости к сотруднице киностудии Нине Викторовне Клигиной. Красивая, молодая женщина, с легкими взглядами на жизнь и на мораль, она, как неуправляемая торпеда, могла оказаться возле самых неожиданных целей. И цели — возле нее.

Нина Викторовна была взволнована и немного напугана тем, что к ней в гости пришел иностранец. Она прекрасно знала, что на такие знакомства глядят косо. Но боже мой, почему обязательно нужно думать плохое?! Ее гость оказался интеллигентнейшим человеком, ученым, который о политике слова не хотел слышать. Это вообще был удивительный человек — он тактично и мягко расспрашивал про ее жизнь и необыкновенно внимательно и сочувственно слушал.

Гости пришли с шампанским, конфетами и коньяком. Мишка Горин, или, как она его звала, «паршивый адвокатишка», вел себя как обычно — говорил скабрёзности и рассказывал смешные анекдоты о евреях. А доктор Аксель рассказывал потрясающие истории из жизни каких-то царей — любую бери и снимай кинобоевик. Он почтительно целовал ей руки и говорил, что ее унижают люди, не стоящие ее мизинца, что гордость в человеке затоптать нельзя и что — он знает — однажды она отомстит всем своим обидчикам...

В ее уютной комнате было полутемно — горела только настольная лампа, прикрытая синей материей. В радиотарелке, точно по заказу, чуть слышно мурлыкала джазовая музыка. Горин, утонув в кресле, пощипывал струны гитары и напевал себе под нос старинный романс «Я ехала домой». Нина Викторовна сидела рядом с Акселем на широкой тахте, ее большие глаза блестели в темноте, и она слушала, слушала без конца.

— Вы верите в линии судьбы на руке? — спросил Аксель.

— Я уже ни во что не верю, — грустно ответила она.

— Так нельзя... Так жить нельзя, — ласково сказал Аксель и, нежно поглаживая ее ладонь, продолжал: — А я верю в судьбу. И в то, что люди могут прочитать ее предназначения... Я был в длительной научной командировке в Мадриде. Вот как сейчас здесь, в Ленинграде. В Берлине оставалась женщина, которую я очень любил. И в Берлине жил мой учитель, профессор, который тоже любил эту женщину. Я, конечно, догадывался, почему он отослал меня из Берлина и на такой долгий срок, и скоро узнал, что они готовятся к свадьбе. Это было нечестно, но я был бессилён изменить ситуацию. Однажды на мадридской улице ко мне пристала нищая цыганка: дай погадаю. Я дал ей руку. Она сказала: в твоём сердце горит злой огонь, но уже третий день он горит напрасно... Вскоре выяснилось, что за три дня до встречи с цыганкой они погибли в авиационной катастрофе — летели в Швейцарию, где должны были обвенчаться... Я знаю еще подобные случаи, но это было со мной...

— Боже, как интересно, — прошептала Нина Викторовна.

— Вы извините меня, Нина Викторовна, вы — красавица, умница, ну почему вы позволяете унижать себя? Горин пригласил меня к вам в гости, вы знаете, что он сказал?

— Но-но, я попросил бы... — слышался голос Горина.

— Видите, Нина Викторовна, теперь ему самому неловко... И это мне в вас, господин Горин, нравится, вы еще можете излечиться от цинизма.

— Я ничего плохого ей не делал, — сказал Горин.

— Беда в том, господин Горин, что вы не сделали ей ничего хорошего, — мягко, по-отечески ответил Аксель, и Нина благодарно пожала ему руку.

— Неужели вы можете мириться с унижением? — спросил Аксель, заглядывая в глаза Нины Викторовны.

— Так уж все у меня сложилось — козырная карта прошла мимо, — беспечно сказала она и рассмеялась, чтобы прогнать комок, подкативший к горлу.

— Хотите, я подскажу вам способ гордо выпрямиться? — продолжал Аксель.

Нина Викторовна подняла на него свои прекрасные глаза:

— Хочу.

Аксель долго молчал. Он уже знал цену Нине Викторовне, видел ее маленький встревоженный ум, ее увядшее честолюбие, ее мелкую, завистливую озлобленность. Конечно, все это, вместе взятое, в сочетании с ее редкой красотой тоже может пойти в дело. Что ж, попробуем оперировать ее понятиями.

— Для начала вам нужно освободиться от одной противной зависимости... материальной, — очень серьезно сказал Аксель. — Увы, мир так устроен, что, когда у человека есть деньги, он чувствует себя Человеком с большой буквы и все на свете кажется ему гораздо лучше. Не так ли?

Нина Викторовна настороженно молчала, сузив глаза. Она с горечью в душе подумала, что немец хочет предложить ей деньги за место на этой тахте, — все мужчины одинаковы...

— Мы с вами придумаем, Нина Викторовна, где и как достать денег, несколько при этом не унижаясь, — продолжал Аксель.

Нина Викторовна вздохнула.

— Но деньги без унижений — это хорошо, правда?

— Еще бы...

— Не забудь меня, Нинель, тогда в молитвах своих, — подал голос Горин.

— Она, господин Горин, не забудет другое, — нравоучительно сказал Аксель. — Она не забудет перенесенных обид и унижений и однажды предъявит за них большой счет. И я научу ее, как это сделать, клянусь...

Боже, как было приятно с этим человеком! Может быть, впервые в жизни такой умный, такой значительный человек разговаривал с ней как равный и видел в ней то, что до него никто не замечал.

Утром, сидя перед зеркалом, Нина Викторовна долго и тщательно красила ресницы, думала и вспоминала вчерашний разговор. Это правда — она живет недостойно, и, конечно, ее унижают все, кому не лень. Он прав, этот умный немец... Но когда началось это? Кто первый толкнул ее в эту жизнь? Она вдруг отчетливо вспомнила летний день, когда председатель приемной комиссии театрального института, знаменитый артист и режиссер, сказал ей: «У вас нет данных стать артисткой, лицо — не в счет». Он говорил очень мягко, ласково, и от этого его слова звучали еще обиднее. Она возненавидела его. Не ходила на спектакли, которые он ставил и в которых изредка играл сам, рассказывала про

него всякие гадости. Да, эта обида в ее большом счете будет стоять первой...

Когда она спустя некоторое время подписывала вербовочное обязательство, она думала только о том, что в ее жизни появляется большая тайна, возвышающая ее в собственных глазах и делающая ее жизнь совсем иной.

Последние два года Нина Викторовна числилась на киностудии помрежем. Именно числилась, потому что она никогда не выполняла этой работы. На студии знали, что есть такая Нинка Клигина, которую можно послать за забытым дома портфелем, в канцелярский магазин за копиркой или на вокзал встретить и проводить в гостиницу московского актера. Злословы из сценарного отдела выдумали ей прозвище: ДНП, что означало «дамочка на побегушках», или «дамочка нестрогих правил». Про нее придумали даже частушку: «Ах, зачем у нашей Нины трехматрачная тахта?» Нина кляла и свою доверчивость, и мужскую подлость.

Иногда, просыпаясь утром и обнаруживая рядом с собой очередного кавалера, она была вне себя от ярости. Ненавидела себя, его и думала, что однажды, вот таким же утром, совершит убийство. Но не сегодня, мрачно решала она. Этот пусть поживет... И все начиналось снова.

И вдруг, как ангел-хранитель, появился этот немец. Он внушил ей, что она гораздо лучше, чем о ней думают ее друзья и даже она сама. Он обнаружил в ней и острый ум, и удивительную наблюдательность, и умение распознавать людей. Он говорил, что она необыкновенно красива и что для него наслаждение смотреть на ее тонкое лицо и прекрасные глаза мадонны, разговаривать с ней, не лез к ней с нежностями, говорил, что умная женщина, если она хочет быть счастливой, не должна быть доступной.

И Нина Викторовна теперь стала иначе думать о себе, иначе смотреть вокруг, иначе вести себя. Она даже одеваться стала скромнее, строже. У нее появилась привычка бродить в одиночестве по улицам и размышлять про жизнь. Ее бессвязные мысли, обиды, настроения Аксель вложил в отчетливые и ясные слова: ее не оценили по достоинству, она влачит недостойную ее жизнь по вине общества, которое не хочет ей помочь.

Все ей стало как-то очень ясно, понятно, и от этого легче на душе. Появилась уверенность и даже строгость. Аксель сумел внушить ей, что в ее жизни произошло нечто грандиозное. Тайная деятельность не только возвышала ее в собственных глазах, но вселяла уверенность, что она стала борцом за какую-то лучшую жизнь не только для себя, а для всех таких же, как она, погранных неудачников. В самую глубину ее души запало обещание Акселя, что придет час, она предъявит свой счет и займет в жизни достойное место. А те, кто сейчас унижает ее, жестоко поплатятся. Что стояло за словами «придет час», Нина Викторовна не задумывалась.

Вскоре Аксель исчез. Нину Викторовну долго никто не беспокоил, не напоминал о ее тайных обязательствах. И только осенью прошлого года однажды вечером пришел незнакомый мужчина. Нина провела его в свою комнату и услышала условную фразу: «В воскресенье я ждал вас у Эрмитажа». Он назвался Павлом Генриховичем, сказал, что теперь она должна передавать донесения ему. Это был человек в годах, но очень молодежавый, двигался он легко и как-то по-кошачьи бесшумно. Его удлиненное лицо с крупным костлявым носом имело угрюмое выражение. Наверно, такое впечатление создавали его желтоватые глаза, прятавшиеся под нависшим лбом. Что бы ему ни говорила Нина Викторовна, его глаза оставались бесстрастными, он никогда не улыбался.

Она встретилась с ним уже несколько раз. Он давал ей деньги, которые всегда были кстати.

Дикий страх обжег ее утром в воскресенье, когда радио сообщило о войне.

Прибежала вся в слезах соседка Лидия Степановна — сварливая баба, которую Нина считала своим квартирным врагом номер один. Она порывисто обняла Нину и запричитала в голос:

— Что же это будет, Ниночка, дорогая? Кончилось наше счастье.

Нина молчала. Было очень страшно. Она вдруг удивленно подумала о том, что ей-то бояться нечего, ей даже можно радоваться — ведь это же немцы, ее немцы начали войну. Мысли путались. «Мои немцы напали на мою страну... что за чушь».

Она пустила на полную громкость репродуктор и стала слушать, торопливо одеваясь.

Позвонил ее новый друг капитан-лейтенант Грушевский, он недавно всерьез говорил ей, что не знает, кого любит больше — ее или море...

— Вы слушаете радио? — спросил он почему-то веселым голосом. — Началась, Ниночка, великая баталия. Одно хорошо: эти события ускорят мое назначение. И вы там, в своем кино, тоже не теряйтесь, как сказано: дело наше правое, и мы победим. Вечером будете дома? — вдруг спросил он.

— А что? — с вызовом спросила Нина.

— Если не ушлют, зайду.

— Нет, меня не будет, — решительно отрезала Нина и повесила трубку. Только позавчера она передала Павлу Генриховичу подробнейший отчет обо всем, что говорил Грушевский на ее тахте.

Снова зазвонил телефон.

Нина сразу сорвала трубку.

— Что надо? — грубо спросила она, решив, что это опять Грушевский.

— Мне нужна Нина Викторовна, — услышала она ровный, чуть надтреснутый голос.

— Это я, — тихо ответила она, чувствуя, что сердце ее обрывается и падает вниз.

— Говорите громче, Нина Викторовна. Вас беспокоит Павел Генрихович. Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вы могли бы завтра в десять утра?

— Мне нужно быть на работе... — начала она, но Павел Генрихович перебил:

— Придумайте для студии объяснение. Завтра в десять. До свидания.

Нина осторожно повесила трубку и быстро прошла в свою комнату. Она села на тахту и спросила себя с ужасом: «Что же теперь будет?»

Павел Генрихович. Больше ничего об этом человеке она по-прежнему не знала. Знала только, что он главный. Они встречались раз в два месяца, последнее время — чаще. Местом встречи был Гостиный двор — каждый раз на следующем его углу по часовой стрелке. Нина Викторовна почти всегда опаздывала. Но Павел Генрихович неизменно подходил к ней минутой позже, в тот момент, когда она, вынув из сумочки зеркальце, начинала прихорашиваться.

— Здравствуйте, как ваши дела? — говорил он бесцветным и чуть надтреснутым

голосом.

— Все по-прежнему, — беспечно отвечала Нина Викторовна.

— Прошлый раз вы дали мне полнейшую ерунду. Желаю вам всего хорошего. — Улыбаясь, он протягивал руку. Нина Викторовна прощалась и оставляла в руке Кумлева донесение, свернутое в маленькую трубочку.

Иногда во время таких встреч Павел Генрихович передавал ей деньги. Тогда он протягивал ей руку в самом начале встречи, и она брала из его руки деньги.

— Благодарю вас, — говорил он.

Деньги были не ахти какие, 500 — 600 рублей. Но все же они всегда оказывались кстати. Нина Викторовна считала, что деньги ничего не значат, главное — это возвышающая ее тайная деятельность...

19 сентября. Проклятый день...

Сильная бомбежка застала на углу Невского и Литейного. Дежурные ПВО пытались загнать меня в убежище, а мне срочно нужно было в Смольный. Я перестал торопиться в укрытия, увидев однажды, что стало с бомбоубежищем, в которое попала пятисоткилограммовая штука. Когда уже подходил к Смольному, бомбежка затихла. Неподалеку над крышами поднимался столб черного дыма. В ту сторону промчались пожарные машины.

В Смольном уже было известно, что бомба попала в громадный госпиталь на Суворовском проспекте. Вместе с работником горкома комсомола, о котором я успел узнать только то, что его зовут Костя, мы побежали к месту происшествия.

Мощная бомба попала прямо в центр здания, оно обрушилось внутрь и загорелось. Внутри более тысячи раненых... Спасательные команды работали, но что могла сделать сотня людей с большим каменным домом, который обрушился сверху до подвального этажа и вдобавок горел? В стене образовался пролом, через который пожарники и спасатели бросались в горящий госпиталь, вытаскивали раненых. Мы с Костей брали у них раненых и тащили к санитарным машинам или в здание рядом. Паренек, которого я нес, был совершенно голый, тело его было в страшных волдырях, он повторял без конца: «Мама... Мама...» Один, которого мы приняли у пролома от спасателей, еще мог сам передвигать ноги. Мы вели его осторожно, он глядел на нас безумными глазами и вдруг, словно окаменев, переставал двигаться. Потом его отпустило, и мы шли дальше. Вдруг он вырвался из наших рук и с криком: «Там Федор!» — бросился назад. Но сразу пал как подкошенный. Женщина в белом обгорелом халате, босая, с растрепанными седыми волосами, стояла, воздев руки к небу, кричала: «Ироды! Ироды! Ироды!» А в это время внутри здания снова что-то рушилось, трещало, и оттуда глухо доносился крик погибавших в эту минуту людей. Не просто людей, а раненых людей, которые еще недавно думали, что вырвались из рук смерти. Этот крик я никогда не забуду.

Костя получил сильный ожог руки и шеи — обвалилась горящая доска, его увезли в госпиталь. Когда я сажал его в машину, он производил впечатление, ненормального — весь дергался, по грязному его лицу текли слезы, а он смеялся и говорил: «Нет, нет, нужно на фронт... только на фронт... там их можно увидеть... только там...»

Глава десятая

Павел Генрихович Кумлев был сыном давно обрусевшего немца. Его прапрадед немец Кюмель поселился на юге Украины. Постепенно Кюмели превратились в Кумлевых. К моменту появления на свет младенца Павла в 1894 году его отец Генрих Павлович Кумлев был крупным экспортером хлеба через черноморские порты. У него была главная контора в Одессе и еще контора в Новороссийске, записанная на подставное лицо. Жили на широкую ногу: дом в Одессе, дача в курортном пригороде на морском побережье...

Катастрофа разразилась внезапно. Отец перед рождественскими праздниками уехал в Москву вести переговоры о покупке доходного дома и не вернулся. Только через год узнали, что в Москве он связался с какой-то женщиной и ради нее бросил семью, бросил дело, которое создал, бросил все. Это случилось в девятьсот десятом году, когда Павлу было шестнадцать лет.

Отцовское дело попытались вести мать и старший сын, но они были плохими коммерсантами. А главное — отец сумел снять со счета в одесском банке и перевести в Москву почти все деньги. Не прошло и года, как кумлевская фирма разорилась.

В тринадцатом году Павел похоронил мать. Старший брат не приехал, не знали даже, куда послать траурное известие, он вел рассеянный образ жизни и, по слухам, занимался картежным промыслом на кавказских курортах. По совету опытных людей Павел нанял адвоката, с помощью которого отсудил себе одесский дом. Он сразу продал его и уехал в Петроград.

За два года до этого из Одессы в Питер перебралась семья полковника Аристархова. Его дочь Соню Павел любил с седьмого класса гимназии. Теперь она звала в гости и грозила обидеться на всю жизнь, если он остановится в Питере не у них. Но он предпочел гостиницу. Он знал, что полковник Аристархов получил высокий пост в военном министерстве, и ему не хотелось появиться в их доме в качестве бедного приживальщика.

Аристарховы жили на набережной Невы, недалеко от Зимнего дворца. Павлу то и дело приходилось пережидать, пока пройдут манифестанты, которые направлялись к Зимнему дворцу. Подвыпившие люди, сопровождаемые полицейскими, размахивали хоругвями и нестройно орали «Боже, царя храни». Только что вышел манифест о войне с Германией. Молодой Кумлев смотрел на все это с большой тревогой — ему грозила мобилизация в армию.

Аристарховы встретили его как родного, усадили обедать. Сели за стол в большой, светлой гостиной, за окнами сверкала Нева. Кумлев, увидев, что отец Сони в новенькой генеральской форме, встал и торжественно сказал:

— Я хочу поздравить Бориса Никитича с генеральским чином.

— Спасибо, дружок, — ответил Аристархов. — А только генеральство — это не чин, а воинское звание.

— Папа, ну как тебе не стыдно придирается, — шутливо надула губки Соня.

— Ишь ты, защитница, — рассмеялся генерал. — Ну, как там Одесса?

Кумлев рассказал об одесской жизни.

Генерал внимательно, с большим интересом слушал. Когда Павел умолк, вдруг спросил:

— Паша, а ведь ты, как мне помнится, из немцев? Верно?

— Да, Борис Никитич, из старых колонистов, — почтительно ответил Павел. — Но

душа у меня русская.

— Душа — это только пар, — непонятно рассмеялся генерал.

Кумлев с замиранием сердца поглядывал на Соню, а ей снова нравился этот статный парень со смуглым, резко очерченным лицом и большими, сильными руками. И он совсем не похож на немца.

После обеда генерал позвал Кумлева к себе в кабинет и повел с ним какой-то странный, путанный разговор — Павел понял только одно: Россия, вступив в эту войну, совершила трагическую ошибку. А затем генерал начал вслух соображать, как бы спасти Павла от фронта. Он, кажется, что-то придумал, но что именно — пока не сказал...

Спустя три дня, когда Кумлев пришел к Аристарховым, генерал снова увел его в свой кабинет.

— Ну, Паша, слушай меня, — начал он. — Спас я тебя от фронта. Есть о тебе приказ — хороший приказ. Ты прикомандирован ко мне лично. Как мужчина мужчине скажу, чтобы ты не удивлялся моим хлопотам: когда я думаю о тебе, я и о Сонюшке думаю. Я еще с Одессы на вас обоих смотрю...

Через несколько дней Кумлев надел мундир поручика. В кармане у него было удостоверение сотрудника военного министерства. Но пока он еще не знал, что приказ о его производстве в офицеры и назначении, как и служебное удостоверение, были фальшивыми. Он не знал еще и то, что генерал Аристархов уже давно является германским шпионом, его завербовал в Одессе капитан немецкого торгового парохода, купил с потрохами за крупную сумму — Аристархов имел болезненную страсть к деньгам. Но, кроме денег, он получил еще и головокружительную карьеру — из заштатного округа его вознесло сразу на вершину военной иерархии, в подчинение уже занимавшего там высокий пост другого, и тоже давнего, немецкого шпиона. Теперь, когда началась война, им понадобился надежный и находящийся подальше от них «почтовый ящик». Кумлев подходил для этой роли по всем статьям...

Когда он был уже завербован и дал подписку, генерал сказал ему сухо:

— Надеюсь, вы понимаете: пока идет война, устраивать свадьбу — подозрительное безрассудство...

Война тянулась год за годом. На квартиру Кумлева в районе Пяти углов приходили какие-то люди, которым он отдавал свертки и пакеты, полученные от генерала. Иногда эти люди оставляли для генерала и для него деньги. По совету генерала он не открыл счета в банке и ни в какие коммерческие аферы не лез — это должно было уберечь от чужого любопытства. Он только позволял себе жить в свое полное удовольствие — штабной офицерик из богатой семьи одесского торговца может себе это позволить. Тучи таких слонялись по петербургским кабакам.

19 декабря 1916 года был арестован генерал Аристархов. Заплаканная Сонечка прибежала утром и рассказала, что всю ночь в их квартире шел обыск. Отец плакал и все просил маму запомнить, как он любит ее и детей и что вся его жизнь была только для них.

Кумлев не дал ей договорить.

— Зачем ты пришла сюда? Ты же привела за собой сыщиков! — не помня себя закричал он.

— Как вы смеете на меня кричать? — задыхаясь от горя и гнева, спросила девушка.

— Ты же не понимаешь, что случилось! — Павел, подняв кулаки, оттеснял ее к двери. — Уходи сейчас же! Уходи!

Соня зарыдала и, закрыв лицо руками, выбежала вон...

Несколько дней Кумлев не выходил из дому и не отзывался на телефонные звонки. Не раздеваясь, он лежал на постели и только поздно вечером, как вор, выходил, чтобы поесть в каком-нибудь дешевом кабаке. Затем возвращался и снова валился на постель. Ждал ареста.

Прошло четыре дня, и у него зародилась надежда: если бы Аристархов дал о нем показания, его давно бы арестовали. А так, может, еще и обойдется. Он был связан только с Аристарховым, тех, кто приходил к нему с немецкой стороны, он не знал, а свидетелей его встреч с ними нет.

Побрившись, приняв ванну и надев штатский костюм, он в сумерках вышел из дому и направился в скромный ресторан «Бристоль» — там его не знали.

Метрдотель провел его в уютную нишу и принес газеты. Об аресте Аристархова ничего не было. Но было много сообщений, где высказывались подозрения, что в русской армии свила гнездо грандиозная измена. Депутаты думы требовали немедленного расследования всех обстоятельств, приведших к поражениям русской армии.

После сытного обеда, немного успокоившись, Кумлев возвращался домой. Было ветрено, метельно, поземка колко хлестала ему в лицо, но он не нанял извозчика, как обычно, а шел пешком. На площади у Пяти углов он сразу увидел высокого человека в кожаном пальто, человек стоял возле его дома, и Павел сразу почему-то подумал, что этот человек ждет его. Надо было повернуть назад, но он, точно загипнотизированный, шел к своему дому.

— Господин Кумлев?

— Что вам угодно?

— Я от Бориса Никитича Аристархова, нам надо поговорить.

— Я не знаю никаких Аристарховых, — возмущенно заявил Кумлев.

— Не говорите глупостей, — незнакомец шел вслед. Павел ускорил шаг, но человек не отставал.

Они поднялись на третий этаж, вошли в квартиру, сняли верхнюю одежду. Кумлев не смотрел на гостя, он слышал только, как тот дышит, грея руки у теплой печи.

— Генерал Аристархов сегодня скончался от разрыва сердца, — услышал он. — С нашей помощью, конечно. У него хватило характера только на четыре дня. А вчера он решил дать показания. Не угодно ли посмотреть?

Гость вынул из кармана какие-то бумаги, и, выбрав нужный лист, положил его на стол.

— Почитайте...

Кумлев безошибочно узнал мелкий, скользкий почерк генерала и сразу же увидел в тексте свою фамилию. Аристархов писал, что главным его связным являлся некий Кумлев, сын одесского коммерсанта, ныне офицер с фальшивыми документами...

— Сами понимаете, жить ему не стоило. — Высокий блондин говорил негромко, спокойно и с чуть заметным акцентом, так говорят по-русски жители прибалтийских земель. — Словом, с господином Аристарховым все ясно, он нам больше не опасен. Сейчас решается вопрос о вас. Именно сейчас. Понимаете?

Кумлев понимал, что этот человек пришел убить его.

— Однако мне хотелось бы раньше узнать, помните ли вы, что по крови вы

немец? — спросил гость, помолчав.

— Конечно, помню!

— Сомневаюсь. Хотя должен сообщить вам, что благодаря вашей работе с нами на фронте погибла не одна тысяча русских солдат, и я хотел бы, чтобы каждый немец имел право заявить о таком своем участии в этой проклятой войне. Видите, в какое сложное положение мы попали, оказавшись перед необходимостью вынести вам приговор.

Гость встал и медленно пошел по комнате. На стенах висели дешевые олеографии в претенциозных золоченых рамках. Он внимательно посмотрел одну, перешел к другой, потом — к третьей...

Кумлев стоял не шевелясь, на лбу у него выступила холодная испарина. Вдруг он повалился всем телом на стол и зарыдал, мыча что-то похожее на «ма-а-ма-а»...

В тот вечер он подписал документ, где кровью и всей жизнью своей поклялся до последнего удара сердца служить Германии, как ее верный сын по крови и духу. Так была проведена повторная вербовка Павла Кумлева германской военной разведкой.

Страшный Рубикон был перейден. Но для Кумлева только теперь началось главное испытание. Октябрьская революция. Брестский мир. Россия вышла из войны. Мелькнули зарницы надежд — наступление немцев под Псковом, потом на Украине, и все погрузилось во мрак...

Кумлев продолжал жить в Петрограде. Он придумал себе серенькую биографию и устроился контролером в кинотеатр. Получал зарплату, паек, карточки. Сломал стену между своими комнатами, чтобы избежать уплотнения. Он ни за что не хотел покинуть свою квартиру в районе Пяти углов — верил, что из Германии придут.

В 1932 году Павел Генрихович Кумлев стал заместителем директора кинотеатра. Работал он энергично, требовал хорошей работы от других, и нет ничего удивительного в том, что им дорожили. На глаза он не лез, был очень скромен и старался держаться в тени.

Он существовал в этой своей жизни весьма естественно. Ни от отца, ни от старшего брата ничего не было слышно, и Кумлев не искал их, он был почему-то уверен, что их уже нет в живых. Семья генерала Аристархова, по слухам, еще в дни революции эмигрировала за границу. Кумлев в мире новой советской жизни остался совершенно один, и это его вполне устраивало.

Однажды утром Павла Генриховича разбудил настойчивый звонок. В кинотеатре ему приходилось бывать до поздней ночи, он шел на работу к двенадцати дня и обычно до одиннадцати спал. Сейчас была половина девятого.

— Кто там? — спросил он через дверь.

— Я привез вам письмо от Висбаха, — услышал он.

Дрожащей рукой Кумлев торопливо открыл дверь и увидел самого Висбаха, того, которому он в обмен на жизнь дал торжественную клятву верности Германии.

Павел Генрихович не мог говорить и только все делал рукой какой-то странный жест, отдаленно похожий на приглашение войти.

— Хватит, господин Кумлев, — сказал гость. — Выключайте ваши эмоции, нам нужно поговорить о деле, у меня очень мало времени. Расскажите, пожалуйста, что с вами произошло за эти годы.

Висбах слушал очень внимательно, часто останавливал Кумлева и просил: «Об этом — подробнее, пожалуйста».

Кумлев рассказывал, видя перед собой такое знакомое, хоть и изменившееся, но по-прежнему спокойное, сильное лицо, и на душе у него была торжественная музыка.

— К сожалению, я не могу провести с вами этот прекрасный для нас обоих вечер, — улыбнулся Висбах. — Я приехал в Ленинград с группой немецких инженеров. Через час — наш поезд в Москву. В этом чемодане ваши деньги и немножко золота. Старайтесь расходовать ваши деньги с умом и возвращайтесь к своим прежним привычкам. Однако Германия не хочет, чтобы вы вульгарно нуждались. Смотрите внимательно на все, что делается вокруг, и помните: последняя страница истории еще не перевернута. Терпеливо ждите свой великий час... — Висбах встал, точно подчеркивая этим торжественность момента.

Павел Генрихович тоже встал. Висбах обнял его за плечи и прижал к себе:

— Вас, господин Кумлев, обнимает Германия-мать...

Следующий посланец германской разведки пришел к Кумлеву только спустя пять лет. И снова Павел Генрихович получил крупную сумму. Задание на этот раз дали более конкретное — ему было поручено собирать сведения военного характера и выявлять людей, враждебно настроенных к Советской власти. Заводить с ними знакомства.

Все эти годы Павел Генрихович жил очень скромно, только, может быть, одеваться стал немного лучше, но все знали, что он человек одинокий и у него должны быть сбережения...

В 1939 году с ним установил связь немецкий консул в Ленинграде господин Зоммер. От него Кумлев и узнал потрясающую новость — война Германии с Россией не за горами.

Консул виделся с ним очень редко. Последний раз перед войной они встретились на кладбище Александро-Невской лавры. Кумлев получил от консула имена, клички и пароли агентов, которые отныне стали подчиняться ему как резиденту.

И вот война началась!

Теперь он плохо спал по ночам — все время ему чудилось, что стучат в дверь...

После сентябрьского наступления немцев Ленинград оказался окончательно окруженным и отрезанным от страны.

Был на совещании в Смольном. Товарищ Кузнецов — сама безжалостная откровенность. Он говорил как раз о том, что может означать блокада для жизни города. Впервые я услышал слово «блокада». Кузнецов сообщил очень тревожные вещи. Но его собственная вера в лучшее, несмотря ни на что, свойственные, наверно, его характеру страстность, напористость, уверенность придавали тому, что он говорил, окраску оптимизма и веры. Самое тревожное из всего, что он сказал, — это будущие трудности со снабжением продовольствием города и армий, находящихся внутри блокадного кольца.

— Мы уверены, что ленинградцы, и в первую очередь ленинградские коммунисты, спокойно встретят все трудности и сложности военной судьбы своего родного города и проявят образцы выдержки и воли к победе! — закончил он свою недлинную речь.

Были вопросы и ответы.

Вопрос: Как быть с теми, кто не желает эвакуироваться?

Кузнецов: Как с нарушителями военной дисциплины города.

— А они ссылаются на свои патриотические чувства.

— Разъясните им, что высшее проявление патриотизма в наших условиях — это подчинение дисциплине. Еще неизвестно, как поведут себя такие патриоты, когда в городе станет не хватать продуктов. Как бы они потом не стали нас критиковать за плохую заботу о них. Кому особенно нечего делать в осажденном городе, тому надо ехать. Пока есть такая возможность — через Ладогу и по воздуху...

Вопрос: Можно ли надеяться на бесперебойную работу водопровода? Может быть, нужно заготовить воды в противопожарных и иных целях?

Кузнецов долго молчал.

Ответ: Выход из строя водопровода — это катастрофическое бедствие, от него бочками с водой не спастись. Надо, в общем, рассчитывать на работающий водопровод и, уж раз речь об этом зашла, предупредить коммунистов, работающих на водопроводе, что судьба города буквально в их руках...

В Кировском райкоме партии меня доверху нагроулили замечательными фактами о рабочих и работницах, которые, отработав по 10 — 12 часов на своем предприятии, идут дежурить в истребительные батальоны или в команды ПВО. О девчонках-школьницах, спасших свой дом от вражеских зажигалок. О художнике, который принес в райком и сдал на хранение рисунки, которые он делал с натуры на улицах города и во время рытья противотанковых рвов. Он, как и большинство ленинградцев, тоже рыл эти рвы, а в минуты отдыха рисовал. «Не во мне тут дело, — сказал он. — Для истории может пригодиться». Я видел эти рисунки и думаю, что это был не профессионал, а любитель. Рисунки слабые. Но один запал мне в душу своим сюжетом — такого не придумаешь: глубокий противотанковый ров, на переднем плане на дне рва лежит мертвая женщина, возле нее — люди с лопатами в руках. И подпись внизу: «После налета фашистского стервятника. Мы все рыли ей могилу».

Я очень сильно простудился, боялся, что схватил воспаление легких. Работники гостиницы вызвали ко мне врача. К вечеру пришел старик лет семидесяти. Он сразу налил себе воды, принял какие-то лекарства и долго сидел не шевелясь. Потом тщательно осматривал и выслушивал меня. И все время говорил. Попробую записать подряд, как помню:

«Я уже давно на пенсии, как вы понимаете. Теперь снова впрягся. У меня был сын. Также врач. Убит на фронте тут, под Ленинградом, в августе. Внук, студент-медик, уехал рыть противотанковые рвы — никаких известий. Жена умерла в позапрошлом, — может быть, это ее счастье — она умерла раньше всего этого. А я вот живу. Слез нет. Давно нет. Если бы такое одному мне — с ума можно сойти. Но горя, сколько горя кругом... Раз живу, пошел работать. Брать не хотели, думали — из-за карточек, а мне ничего не надо, даже зарплаты. Только работать. Пенсия у меня есть. Решили наконец в райздраве — дают в день три вызова... А у вас, батенька, легкие свистят, рентген необходим, а где его сделать теперь? Лекарства все же выпишу...»

Он выписал рецепт и продолжал:

«...Разрешите посидеть у вас немного, это последний вызов, надо домой идти, а там... не могу... тяжело... душит что-то... Вы знаете, я бы давно принял что-нибудь... снотворное какое-нибудь, у меня есть... но знаете, кто меня держит? Немцы. Ей-богу. У меня радиоприемник остался, Володин это, сына, я не сдал по приказу: не мог донести, просить некого. Приемник хороший, „шесть эк один“ — может, знаете? Так вот, однажды включил и слышу — немцы по-русски обращаются к нам, ленинградцам, советуют стать, пока не поздно, на колени и просить пощады, а не то они сотрут наш город в порошок и сделают его снова допетровским болотом. Послушал я это и спрятал снотворное. И хожу вот сколько могу. И буду ходить. Больных много. Для смерти война — праздник, помешать ей веселиться — большое дело. Вот и хожу...»

Он ушел, а мне стало стыдно лежать. Утром встал, оделся и вот уже третий день работаю. Даже кашляю меньше...

Глава одиннадцатая

В начале войны у Кумлева еще не было оперативной связи с группой Акселя, ему было приказано ежедневно в восемь утра являться на Охтинское кладбище и там, возле церкви, ждать человека с условленной приметой. Одного он встретил еще в июле и получил от него чемодан с минами. После этого почти два месяца никого не было, но он ездил туда каждый день.

В это утро он ехал в пустом трамвае, сидел на переднем месте для детей и механически наблюдал за работой вагоновожатой — женщины лет сорока, с простым, приятным лицом, с золотистыми волосами, выбившимися из-под платка. Она напряженно смотрела вперед, ее побелевшая рука судорожно сжимала рычаг управления. Кумлев невольно усмехнулся — видно, недавно взялась она за эту работу...

Старенький трамвай, покачиваясь, гроыхая и звеня, катился по сверкавшим от солнца рельсам. И вдруг впереди взметнулся огненный куст, и трамвай точно наткнулся на грохот взрыва. На тротуар выбросило согнутый в полукольцо рельс. Зазвенело разбитое стекло. Кумлев больно ударился головой о загородку вагоновожатого и, выскочив из трамвая, бросился в ближайшие ворота.

Возле трамвая собралась толпа. Приехала машина «Скорой помощи». Кумлев подошел и увидел, как из вагона выносили вожатую — ее голова свалилась набок, руки безжизненно болтались. Переднего стекла у трамвая не было, а приборный щит заливала кровь.

«Зря истратили снаряд», — подумал Кумлев и пошел, стараясь держаться поближе к домам...

Миновав ворота, он быстро прошел мимо церкви и несколько энергичнее, чем полагалось на кладбище, зашагал по левой дорожке. Кресты, ограды, скамейки, ракушечник, камни с обеих сторон. Он постоял, наблюдая похороны. Глухо стуча, посыпалась на гроб земля, женщина зарыдала низким глухим голосом, — Кумлев выругался про себя и пошел назад к воротам.

Привезли нового покойника. Родственники кучкой обступили высокую седую женщину. Черные старушки выстроились у церковной стены. Кумлев постоял в толпе, осмотрелся. Перешел к другому углу церкви и вдруг совсем близко увидел человека с синей книгой в руке. Кумлев остановился у церковных дверей и стал наблюдать. Потом подошел к нему и, попросив спичку, тихо сказал пароль. Человек с синей книгой ответил, достал спичку, зажег и дал прикурить. Кумлев поблагодарил и неторопливо пошел в глубь кладбища по правой дорожке. Следом за ним двинулся человек с синей книгой. Это был Чепцов.

Они миновали небольшой деревянный мостик, следуя друг за другом, и дальше пошли вместе вдоль мелкой и грязной речушки, берега которой были в буграх могил. Около большого застекленного чугунного склепа они сели на скамеечку перед могилой супругов со странной фамилией Экземпляровы.

Было утро спокойного осеннего дня. Где-то гремела, корежила землю война, а здесь все утопало в какой-то особенно густой тишине. Солнце, еле пробившись сквозь кроны деревьев, рассыпалось желтыми бликами по дорожкам, по памятникам и крестам. Чепцов обвел все вокруг медленным взглядом.

— Не знаю, где могила матери, может быть, она похоронена здесь, — сказал он и пояснил: — Когда она умерла, я был маленьким, ничего не помню.

Кумлев, не показывая особенного интереса, рассматривал Чепцова — коренастый, прочный, сильное лицо. Они были, пожалуй, ровесниками. «Но чего это его потянуло на лирику?» — подумал Кумлев и спросил:

— Как вас называть?

— Николай Петрович, — ответил Чепцов и вдруг начал вслух читать надпись на могильной плите: — «Мария Кириловна Позднева, 1884 — 1934... Вы меня к себе не ждите, я же всех вас буду ждать...» Безжалостно и неумно. А? — с усмешкой повернулся он к Кумлеву.

— Как сказать, как сказать... — угрюмо отозвался Кумлев.

— Что-то я поддался настроению, — сказал Чепцов и спросил: — Ну, как вы тут?

— Ждем развязки, — ответил Кумлев.

— А пока что их бабы под огнем артиллерии спокойно вывозят ящики с продовольствием, которым цена — грош в базарный день.

— Страх, — ответил Кумлев.

— Какой же страх, если они рисковали жизнью, я же видел сам, я с ними и приехал в город...

— Так за эти ящики их свои же поставят к стенке, — пояснил Кумлев.

Они помолчали, будто прислушиваясь к сухому шороху осенних деревьев.

— Надо решить, где мне сегодня ночевать.

— Пожалуйста, ко мне... — предложил Кумлев.

— Это легче легкого. Спасибо. Но я хочу испытать на себе, как происходит соприкосновение с жителями города. Есть у вас такой адрес... чтобы без особого риска? Но чтобы и не наш, конечно...

— Есть такой человек, — ответил Кумлев и вкратце рассказал о Маклецове. — Один раз переночевать у него можно.

— А он не стал и в самом деле красным патриотом? — спросил Чепцов.

— Нет. Наоборот...

— Хотя да, — усмехнулся Чепцов. Он посмотрел вокруг и спросил: — Здесь, судя по всему, прячут мелкий люд?

— Всякий. Есть и генералы.

— Равенство и братство?

— Да, — ответил Кумлев, желая прекратить ненужный разговор, и спросил: — Как прошли фронт?

— Как по маслу. Если не считать того, что мог угодить под свои же снаряды, почему-то немцы начали артподготовку раньше срока. А по эту сторону тишь и благодать, завтракал в обществе храбрых дам на базе потребсоюза.

В ответе Чепцова Кумлеву послышалась похвальба.

— Не обольщайтесь, это опасно, — серьезно сказал он и встал: — Идемте, я покажу вам место, где мы встретимся вечером.

Они вышли с кладбища, прошли тихую, почти деревенскую улицу с палисадниками и огородами, лопухами и редкими деревьями, пересекли трамвайную линию и подошли к моельному дому баптистов, он неуклюжим ящиком стоял на открытом месте, и все подходы к нему были видны издали.

— Здесь... — Кумлев показал на длинную скамью у входа в дом. — Я буду сегодня ровно в семь...

— Если я до восьми не появлюсь, уходите, это будет означать, что встреча переносится на завтра, в то же время.

Кумлев ничем особенно не выдавал своего удивления, а только внимательно смотрел на Чепцова.

— Хочу поработать один, — пояснил Чепцов.

— Недоверие? — невозмутимо спросил Кумлев.

Чепцов взял его за локоть и сказал просто:

— Это слово в наших разговорах звучать не должно. Договорились? Значит, мне нужно сначала на Невский и потом — на Некрасова? Какие трамваи?

Кумлев объяснил, и они простились.

Маклецов принял Чепцова любезно, засуетился угощать чаем, хотел зажарить яичницу.

— Никакого угощения не надо, я на минутку, командировка, дел по горло, — сказал Чепцов. — А как насчет ночлега? Павел Генрихович сказал, что не выгоните...

— Конечно, конечно, он святую правду сказал, — быстро говорил Маклецов. — Друзья Павла Генриховича и мне друзья. Но прямо скажу: с ночевкой трудно. Невозможно. Только вчера из милиции приходили: за ночлежников без оформления — тюрьма, а то и похуже — время военное. Соседи у меня, знаете, гады ползучие, круглые сутки глаз на моей двери держат.

Чепцов без промедления стал прощаться.

Он неторопливо шел по ленинградским улицам, разглядывая дома, читая вывески и проверяя свою память. Это было похоже на игру: он вспоминал название улицы, к которой приближался, и потом проверял по табличке. Он еще ни разу не ошибся.

На Кирочной он остановил пожилого техника-интенданта второго ранга. Из-под пилотки новоиспеченного, как видно, военного выбивались седеющие волосы, его саржевую гимнастерку вздувал круглый животик, и шел он как-то не по-военному.

— Разрешите обратиться за помощью... — Чепцов козырнул, как положено.

Техник-интендант вздрогнул, остановился, его рука метнулась было к пилотке, но на полпути задержалась, он понял, что перед ним штатский.

— Здравствуйте. Что случилось? — спросил он вежливо.

— Ничего особенного не случилось, но не знаете ли вы, где помещается какое ни на есть военоторговское начальство? С ног сбился — ищу, все в секретность играют, а у меня безвыходное положение.

— Откуда прибыли?

— От самой Риги, не останавливаясь. — Чепцов забористо выругался и продолжал: — Обязан же я куда-то явиться, доложить, — за мной имущество числится, надо аттестат получить, работу, может, дадут какую...

— Вам повезло, я могу вам помочь. Идемте...

— Должны же мне действительно помочь, — продолжал Чепцов, шагая рядом с военным. — Хотя я и вольнонаемный. Даже ночевать негде.

— С этим трудно, — отвечал ему техник-интендант. — Общежития у нас нет, бронь в гостиницу дает только военный комендант, а нам он всегда отказывает. Вы бы сами в гостиницу толкнулись, четвертной администратору, и вся недолга.

— Но надо же мне сначала где-то официально закрепитесь, — возмутился Чепцов.

Вскоре ему невольно пришлось вспомнить, как абверовские учителя твердили на занятиях, что хорошая легенда — это самая верная гарантия успеха. Когда он оказался наконец в отделе кадров Военторга и подробно рассказал о себе, ему сразу же предложили работу экспедитора, обслуживающего два армейских военторга.

— Я этой работы не знаю... — скромно сказал Чепцов.

Седой майор с красными, наверно от бессонницы, глазами замахал на него руками:

— Да оставьте вы! Какая это работа! Теперь вся торговля — мыло да табак, а скоро, судя по всему, ничего не будет...

— Я работал инспектором... — начал Чепцов.

— Ладно. Подождите... — Майор позвонил куда-то по телефону и спросил: — У тебя Глазков ушел? Кланяйся мне в ноги — я дам тебе человека.

Чепцов шел в гостиницу по улице Гоголя, испытывая все нарастающую безотчетную тревогу. Сейчас он думал только об одном — нет ли за ним наблюдения?..

Чепцов круто повернул назад и пошел энергичным шагом, незаметно оглядывая улицу и встречных людей. Он разминулся с лейтенантом Гладышевым. Они даже встретились взглядами, и глаза Чепцова были так напряжены, что Гладышев удивленно поднял брови. Чепцов невозмутимо прошел мимо, подумав, что, если бы парень занимался слезкой, он и глазом бы не моргнул. На перекрестке Чепцов остановился и минут пятнадцать стоял, внимательно осматривая улицу в обе стороны. Гладышев в это время наблюдал за ним, стоя в подъезде жилого дома.

Прогромыхали военные грузовики. Под их прикрытием Чепцов перешел на другую сторону улицы и повернул обратно к гостинице. Он успокоился — невероятно, чтобы в первые же часы после его прибытия в город ему могли повесить на спину агента. Невероятно!..

И все-таки ночевать в гостинице он не будет...

Поздним вечером Гладышев докладывал начальнику отдела Прокопенко о своей, как он выразился, «пустой беготне».

— Он вернулся в гостиницу, — рассказывал Дмитрий. — Я ждал на улице. Решил — если в течение часа не выйдет, зайду. Через час захожу. Предъявил удостоверение, спрашиваю: кто у вас час назад номер снял?

— А почему ты решил, что он шел номер снимать, а не в гости?

— Сам не знаю, решил, и все... Ну вот. Получаю справку — номер взял работник Военторга Чернышев Николай Петрович. Вижу, сходится. Номер взят по броне военного коменданта. Тут я окончательно понял, что у меня артель «напрасный труд», позвонил дежурному, и он приказал мне двигать на Литейный. В общем, день погиб.

— А то, что он был у Маклецова? — Голос Прокопенко зазвенел жестью.

— Может, он ему двоюродный брат, — тихо огрызнулся Гладышев.

— Прошу говорить громче. — В серых глазах Прокопенко мелькнула злая искорка.

— Я говорю: может, они с Маклецовым родственники... — громко сказал Гладышев.

— А ты забыл, как он восьмерил перед его домом? А? Дальше — зачем это он, подойдя к гостинице, спину проверял? Нет, Гладышев, ты лучше скажи мне, что ты выяснил в Военторге?

— Их работник. Прибыл из Прибалтики. Получает новое назначение.

— Ну вот что, Гладышев, — сдержанно, не давая волю раздражению, сказал Прокопенко. — Иди снова в «Асторию». К полуночи пришлю смену. Запомни: каждое дело надо доводить до конца.

Чепцов пробыл в гостинице около часа. Потом он отдал ключ дежурной по этажу, сказал, что уходит по делам и, может быть, сегодня заночует у знакомых.

Уже начинало темнеть, когда Чепцов шел мимо Исаакиевского собора. Он направлялся к Неве, чтобы выйти на набережную возле памятника Петру. Здесь было открытое место, и он легко обнаружил бы слежку. Но, кажется, все было спокойно.

Он постоял у памятника, внимательно осмотрел набережную, площадь и пошел по узкому бульвару вдоль Невы.

Чепцов приступил ко второй части своего эксперимента — поиск ночлега на частной квартире. Настроение было у него отличное.

Навстречу шла женщина в аккуратном стареньком пальто и белой панаме, в руках — сумка для продуктов. Чепцов встал на ее пути.

— Простите, пожалуйста, — сказал он, приподняв фуражку. — Мне негде переночевать, не можете ли помочь?

Женщина, зло щурясь, посмотрела на него и, не ответив, пошла дальше.

— Я хорошо заплачу, — сказал ей вслед Чепцов.

— Да подавись ты своими деньгами, — не оглядываясь, крикнула она и ускорила шаг.

Чепцов смотрел ей вслед удивленно, насмешливо и чуть тревожно, почему-то ему хотелось получше запомнить ее лицо. Ничего, ничего, все в порядке. Если бы не произошло осечки и здесь, благополучный ход его эксперимента стал бы подозрительным...

У парапета набережной стояла пожилая дама интеллигентного вида, она задумчиво смотрела на багровую от заката Неву. Чепцов остановился рядом и тоже стал смотреть.

— Тревожная красота, не правда ли? — сказал он негромко.

Женщина вздрогнула, обернулась и, ничего не ответив, снова повернулась к реке.

— Прошу прощения, я помешал, — продолжал Чепцов. — Извините... Но трудно сдержать восторг перед такой красотой... Хотя у меня, надо заметить, состояние не для лирики, а вот хожу, как во сне, и без конца узнаю то, что видел только на картинках.

— Вы не ленинградец? — спросила дама.

— В полном, я бы даже сказал, в классическом виде, мне даже ночевать сегодня негде...

— Что же с вами случилось?

Чепцов рассказал.

— Сил никаких нет, не понимаю, как ноги держат, — говорил он. — Забыл, как постель выглядит. Без разговоров — сотню за право увидеть подушку.

— Цена баснословная, что и говорить, — рассмеялась женщина.

— А что делать? Я измучился! Рискните.

— Помните сирену Чехова? — дружелюбно улыбаясь, спросила женщина.

Никакой сирены Чепцов не помнил, он не читал Чехова. Но разговор завязался, и через час он сидел в квартире Элеоноры Евгеньевны Струмилиной. Она жила во флигеле, стоявшем во дворе многоэтажного дома. Дорогую мебель в комнатах покрывал слой пыли, печать запустения лежала на всем.

Вскоре Чепцов знал, что она вдова, но кто был ее муж, она сказать не пожелала. Сейчас это и не было особенно важно, он видел, что женщина жадна на деньги, и пока делал ставку на это...

Поехал на Осиновец. Это на Ладого. Там недавно под носом у противника в потрясающе короткий срок построили новую пристань. Поехал — сказано чересчур громко: добрался пешком до КППна выезде из города и в деревянном домике долго сидел с лейтенантом. Здесь греются и укрываются от дождя бойцы и офицеры КПП и те, кто ждет оказии.

Оказии все не было. Оттуда в город машины шли все время, а туда — ни одной. Вдруг промчались три «санитарки». Пришел солдат и сказал, что на Ладого какая-то беда случилась. «Война, вот что случилось», — флегматично заметил лейтенант. Я на всякий случай пошел к дороге. Вскоре пришли еще две машины. Меня взяли. Военный врач сказал, что их машину сняли с другого направления и бросили сюда.

На Ладого действительно случилась страшная беда. На судно «Конструктор», заполненное до отказа женщинами и детьми, напал гитлеровский самолет. Бомба попала в центр парохода и взорвалась внутри. Сотни женщин и детей оказались в воде. Поврежденное судно прибуксировали в Морье. Сейчас вывозят раненых. Сколько людей погибло, точно пока неизвестно. Говорят — не меньше ста пятидесяти, возможно — двести. А ведь летчик видел, что судно, все его палубы, заполнено женщинами и детьми...

Лучше б я не ходил на пристань. Еще издали слышался непонятный звук — не то ветер выл в какой-то гигантской трубе, не то провода на телеграфном столбе. Это кричали женщины и дети. Плакали, звали осиротевшие дети и матери, потерявшие детей. Одни стояли на берегу, другие были еще на полу затонувшем «Конструкторе», их на шлюпках доставляли на берег. Подходили машины — санитарные и грузовики, — увозили раненых и уцелевших. Стоял неумолимый крик женских и детских голосов. Еще сейчас в ушах стоит этот страшный крик.

Вернулся в Ленинград разбитый, больной. Кажется, непрерывно ноет сердце. Неужели этот гитлеровский летчик не будет найден? И не будет повешен публично на какой-нибудь ленинградской площади? Ноет сердце. Страшно. Все слышу крик женщин и детей.

Глава двенадцатая

Деньги открыли Чепцову не только квартиру вдовы Струмилиной, но и гардероб ее мужа. Утром он вышел на улицу в добротном, немного старомодно сшитом костюме из синего бостона. Он бродил по городу, заходил в магазины, учреждения, смотрел, слушал, пытался делать первые выводы. На Кронверкском его застала воздушная тревога, и ему пришлось укрыться в бомбоубежище большого дома. Под сводчатым потолком подвала люди сидели на скамейках, на ящиках, на чемоданах, принесенных с собой, и прямо на каменном полу. Тревожный говор сливался в непрерывный гул. Где-то в глубине подвала надрывно плакал ребенок.

Рядом с Чепцовым на связках книг сидели пожилые женщина и мужчина, оба в белых мятых плащах, у него седую гриву прикрывала черная фетровая шляпа, на ней была шляпка с вишенками на ленте. Он то и дело вскакивал, опускался на корточки и разглядывал корешки книг и каждый раз сетовал, что мало захватили...

— Нет, нет, в это дело необходимо внести строгую систему, — говорил он сердито. — Я сегодня же составлю список...

Бомбы падали все ближе, и нервная атмосфера в подвале быстро накалялась. Близкий разрыв кольхнул подвал, погас свет. Напряженная тишина. Чепцов нащупал рукой стену и придвинулся к ней поплотнее. Тишину разорвал иступленный крик: «Спасайтесь!»

По темному подвалу метнулся шорох, Чепцов, почувствовал, что сейчас начнется паника и люди ринутся к выходу, давя друг друга. Он затаил дыхание, но в это время раздался не очень громкий, но удивительно спокойный мужской голос: «Товарищи, призываю вас к спокойствию! Неужели мы, ленинградцы, уступим желанию врага и в страхе опустимся на четвереньки?» Говорившего слышали не все, из далеких углов подвала доносились призывы: «Тише! Тише!», «Дорогие товарищи, призываю вас к спокойствию!» — повторил невидимый оратор, и в это время загорелся свет. Кто-то засмеялся, раздались радостные восклицания, а Чепцов в это время увидел говорившего. Это был старик в белом мятом плаще. Он сел на свои книги и сказал, обращаясь к Чепцову:

— Очень, знаете ли, критический был момент. Я однажды очутился в аналогичной ситуации — знаменитая давка в ростовском летнем театре...

— Как можно сравнивать? — воскликнула его жена. — Там кто-то из озорства бросил в зал дымящуюся тряпку и крикнул «пожар», а теперь... боже мой!..

— Та же тряпка! Та же тряпка! — упрямо и сердито зафыркал старик.

Появился мужчина с красной повязкой на рукаве, он пробирался среди людей и спрашивал: «Кто крикнул: спасайтесь? Кто крикнул: спасайтесь?..» Люди подозрительно оглядывались, смотрели друг на друга. Вдруг где-то в глубине подвала женский голос крикнул: «Он кричал! Он!» Чепцов встал и неторопливо направился к выходу. Навстречу ему летел певучий сигнал отбоя воздушной тревоги.

Неужели чувство опасности появилось после этого?..

Вечером, вернувшись к Струмилиной, Чепцов перебирал в памяти все, что произошло с ним за день, и пытался разобраться, когда и почему возникло у него тревожное ощущение, будто опасность грозит ему на каждом шагу?

Когда он шел на Охту, чтобы встретиться с Кумлевым, с ним случилась история, которую можно бы было считать смешной. В безлюдном переулке он зашел в ворота за малым делом. Там его задержали какие-то люди с красными повязками на рукавах и свели в свой штаб.

— Да он не местный — из Риги, — сказал один из них, тщательно просмотрев все

документы Чепцова.

— Спросить можно было, а то рассупонился в пяти шагах от уборной, — рассудительно добавил другой.

Сейчас Чепцов думал, что, если такой пустяк может вызвать подозрение, смеха тут мало.

Потом была встреча с Кумлевым там, на длинной скамье возле молельного дома баптистов. У резидента было плохое настроение, он, очевидно, недоволен тем, что Чепцов действует самостоятельно. Ну и черт с ним и с его амбицией. Но здесь произошел новый инцидент. Женщина — ненормальная какая-то — привязалась: почему они тут сидят, около ее церкви? Не получив ответа, она разразилась базарной бранью. Кумлев вдруг предложил немедленно разойтись и через час встретиться у главных ворот Смольного.

Чепцов подчинился, но потом, когда они встретились и вышли к Неве, потребовал от Кумлева объяснений.

— Женщина показалась мне подозрительной, я не мог рисковать ни собой, ни тем более вами, — сухо сказал Кумлев.

— Чекистка? — не поверил Чепцов.

— Вы совершите непоправимую ошибку, если решите, что они не умеют работать, — не сразу ответил Кумлев. — Один наш человек провалился перед самой войной только потому, что позволил себе позвонить по автомату в немецкое консульство.

— Этого не может быть! Сказки!

Кумлев промолчал. Потом, прощаясь, сказал:

— Я не считаю правильным ваш маневр с гостиницей, думаю, что вы уже вызвали к себе интерес...

Чепцов слушал подряд все передачи Ленинградского радио — известия, песни, объявления. Он не все понимал, но чем дольше сидел у репродуктора, тем тревожнее становилось у него на душе... Школьница читала свое письмо на фронт, отцу. Зыбким девчоночьим голоском она говорила взрослыми, серьезными словами, сообщала, как она вместе с матерью защищает свой дом от вражеских зажигалок, что она подала заявление на курсы медсестер и теперь будет мечтать только об одном — оказаться в воинской части, где служит отец... Вот Кумлев считает, что он, Чепцов, совершил ошибку с гостиницей. Может быть, но как без этого он мог проверить возможность попасть туда?.. Из черного бумажного круга репродуктора послышался низкий глухой голос. Женщина читала свои стихи о ненависти к врагу, о мести. «Святая ненависть», — несколько раз повторила она. Защелкал метроном. Чепцов приглушил звук.

В комнату вошла хозяйка.

— Почему город так спокоен? На что люди надеются? — спросил у нее Чепцов.

— Нас всех научили верить... — после долгого молчания ответила она.

— Во что? В бога? — насмешливо воскликнул Чепцов и спросил серьезно: — Чему вас научили верить?

— Ну, как чему? Что наше государство победить нельзя.

— Чье государство?

— Наше, Советское, какое же еще... — серьезно ответила Элеонора Евгеньевна.

Чепцов, как-то неопределенно соглашаясь, покивал головой и снова усилил звук в репродукторе. Там пели какую-то залихватскую песню...

На другой день он встретился с фотографом Геннадием Ивановичем Соколовым в кабинете Кумлева, в его кинотеатре. Начиналась проверка агентов.

Из зала, где шел фильм «Человек с ружьем», доносились стрельба, крики «ура». Чепцов невольно прислушивался к этим звукам. Перед ним сидел худощавый мужчина, прямо смотревший на него холодными серыми глазами.

— Приблизилось время решительных действий. Вы готовы? — спросил Чепцов.

— Наконец-то... — На сухом лице Соколова мелькнула тень улыбки. — Я ведь уже думал бог знает что — пошел на дело, подпись дал и... ничего.

— Что вы можете сказать о настроении в городе?

— Вам это важно? — удивленно спросил Соколов.

— Да, важно... — сухо ответил Чепцов.

— Их надо истреблять, и тогда появится то настроение, какое надо, — ответил Соколов, не отрывая взгляда от лица Чепцова.

Чепцов знал, что Соколов — сын раскулаченного владельца сыроварни, но такого заряда ярости не ожидал.

— Не придется ли истребить поголовно всех? — спросил он.

— Нет, — дернул головой Соколов. — Стадо есть стадо! Сегодня они боятся одного кнута, завтра покорятся другому.

— Стадо — это нечто стихийное, а город... город выглядит весьма организованным, — возразил Чепцов.

— Стадо. Стадо... — упрямо повторил фотограф.

Попытка Чепцова заставить его реально смотреть на действительность ни к чему не привела. Фотограф задумался и после долгого молчания сказал:

— Они меня ослепили... они... С тех пор, как они загубили моего старика, я в рот не брал их сыра, как увижу, хотя бы на витрине, вкус крови во рту, и знаю: надо скорей уходить... — Соколов стиснул тонкие губы. Чепцов вдруг вспомнил, что до сих пор еще не решился взглянуть на свои склады, около Невы за Александро-Невской лаврой, и на баню на Гороховой улице, на доходные дома. Это как в детстве, когда нельзя раньше срока посмотреть приготовленные тебе подарки.

— Приказывайте, я начну их истреблять первый, — услышал он резкий голос фотографа. — Я специально приберег несколько катушек пленки, чтобы снимать, как их будут вешать. Дождусь?

— Дождетесь, — тихо, дружелюбно ответил Чепцов и положил свою беспалую руку на длинные холодные пальцы фотографа: — А пока мы хотели бы получить от вас кое-какие фотографии...

Встреча с Соколовым подняла настроение, даже чувство опасности отступило куда-то. Чепцов не знал, что Кумлев специально для первой встречи приготовил фотографа.

В тот же день Чепцов с Кумлевым отправились на Васильевский остров, к священнику Анатолию Васильевичу Ромоданскому. Кумлев сразу хотел показать человеку Акселя, что дело здесь приходится иметь с очень разными людьми.

Домик, в котором жил священник, лепился к стене маленькой церкви, окруженной

высокими домами. Дверь открыл сам хозяин, но Кумлев не вошел, остался ждать на улице.

Ромоданский — плотный, немного сутулый старик с белой бородкой под широким лицом — стоял посредине комнаты и выжидательно смотрел на Чепцова. В комнате было сумрачно, поблескивали золотые ризы на иконах, чуть освещенных в углу мигающим огоньком лампы.

Когда Чепцов произнес условную фразу, священник сразу же ответил, как условлено, и, повернувшись к образам, довольно долго молился.

— Надеюсь, что в молитвах своих вы не забыли и меня, — сказал Чепцов, когда они сели к столу, покрытому выцветшей и поцарапанной клеенкой.

Священник сидел, чуть наклонясь вперед и напряженно сцепив лежавшие на столе руки.

— Слушаю вас, — сказал он наконец с такой подчеркнутой вежливостью, что ее можно было принять за насмешку.

Чепцов знал, что священника зовут Анатолий Васильевич, но почему-то не мог обратиться к нему по имени.

— Господин Ромоданский, я пришел к вам с радостной вестью, — начал Чепцов несколько торжественно. — Мы начинаем наше святое дело, настало время, когда ваши обязательства перед нами должны превратиться...

— Минуточку, — поднял руку Ромоданский, — Чепцов увидел, что он волнуется. — Прежде я должен сказать... Я во всем подчиняюсь церковным властям. И от них есть повеление, чтобы православная церковь и ее служители в эту грозную пору были с паствой своей, со своим православным народом. Так что я быть вам полезен не могу. И не властен решить иначе.

Чепцов был так поражен услышанным, что не знал, как себя вести, что сказать.

— Но вы не тревожьтесь, пожалуйста, — продолжал священник. — Иудой я не стану, ничьи сребреники мне не нужны. Я служу богу, и это для меня высший закон. — Он поднялся.

— Вы можете пожалеть, господин Ромоданский, но будет уже поздно, — сказал Чепцов, вставая. — Ваше церковное начальство и тем более бог — высоко, а мы — рядом.

— Угроз не страшусь. Все во власти божьей! — торжественно ответил священник.

— Я хотел сказать только, что патриархи тоже невечны. Не говоря уже об их повелениях.

— Моя обязанность эти повеления исполнять, а не отменять, — спокойно возразил священник. — Прощайте.

Как было условлено заранее, Чепцов и Кумлев шли по разным сторонам улицы. У Дворцового моста они сели в трамвай, Кумлев в моторный, а Чепцов — в прицепной вагон.

Пройдя на переднюю площадку, Кумлев взглянул через стекло и вздрогнул — ему почудилось, что вагоновожатая была та самая, которую три дня назад убило, когда он ехал на Охтинское кладбище. Он посмотрел внимательно — нет, эта была постарше, и лицо все в морщинах.

— Обстрела нет? — спросил у нее Кумлев.

— А черт его душу знает, — ответила она, не поворачивая головы.

Чепцов сидел в заднем вагоне, и, держа на виду свою беспалую руку, ловил устремленные на него сочувственные взгляды и думал: как мало надо людям! Но подспудная тревога не проходила, и все эти люди в трамвае вызывали в нем ощущение опасности.

Сошли, как было условлено, на углу Садовой и Невского и дальше пошли вместе. «Сюда бы снаряд, в эту кашу, а не в пустой трамвай», — подумал Кумлев, проталкиваясь в толпе.

Чепцову сейчас было спокойно. Встреча со священником его не столько встревожила, сколько удивила. Ничего страшного — есть фотограф. Возле зеркала в витрине парикмахерской он остановился и удовлетворенно оглядел себя — и чужой, тесноватый ему костюм, и серый ежик пробившихся волос на голове, и темную полосу над верхней губой, где наметились усы. Еще несколько дней, и он сам себя не узнает, а в советской контрразведке тоже работают люди, но не волшебники.

Но те, кому было нужно, знали, что в их огромном городе находится подозрительный и, по-видимому, опасный человек. Они, понятно, не были волшебниками. Но они работали в это грозное время и не одним человеком занимались. На каждой «оперативке» Прокопенко, помянув исчезнувшего военторговца, неизменно добавлял: «Ну, ничего, город нам поможет...» Вот и сейчас город видел Чепцова, проталкивавшегося вместе с Кумлевым через толпу на Невском. Видел!

Всю дорогу Чепцов и Кумлев шли молча, и, только когда вошли в кумлевскую квартиру и хозяин запер дверь, Чепцов сказал:

— Ваш поп — сволочь и дезертир.

— А что? — без удивления спросил Кумлев.

Чепцов, стаскивая тесный пиджак, повернулся — лицо у резидента было каменно-непроницаемое.

— Он только что не выгнал меня!

— Я думал, что он вас все-таки испугается, — сказал Кумлев. — Был он не хуже других, давал информацию. В одном можно быть уверенными — он нас не продаст, а когда колокола зазвонят в честь нашей победы, он прибежит... — Оттого, что Кумлев говорил спокойно, его слова убеждали.

— И много у вас таких, которые придут к нам после нашей победы?

Кумлев молчал, поглаживая пальцами свой массивный подбородок. Потом сказал веско:

— Такие имеются. И это естественно, когда целая страна меняет свою шкуру. Кроме того, я живу здесь среди людей, а люди везде бывают разные... — Кумлев остановился, ему показалось, что Чепцов не слушает.

— Кто у нас завтра? — спросил Чепцов, садясь к столу.

— Завтра Горин. Адвокат. Этот может пригодиться всячески, хотя он из породы бесхребетных.

— Расскажите о нем подробнее, — попросил Чепцов.

Горин вырос в семье преуспевающего адвоката. Его отец прославился участием в крупных делах акционерных обществ и банков, он получал громадные гонорары. Ему принадлежала восьмикомнатная квартира с окнами на Театральную площадь, в богатом доме. Горины имели немало прислуги, собственный выезд, дачу в Сестрорецке...

Кумлев знал обо всем этом со слов самого Горина. Сейчас, пересказывая это Чепцову, он спрашивал себя снова: почему же Горин не сделался убежденным врагом большевиков?

— Дело в том, — рассказывал Кумлев, — что, имея он такую же жизнь при Советах, он бы кричал: «Да здравствуют Советы!»

— А как он живет сейчас?

— По сравнению с другими, я бы даже сказал — с большинством, он живет совсем неплохо. Работает в нескольких местах. Получает прилично. Деньги тратит на карты и женщин.

— Значит, ему нужны деньги — это хорошо.

— Ему надо значительно больше, чем мы даем, — продолжал Кумлев.

— Пообещаем...

— Он хочет сейчас.

Кумлев аттестовал Горина довольно точно, он только забывал, что роскошной жизни молодой адвокат успел хлебнуть и в советское время.

Получив в двадцать девятом году диплом юриста, Михаил Горин вскоре понял, что диплом стоит недорого. Но он знал, что отец всю жизнь скупал золото и драгоценности, и нетерпеливо ждал, когда все это достанется ему.

В тридцать шестом году шкатулка с ценностями поступила в его распоряжение, и он очертя голову ринулся в разгульную жизнь, собрав вокруг себя компанию таких же, как он, циников и любителей сладкой жизни.

Но однажды показалось дно шкатулки. Он точно проснулся — жизнь потеряла для него всякий интерес, не было никаких перспектив, впереди безденежье. Отец всегда говорил: «Судьба, как правило, недодаст человеку». Горин считал, что его судьба попросту ограбила.

Кумлев был уверен, что он стал немецким агентом в расчете на большие деньги, и пропускал мимо ушей горинские рассуждения, что он мстит судьбе. Но все для него проходило легко, даже от войны его спасло плоскостопие.

Над городом шел ночной воздушный бой. Мы стояли во дворе военной комендатуры. Среди нас был летчик, который объяснял, что происходит в небе. Приходилось верить ему на слово, так как на самом деле мы видели только нервно бегавшие по небу лучи прожекторов, и иногда в них начинали сверкать и быстро гасли серебристые фигурки самолетов.

И вдруг в одном луче засверкали два самолета. Они сблизились. Казалось, слились в одну точку и тут же исчезли. Луч качнулся вниз, в нем сверкала фигурка беспорядочно падавшего самолета.

— Сбил! Сбил! — закричали вокруг.

Кто кого сбил, было непонятно. Вскоре позвонили в комендатуру, что на территории одного завода опустился парашютист, который называет себя нашим военным летчиком Севастьяновым. Туда помчалась машина комендатуры.

Я знал одного летчика-истребителя Севастьянова. За несколько дней до этого я был на партсобрании в истребительном полку, где Севастьянова принимали в партию. Очень это было волнующе и здорово. Сначала приняли в партию летчика Горышина, за час до собрания погибшего в бою. Когда председатель спросил, кто «за», все молча встали и постояли молча. Потом сели. И председатель сказал: «Принять единогласно, будем считать, что Ваня Горышин погиб коммунистом». Потом принимали Севастьянова. Очевидно, сильно взволнованный предыдущим, он заговорил несколько высокопарно, и получилось у него так, будто он один готов, защищая город Ленина, отдать за него свою жизнь. Но искренность, с какой он это говорил, была сильнее неправильно выбранных слов или неправильной интонации — его приняли единогласно...

Привезли в комендатуру именно его. На лице у него кровоточащая ссадина, и все оно в машинном масле, но я сразу узнал его. Севастьянов уже рассказывал обступившим его людям о том, что произошло в ночном небе.

— Два раза с ближней дистанции я бил по нему из пулеметов — как заговоренный, гад! Зашел в третий раз. Вплотную сблизился — жму на гашетку, и ничего нет — кончился боезапас. Мне прямо умереть захотелось от горя! Я же клятву партии дал! И решил: рубану его винтом по хвосту. Прибавил оборотов и р-р-р-раз!.. И опять — летит, гад, дальше, будто ничего не случилось. А я же видел — у него стабилизатор к черту. Но недалеко он летел, гляжу, завалился через крыло и, как лист с дерева, вниз! — Возбуждение у летчика вдруг погасло, и он добавил негромко: — Но и моя машина погублена. Такое дело получилось. Хотя не знаю, что важнее — дать ему бомбить город или... это...

Этот случай послужил сюжетом для очерка. Как раз «Огонек» прислал радиограмму, просит написать очерк на тему «Ленинградский характер». Севастьянов — это настоящий ленинградский характер.

Глава тринадцатая

Глянув на низкое серое небо из глубокого колодца своего двора, Горин поежился, у него была примета: в непогоду ничего хорошего с ним не случается.

Невский во мгле. Дождь, мелкий, въедливый, казалось, не падал, а висел в воздухе. Шпиль Адмиралтейства еле виден и точно обрезан на половине...

Этот день начинался у Горина плохо. Мать не дала ему завтрака, сказала, что в доме ничего нет, кроме черствого хлеба. Ему чертовски хотелось поесть. Час назад позвонил Павел Генрихович и, как всегда, в хамско-категорической форме сказал, что надо немедленно прийти для встречи с важным лицом «оттуда», и потребовал «быть на уровне». Горин иногда ненавидит его, но еще больше он его боится, знает, что этот человек способен на все.

Павел Генрихович и раньше предупреждал его, что скоро придется встретиться с людьми, которые придут от доктора Акселя. Сегодняшняя встреча вызывала у Горина и любопытство и страх. А вдруг приехал сам Аксель? Вот с ним Горин был готов на любое дело. Ну а вдруг он прикажет совершить что-то такое, что будет сопряжено со смертельным риском? Не пойдет. Категорически. В конце концов, что они могут с ним сделать? До сих пор он исправно выполнял свои обязанности, и они платили ему деньги...

Горин прошел всю улицу Маяковского, свернул на улицу Некрасова, а затем на Литейный... А может, его пригласили, чтобы наградить? Или отвалят ему сейчас кучу денег — война войной, а деньги значат много... Горин задумался и не заметил, как очутился возле громадного дома НКВД. У главного подъезда стоял военный. Горин, не замедлив и не ускорив шага, прошел мимо...

Он уже шагал по улице Воинова, когда впереди посреди улицы вдруг мгновенно выросло черное ветвистое дерево и через секунду опало на землю, оставив в воздухе клубы дыма. Вдоль улицы хлестнула воздушная волна, по стенам защелкали осколки, куски асфальта. Горин метнулся в первый попавшийся подъезд, там несколько человек уже сидели на ступеньках.

— Совсем близко? — уже второй раз тихим голосом спрашивал старичок в бархатной ермолке, но Горин не слышал.

С улицы донесся новый взрыв, воздушная волна распахнула дверь, отбросив к стене старичка, он упал. Женщина в военной гимнастерке помогла встать ему на ноги.

— Басурманы... басурманы... — бормотал он.

В подъезд вошел милиционер.

— Граждане, никто сейчас не заходил сюда? — спросил он.

Женщина, которая помогла старичку, резко повернулась к Горину.

— Ваши документы?.. — подошел к нему милиционер.

— Да, да, я, конечно, диверсант... поймали наконец... — сказал Горин, доставая документы и протягивая их милиционеру. — Ах, как вы бдительны, помогли нашей милиции... — обратился он к женщине, его, что называется, понесло, и он не мог остановиться. — Ну, товарищ милиционер, что скажете? Диверсант? Ракетчик? Дезертир?

Милиционер молча вернул ему документы и направился к выходу.

— Может быть, вы извинитесь? — крикнул ему вслед Горин.

Милиционер обернулся:

— Извиняйте...

— А может, это была вовсе не милиция, а переодетые диверсанты-парашютисты? — обратился Горин к женщине. — Читали в газетах про это? Что же вы его-то выпустили без проверки?

— Чего это вас так разобрало? — спокойно спросила его женщина.

— С чего? С глупости вашей, вот с чего! — грубо ответил Горин.

— Чего вы, в самом деле, кидаетесь на людей? — спросил вдруг мужчина, молча сидевший на ступеньках лестницы. — Обиделся, видите ли, документы у него попросили. Подумаешь, цаца...

— Зачем ругаться? Зачем? — спросил старичок в ермолке.

Горин почувствовал, что может сорваться, наделать глупостей. Рванув дверь, он вышел на улицу. Еще пахло кислой гарью от взрывчатки, но обстрел прекратился. Облака потемнели и, казалось, задевали за крыши домов, рассыпая мелкий дождь. Горин вышел к Неве, но другого берега реки он не увидел, где-то там, в тумане, утонул и купол мечети, поблизости от которой его сейчас ждали. Он ускорил шаг.

Высокая женщина с орлиным носом, открыв дверь, провела Горина в комнату с высокими овальными окнами и старинной мебелью. Здесь были Павел Генрихович и незнакомый мужчина с коротко постриженной крупной головой. Горин остановился в дверях, шаркнул ногой и поклонился.

— Проходите, Горин, — сказал Кумлев. — Это Николай Петрович, которого вы заставили себя ждать.

— Обстрел задержал, — с достоинством отвечал Горин.

— Здравствуйте, Девис, — негромко сказал Чепцов и показал Горину на стул возле себя. — Доктор Аксель передает вам большой привет.

— Спасибо... спасибо... ему также... от всего сердца.

— Передам. Что нового в городе?

— Все хуже с продовольствием, — не сразу ответил Горин. — Сегодня мне нечем было позавтракать.

— Для того чтобы успешно работать, вы должны жить, как все.

— Конечно, я понимаю, — согласился Горин. — Но у меня получилось нелепо — при трех службах я остался без карточек. Я никак не мог подумать, что в магазинах так скоро станет пусто.

— Почему вы не проследили за этим? — строго спросил Чепцов у резидента. Кумлев не торопился отвечать, и Чепцов снова обратился к Горину: — Где ваша основная служба?

— Я считал — издательство, но там ликвидируется моя должность.

— Где хотите, но получите карточки. Помогите ему, — сказал Чепцов Кумлеву, и тот снова промолчал. Потом спросил у Горина:

— Вы что-нибудь принесли?

— Не было ничего стоящего.

— Вы что, Михаил Григорьевич? — тихим, ровным голосом спросил Кумлев. — Так мы можем с вами поссориться. Да еще на глазах у Николая Петровича, который потом расскажет об этом доктору Акселю. Что же это вы, дорогой?

— Да, это по меньшей мере странно, — сказал Чепцов. — События у самой кульминации, а у вас ничего интересного.

— Если мы с вами, Михаил Григорьевич, встретим победоносную немецкую армию с пустыми руками, это будет с нашей стороны непоправимым просчетом. Вы это понимаете, Михаил Григорьевич? — «Михаил Григорьевич» в устах Кумлева звучало как ругательство.

Горин понимал, что этот разговор только подготовка к тому, что будет, — становилось очень страшно.

— Слушайте, Девис, вы умеете стрелять? — спросил Чепцов.

— Ну... стрелял из мелкокалиберки... в тире... — ответил он, широко раскрыв глаза.

— Вы же говорили, что имеете значок «Ворошиловский стрелок», — сказал Кумлев.

— Значок — ерунда, — сказал Чепцов. — Нам нужно стрелять не по мишеням. Вы к этому готовы, Девис?

— Да... готов...

— У вас есть общее представление, какую задачу нам предстоит решить? — спросил Чепцов.

— Мне этого не объяснили, — по-ученически произнес Горин.

Чепцов встал, быстро и легко подошел к высокой белой двери, открыл ее и, заглянув в коридор, захлопнул. Он медленно вернулся и сел — теперь напротив Горина:

— Немецкая армия скоро возьмет Ленинград, — сказал он. — Наша обязанность — помочь армии и здесь, в городе, нанести удар в спину противника. Для этого нам нужны верные и смелые люди. Вы должны нам помочь найти их. Это вам понятно?

— Понятно, — ответил Горин.

— Сколько таких людей вы можете нам дать и когда? — Чепцов внимательно смотрел на Горина, ожидая ответа.

— Я не хотел бы говорить безответственно... — начал Горин.

— А когда вы, Михаил Григорьевич, называли мне десять человек, это было сказано ответственно? — спросил Кумлев.

— У вас такая манера, — сказал Горин, — вы берете человека за горло, и он отвечает только для того, чтобы ослабили на его горле ваши пальцы...

— Как вам не стыдно, Михаил Григорьевич... — без всякого выражения сказал Кумлев.

— Когда вы сможете ответить? — спросил Чепцов.

— Завтра, — ответил Горин.

— Но не позже. — Чепцов встал, прошелся по ковру вокруг стола, поглядывая на Горина, и остановился перед ним.

— Чего вы ждете от Германии? — неожиданно спросил он, сделав ударение на «вы».

Горин молчал. Чепцов ждал ответа, засунув руку в карманы.

— Я жду ее победы, — ответил Горин, поглядев на него снизу вверх.

— Победа — Германии, а что — вам? Вам лично? — Горину почудилась в глазах Чепцова откровенная насмешка.

— Надеюсь, что Германия меня не обойдет, — неуверенно ответил он.

— А если большевики дадут больше? — спросил Чепцов.

— Я вас не понимаю... — с оскорбленным видом сказал Горин.

— Хорошо... хорошо... — кивнул Чепцов. — Но почему, объясните, почему вы уверены, что Германия вас не обойдет?

— Я же с вами... Это естественно... — запинаясь, о непонятной какой-то амбицией начал Горин и неожиданно закончил: — Я понимаю, что должен работать лучше.

— Вот! Именно этого мы от вас и ждем! — воскликнул Чепцов. — Германия вас действительно не забудет, но нужно работать, Девис. Ра-бо-тать... Я рад был познакомиться с вами, теперь мы будем работать вместе...

Кумлев вышел в переднюю проводить Чепцова.

— Выбейте из него хотя бы двух человек, — сказал Чепцов.

Кумлев вернулся и сел рядом с Гориним:

— Хочу заметить, неважно вы выглядели, Михаил Григорьевич.

Горин поправил очки в золотой оправе и поднял вопросительный взгляд.

— Разве я не разъяснял вам наши задачи? Ничего, извините меня, не делаете и хотите, чтобы Германия вас не забыла. — Кумлев говорил мягко, по-дружески, но Горин знал цену этой мягкости и напряженно ждал, что будет дальше.

— Завтра дадите мне двух человек, имена, адреса, краткие характеристики. Пока только двух, и каждый из них — на полной вашей ответственности. Сами понимаете, что нам предстоит.

— Хорошо, — ответил Горин, вставая.

— Минуточку, подождите, — поднял тяжелую руку Кумлев. — Сядьте. Вы видите Нину Викторовну?

— В этом нет необходимости, — ответил Горин.

— Ваша подруга меня очень тревожит... — продолжал Кумлев задумчиво, его желтоватое, пересеченное морщинами лицо окаменело, глаза спрятались в глубоких темных впадинах.

— Слушайте, какая она мне подруга? — вяло возразил Горин.

— Не забывайте, что агентом она стала по вашей рекомендации. Слушайте, я боюсь, что она уходит в кусты. Она манкирует своими обязанностями. Уже два раза не пришла на встречу. Симулирует болезнь. Надо к ней пойти, поговорить, выяснить обстановку.

— Я бы не хотел этим заниматься...

— Почему?

— Если она решила с вами порвать, для неё первое дело — выдать меня.

— Меня тоже, — согласился Кумлев. — Но она же знает, что господина Акселя привели к ней вы. Этого вполне достаточно. А я для нее, как и для вас, — Павел Генрихович, и все. — Глаза Кумлева спрятались в глубоких темных впадинах,

тонкие губы чуть раскрывались. — Вы к ней пойдете сегодня, самое позднее — завтра, и посмотрите, что с ней происходит. Если подтвердится, что она хочет с нами порвать, придется ее убрать. Понятно?

— Я этого делать не стану, — твердо ответил Горин, его смуглые розоватые щеки стали серыми.

— Тогда я сделаю это сам. Чтобы спасти, между прочим, вас, дорогой Михаил Григорьевич. — Лицо Кумлева было неподвижным, как маска, только чуть шевелились тонкие губы. — Да, вот что, я вам дам адрес, где вы сможете покупать продукты. До свидания, Михаил Григорьевич...

Порывистый ветер гулял над Невой, бросая в лица прохожих холодные брызги. Горин шел по мосту, часто останавливаясь и держась за перила, чтобы переждать сильные порывы ветра. Его душила обида — больше всего в жизни он не терпел унижений, на которые не мог ответить. Сегодня с ним разговаривали, как с мальчишкой, да и он сам, как провинившийся школьник, мямлил какие-то жалкие слова, когда ему нужно было говорить с ними смело, резко, на равных...

Уже смеркалось, и Горин ускорил шаг, почти побежал.

На улице Желябова, у портного Смальцова, его уже ждали и сразу же сели за стол. Только Долматов сдал карты, как в репродукторе раздался сигнал воздушной тревоги.

— Пулька под бомбами. Звучит? А? — сострил гинеколог Шухмин.

— Игра ва-банк, — добавил красивым нежным голосом преподаватель консерватории Долматов.

— Ну, а я пока что проверю затемнение, — сказал хозяин квартиры, вставая из-за стола. Он принес из другой комнаты манекен, одетый в морской китель с одним рукавом, поставил его около двери и сказал: — Наша личная охрана. Можно начинать...

Пулька расписывалась ровно, без всяких сюрпризов. Горин рассеянно следил за игрой и переводил внимательный взгляд с одного партнера на другого. Он решил, кого из них назвать завтра Кумлеву.

Он знает их многие годы, с того времени, когда пустил в ход отцовские ценности. Тогда Смальцов — самый модный и самый дорогой в городе портной — шил ему костюмы, он и сейчас носит «его» костюмы... Преподаватель консерватории Долматов был тогда певцом, восходящей звездой, Горину было приятно появляться на людях в обществе несравненного Лоэнгина. А тот любил развеселую жизнь, да денег на нее у него не хватало. Потеряв голос, Долматов стал преподавать вокал, часто говорил про себя: «Ташу воз, нагруженный бездарью», — и был убежден, что его карьеру погубили завистники и бездарные руководители искусства. Горин стал для него живым воспоминанием счастливых лет успеха, им обоим было что вспомнить, и это связывало их по сей день... С гинекологом Шухминым Горин знаком по делу — он выиграл ему судебный процесс о наследстве. Врач так любил карты, что человек, не знающий преферанса, для него попросту не существовал. Его очень любили среди картежников — денег у него всегда было много, а играл он в карты неважно.

Итак, кто? Кого из них он завтра назовет резиденту? Горин с некоторым удивлением думал, что, пожалуй, ни за одного из них он поручиться головой не может... Душевная ржавчина — цинизм — поражала их всех в одинаковой степени, однако по дороге подлости Горин все же ушел дальше всех. Он сейчас понимал это, но, конечно, по-своему — придя к выводу, что ни одного из друзей, сидевших сейчас с ним за карточным столом, он назвать Кумлеву не может, он посматривал на них с чувством превосходства...

Кого же тогда он назовет? А может, отказаться назвать? Сказать, что он ни за кого

не может поручиться так, как за себя. Сам он готов выполнить любое задание — приказывайте. Он даже будет выглядеть человеком серьезным, остро чувствующим ответственность. Они прикажут стрелять... А ничего, когда их армия уже будет ломиться в город, кто сможет уследить за тем, что в это время делал какой-то Горин, да и он сам не дурак, чтобы делать это на виду...

Когда он пришел к этому решению, на душе у него стало легче.

— Что приумолкли, орлы? — спросил он командирским голосом.

Никто ответить не успел. Где-то неподалеку грохнул мощный взрыв, дом качнуло, как корабль, пол ушел из-под ног, стол сдвинуло в сторону. Стоявший у двери манекен с грохотом упал. Горин сидел бледный как полотно, уцепившись за ручки кресла. Долматов вжался в угол около изразцовой печки.

Еще одна бомба легла близко — дом снова качнулся, где-то посыпались стекла, а на дворе раздался истерический крик: «Свет! Свет!»

Когда все стихло, Долматов сказал:

— Мне кажется, надо спуститься в убежище.

Почему-то в репродукторе сигнал тревоги не переходил в стук метронома, и воющий звук, казалось, пронизывал все.

— Да, идемте, — неуверенно сказал Смальцов. — Что-то бьют близко...

Им не хотелось показать друг перед другом своего испуга, и они со смехом стали спускаться вниз.

Надпись на двери в подвал «Бомбоубежище» показалась им очень смешной — будто можно от бомбы убежать. В подвале люди грудились возле двери — «хотят успеть выскочить, когда сюда упадет фугаска». Седенький старичок, который сидел в углу и прижимал к груди потрепанный портфель, — «хранит переписку с тещей, умершей в прошлом веке»... Все им казалось достойным их иронии. Они прошли в дальний угол подвала — подальше от всех — и сели там на пустые зыбкие ящики.

— Бумагу, карандаш, и можно продолжить пульку, — сказал Горин, сдавая воображаемые карты.

И снова стали смеяться.

Напротив них у стены сидела старая женщина. Она с горестным изумлением смотрела на веселую компанию.

— Не знаю, кто вы, но хочу, чтобы вы знали: ваше зубоскальство отвратительно, — сказала она тихо. — Отчего это вам так весело?

— А вы что же, уже хороните народ, а заодно и нашу страну? — спросил Долматов.

— Мой муж был старше любого из вас, а сын был еще мальчик... — сказала женщина и отвернулась к стене.

— У меня плоскостопие! Понимаете? — нелепо сказал Горин.

— Пошли отсюда. — Шухмин первый направился к выходу. Тяжелая железная дверь пропустила их со ржавым скрипом.

Горин, Шухмин и Долматов молча шли по тихой и безлюдной улице Желябова, они точно забыли, что тревога не кончилась и хождение по улицам запрещено.

Из ворот вышла и стала на их пути маленькая девчушка.

— Куда идете? Тревога! — крикнула она простуженным голосом.

— Черт с ней, — не останавливаясь, огрызнулся Долматов.

— Что? Стойте! — повысила голос девчушка.

Горин грубо отстранил ее.

В этот момент перед ним появился пожилой мужчина в штатском, с винтовкой за плечами.

— Вы что хулиганите? — спросил он. — Предъявите документы! Леша, удержи остальных! — приказал он кому-то в темные ворота, и оттуда выбежал паренек, который быстро догнал Горина и Шухмина.

Всех привели в подъезд Эстрадного театра, где в вестибюле горел свет. Пожилой мужчина с винтовкой подолгу рассматривал каждый документ. Наконец он снял очки и удивленно уставился на приятелей.

— Что же это вы, товарищи, ведете себя так? — спросил он удивленно, беззлобно. — Война ведь. Час комендантский. И, наконец, тревога объявлена. И люди вы, я вижу, культурные. Как же так?

— Культурные, а толкаются, как последние хамы, — сказала девчушка.

— Виноваты. Сознаемся, — добродушно ответил Долматов. — Если разрешите, мы здесь, на ступеньках, посидим до отбоя.

Только в третьем часу ночи Горин отпер дверь своей квартиры, вошел в переднюю и вскрикнул — прямо перед ним в темноте стояло, чуть покачиваясь, что-то белое. Он поднял трясущуюся руку к выключателю.

— У нас не горит свет, — услышал он голос матери. — Не сплю... Все еще тревога?

— Кончилась тревога. Давно кончилась, — недовольно сказал Горин и вслед за матерью пошел в столовую. Здесь горела свечка.

— Сядь, нужно поговорить, — непривычно властно сказала мать, и Горин послушно сел к углу стола, удивленно глядя на нее.

— Я хочу сказать тебе, сын... — начала она. — То, что ты отвернулся от бога, — общее заблуждение. То, что ты отвернулся от матери, — грешно. Но это мой грех! Денно и ночью молюсь за грехи свои. Молюсь, чтобы спасти хоть душу...

Горин слушал и не верил своим ушам — он считал, что мать не может и двух слов связать, а тут вдруг целая проповедь. Чего она хочет от него — это даже интересно. Нет, положительно все сегодня его воспитывают. Все, кому не лень...

— Но то, что ты отвернулся от народа своего единственного, от земли родной, — такой грех замолить нельзя. И жить с таким грехом тоже нельзя.

— Про что это ты? — Горин от неожиданности и изумления сдернул с носа очки, точно они мешали ему смотреть.

— Ты думаешь, я слепая дура? Ничего не вижу? Ничего не понимаю? Бог давно открыл мне глаза и вернул мне все, что отнял у меня твой отец, да и ты тоже. И это бог наставил меня сказать тебе: остановись... иди с народом...

— Хватит! Хватит чепуху пороть! — закричал Горин. — Свихнулась на старости лет вместе со своими попами! — Он вскочил и направился в соседнюю комнату. Но мать пошла вслед за ним, стала в дверях и, подняв руку со свечой, молча смотрела, как он срывает с себя рубашку.

— Гнев твой мне не страшен, — вьедливым голосом продолжала она. — А гнева божьего страшусь, ведь твой грех я на себя беру. И молюсь я за нас обоих. Тебе-то дорога к богу закрыта... — Она помолчала и вдруг с давно позабытой нежностью сказала: — Миша, Мишенька, пожалей себя и меня, Мишенька...

Горин не сразу понял, что она плачет. На какое-то мгновение сердце его защемило остро, мучительно, но он злобно закричал:

— Отвяжись от меня наконец! Слышишь? Я устал! Отвяжись!

Сегодня я видел первого партизана!

Он стоял в коридоре Смольного, окруженный толпой военных, и все смотрели на него как на чудо заморское.

Стройный парень-красавец. В прошлом спортсмен. Веселые черные глаза, мягкий украинский говор. На нем куртка из серого деревенского сукна, замусоленная кепка. Смотрю на него, пытаюсь представить себе, как он там, день за днем, живет среди врагов, — и не могу.

Вот его ответы на бесчисленные вопросы окружавших его людей:

— Военная трудность поначалу была одна — тыла нет, куда ни повернешься, а за спиной фронт. Привыкли. А сейчас уже есть деревни, куда немец и носа не кажет, и это — наш тыл...

— Живем в земле-матушке, надежней места нет...

— Когда снег выпадет, станет труднее. Наш командир говорит: помогут метели. Приспособимся.

— Кормимся прилично. Колхозник наш — святой человек, сам голодает, а нас кормит. А его еще немец грабит, да как!

— Пришел я за батареями для рации и еще вот получил ватман для стенгазеты, а то выпускали на немецких плакатах, на обратной стороне...

— Два дня шел. Сам виноват, пошел через болото, думал, оно высохло, а потом крюку дал...

— Что в Ленинграде плохо, знают все. Фашисты по крестьянским хатам бахвалятся, что задушат вас голодом. Так колхозники решили ответить на это по-своему — послать в город по первопутку обоз с продуктами. Честное комсомольское! Уже продукты собирают! С нами связываются, чтоб помогли проскочить. Командир наш обещал...

— В нашем отряде три женщины. В других есть и побольше...

Глава четырнадцатая

Бродя по заметно опустевшему зданию киностудии, Нина Клигина читала вывешенные на стене приказы, распоряжения, разговаривала с сослуживцами, но все это было словно из какой-то другой и не касавшейся ее жизни. Дома она не подходила к телефону и все повторяла себе: «А-а, все равно». Эти слова стали для нее заклинанием от тревог и неприятностей, выражали они чаще апатию, но иногда и решимость — вот не ходит она на свидания с Павлом Генриховичем, не ходит и не боится: «А-а, все равно!».

А как же со счетом за унижения? Как с обещанной ей Акселем иной жизнью? Пропави все пропадом, если для этого надо встречаться с желтолицым типом без фамилии, в глазах которого она читала только презрение и брезгливость.

Постепенно исчезли куда-то все ее поклонники. Остался лишь капитан-лейтенант Саша Грушевский, его назначили в какую-то комендатуру. После двух суток дежурства он сутки свободен и тогда приходит к Нине с неизменной бутылкой вина и какой-нибудь едой. Говорит, что любит ее, но мечтает попасть на корабль и «уйти в настоящую войну», все пишет об этом кому-то рапорты, за которые его «пропесочивают». Он ей не нравится, с ним скучно, но он всегда остается ночевать... «А-а, все равно...»

Что же все-таки случилось, что вдруг переменялось в ней? Когда? Почему? Она старается об этом не думать, но совершенно точно знает, что это произошло после ее неожиданной поездки в пионерский лагерь...

Вырвавшись на рассвете из Ленинграда, автобус с надписью «Киностудия» мчался прямо на запад, на Таллинн. Где-то впереди, на 72-м километре, будет поворот налево, и там рукой подать — пионерлагерь с ребятами сотрудников киностудии. Автобус должен забрать детей и сразу же возвращаться в Ленинград. Кроме пожилого шофера Игнатъича, ехали председатель месткома студии Лукьянов, представитель комитета комсомола Миша Пронин и Нина Клигина, попавшая в эту поездку, наверно, только потому, что у нее на студии по-прежнему не было никакого конкретного дела, да кто-то сказал еще, что в такой поездке нужна женщина — в лагере много девочек.

В то время многие пионерские лагеря с ленинградскими ребятами оказались на пути приближавшейся войны. Игнатъич знал, что на полчаса раньше из Ленинграда выехали два автобуса завода имени Лепсе, он хотел их догнать, чтобы ехать вместе. Свой старый автобус он разогнал до скорости 80 километров, но, еще не доезжая шоссе, пришлось остановиться, автобус уперся в хвост бесконечной военной колонны грузовиков и тягачей с орудиями.

Над оставшимся позади дымным городом поднималось тихое утро. Справа от шоссе стелилась необозримая равнина пригорода, на горизонте под темной полоской неба угадывалось море. Клигина бездумно смотрела туда и проклинала себя за то, что в недобрый час попала на глаза предместкома Лукьянову: хорош гусь, то делал грязные намеки насчет ее морального облика, а то вдруг «ответственное поручение коллектива» и все такое прочее. Если бы он сам не ехал, она ни за что не согласилась бы... А сейчас этот Лукьянов, видимо, начисто забыл о своих намеках, был с ней на «ты» и называл не иначе как «Ниночка».

Колонна впереди не двигалась. Крупный и рыхлый Лукьянов вылез из автобуса и пошел вдоль колонны вперед.

— Эй, толстый, впрягайся пушку тащить! — крикнули ему с грузовика. Лукьянов повернулся, чтобы ответить, но в это время с другой машины закричали: — Эй, брюхо! Не в ту сторону бежишь!.. — Красноармейцы начали хохотать, показывая на него друг другу. Лукьянов повернул назад к автобусу — вслед ему неслись насмешки, хохот.

Клигина, с интересом наблюдавшая это из окна, ликовала. Лукьянов влез в

автобус, сердито приказал шоферу обгонять колонну. Игнатич недовольно кряхтел, но завел мотор и вывел автобус из потока. Они уже проехали половину пути до развилки, как вдруг навстречу от Нарвы выкатилась воинская колонна.

подавать назад было некуда, и мгновенно вокруг автобуса киностудии закрутилась дорожная пробка. Началась ругань. Шоферы показывали Игнатичу кулаки и грозились опрокинуть автобус в канаву. Лукьянов сидел сгорбившись на своем месте и точно ничего не видел и не слышал. И тогда со своего места встала Клигина...

Она открыла дверь, сошла в самую гущу орущей толпы, быстро сообразила, кто тут поглавной, и пошла к нему. Это был танкист, майор.

— Что же это происходит, товарищ майор, — начала она громким и ясным голосом. — Это автобус киностудии, мы едем к своим кинооператорам, которые ведут военные съемки, а нас грозят опрокинуть в канаву.

— Кто вам грозит? — сурово спросил майор, но чем дольше он смотрел на красивую Клигину, тем заметней с его лица сходила строгость. — Все сделаем... сделаем... — словно поперхнувшись, сказал майор.

Это было похоже на чудо — пробка стала раздвигаться, и майор, раскинув руки, пошел впереди автобуса в образовавшемся просвете. Вскоре автобус, миновав развилку, выкатился на шоссе. Дальше путь был свободен. Майор вскочил на подножку автобуса и крикнул Клигиной:

— Давай, красавица, вперед! Снимайте там получше!

Когда автобус развил скорость, Лукьянов крикнул:

— Молодец, Ниночка! Давай командуй и дальше, а то мое брюхо на солдат плохо действует...

Нина даже не повернулась в его сторону и продолжала смотреть в окно.

Долго они ехали без всяких приключений, но километров за пять до поворота с шоссе, как раз когда встретились с воинской колонной, попали под бомбежку.

Вслед за Игнатичем и Лукьяновым Клигина выскочила из автобуса, и они побежали в придорожные кусты. Только когда упала первая бомба, запыхавшийся Игнатич сказал:

— А парень-то остался в машине. Спит.

Миша Пронин действительно, как выехали из Ленинграда, лег на заднее сиденье и спал беспробудным сном. Клигина даже позабыла про него. Сейчас она, не раздумывая, побежала назад. В это время немецкий самолет прошел над шоссе на бреющем полете, разбрасывая бомбы и поливая землю из пулеметов. Лежащие на земле бойцы кричали что-то Клигиной, но она продолжала бежать. Толчок жаркого воздуха швырнул ее на землю, и она, упав лицом в песок, замерла, ожидая удара. Но его не было, как молотом по железной бочке било там, впереди, на шоссе, под ней волнами ходила земля. Клигина подняла голову и увидела Мишу, который, как заяц, делая зигзаги, бежал от шоссе в кусты.

Самолеты улетели. Командиры скликали солдат. С криком «а ну, взяли!» десяток бойцов ставил на колеса опрокинутый взрывом грузовик. Никто не пострадал, даже раненых не было. Однако в своем автобусе Игнатич обнаружил две рваные дырки в кузове. Он сел за руль и осторожно завел мотор, но он заработал как ни в чем не бывало. Клигиной вдруг стало безотчетно весело, и она начала рассказывать, как бежал, делая петли, Миша Пронин. Парень вместе с ней громко смеялся, а лицо у Лукьянова было землистого цвета.

«Плохо ему, что ли?» — подумала Клигина и вдруг вспомнила о своей тайне,

вспомнила Павла Генриховича и свой страх перед ним, и сразу все вокруг как-то перевернулось. «А-а, все равно!» — подумала она и опять стала смеяться с Мишей.

Когда автобус добрался наконец до пионерского лагеря, ребят там уже не было — еще утром их увели на поезд. Поехали на станцию, это было недалеко, всего пять километров. Объезжая разбитый мост, автобус завяз в прибрежном песке. Все попытки вытащить тяжелую машину ни к чему не привели, автобус только еще глубже ушел в песок. Решили: Лукьянов вместе с шофером останутся у автобуса, а Клигина и Миша пойдут на станцию и по обстановке — или будут дожидаться автобуса, или уедут с ребятами на поезде.

Они уже собрались уходить, когда из леса на том берегу реки послышались выстрелы и пули просвистели совсем близко, одна щелкнула в железный кузов автобуса. Лукьянов совсем растерялся, тяжело дышал, вытирал пот. Клигина сказала, что автобус надо оставить и всем идти на станцию. Игнатъич наотрез отказался, да и все понимали, что за машину ему может крепко нагореть. Лукьянов сказал, что ходок он никакой и остается с шофером.

Когда начало темнеть, Нина Викторовна и Миша пошли к станции. Они знали направление и двинулись напрямик, через густой еловый лес. Сначала казалось, что идти нетрудно, только неприятно было, что ноги скользили и вязли в сухом песке. Но когда темнота стала гуще, они стали наткаться на деревья, проваливались в невидимые канавы и ямы. Налетела гроза с ливнем. Они забились под ель и долго сидели, но дождь не прекращался, стало капать через ветви, они промокли до нитки. Клигина вздрагивала при каждом ударе грома, потом ее начало трясти. В это время в затяжном мерцаньи молний они увидели бежавших по лесу людей.

— Ой, немцы... — прошептал Миша.

Зубы у Клигиной начали выстукивать мелкую дробь. Истерика началась не сразу, она боролась, старалась взять себя в руки, но вдруг зарыдала в голос, дергаясь всем телом.

— Нина Викторовна, тише, не надо... — шептал Миша и гладил ее по плечу. — Не надо, Нина Викторовна, прошу вас...

Приступ истерики постепенно прошел, но отчаяние, охватившее ее, не проходило. И вдруг она тоскливо подумала: «Знать бы, где немцы...»

— Главное, Нина Викторовна, не заблудиться, а то ведь... понимаете... вот что страшно-то, — сказал Миша, точно подслушав ее мысли.

Она вскочила, ударилась о сучья и снова опустилась на колени.

— Идем, идем, — повторяла она, но не пыталась подняться.

Миша помог ей встать, и они пошли, поддерживая друг друга...

На рассвете они вышли к станции. Собственно, никакой станции тут не было, только дощатая платформа на сваях и на ней посредине павильончик размером с пивной ларек. Вокруг платформы, на рельсах и около лесочка, сидели и лежали ребяташки. На платформе спали впокат, тесно прижавшись друг к другу. А около павильона, сбившись в кучку, взрослые спорили о том, что делать — ждать поезда или идти пешком по рельсам.

Миша быстро нашел вожакого из своего лагеря и узнал, что со вчерашнего вечера здесь находятся ребята из четырех лагерей. Никаких поездов с того времени не было. Решили вести ребят по рельсам, но не знали, как поступить с больными — их было около двадцати. Они лежали и сидели на голом дощатом помосте, под крышей станционного павильончика. Клигина осталась возле этих ребят...

Взошло солнце. Странно и дико прозвучал сигнал подъема. Ребята, спавшие

кучками, прижавшись друг к другу, задвигались, вскакивали, удивленно оглядывались. Коренастый паренек с галстуком на шее начал строить ребят в длинную шеренгу.

— Тетя, можно я пойду на линейку? — еле слышно спросила Клигину девочка с воспаленным лицом и красными глазами. Она стала подниматься, но Клигина уложила ее и плотнее закутала в одеяло.

На лужайке перед станцией слышались веселые ребячьи голоса. Гроза, очевидно, миновала это место, и ребята неплохо выпались. Может быть, они думали, что это военная игра, которую им обещали. Снова раздался сигнал трубы, и ребята побежали к речке.

— Пить... пить... пить... — просила больная девочка.

Клигина взяла у незнакомой женщины бутылку и отправилась к реке. Когда она вернулась, пить просили еще несколько ребят. Они быстро осушили бутылку, и Клигина снова сходила за водой.

Солнце поднималось все выше. Ребята вспомнили о еде, спрашивали, когда завтрак.

Но тут показался поезд...

Он уже был набит детьми из других пионерских лагерей, однако посадили всех ребят и взрослых, а Клигина сумела своих больных даже положить. Ей помогли две женщины — массовик и повариха из лагеря.

Дети сидели не только на скамейках, а сплошь на полу, те, кто постарше, стояли. Поезд шел медленно, часто останавливался, и тогда паровоз протяжно гудел. В вагонах делалось все более шумно — дети шалили, дрались, плакали, просили есть, звали маму, орали. Постепенно все поглотившим звуком стал плач. Взрослые ничего не могли сделать, никакие уговоры не помогали. Только больные ребята лежали тихо на полках, прижатые друг к другу...

Вокзал был полон встречающих родителей — обезумевшие от страха и горя, они метались по перрону, отыскивая своих детей.

Мать маленькой Кати, плача, обнимала и целовала Клигину. Каждый из родителей, кто брал больного ребенка, говорил что-то хорошее, сердечное, все плакали.

До темноты она бесцельно бродила по городу, а потом пошла домой и тотчас легла спать. Сразу как в яму провалилась, но разбудил стук в дверь.

— Ниночка, к вам, извиняюсь, гости пришли, — сказала соседка через дверь паточным голосом.

— Скажите, меня нет дома, — ответила Клигина.

Соседка, засмеявшись, сказала кому-то:

— Слышите? Ее нет дома...

«Змея чертова», — подумала Клигина и в следующее мгновение уснула.

На другой день утром ей позвонил Павел Генрихович. Он был очень вежлив, справился о здоровье и предложил через час встретиться.

— Через час я на месте, — сказал он и повесил трубку.

Клигина вернулась в комнату и долго стояла у окна. Мысль пойти в милицию и все там рассказать уже не раз последнее время приходила в голову, но останавливал страх.

Нет! Не станут они разбираться. Нет! Упрячут в тюрьму — и конец... Но как ей отвязаться от этого дьявола? Послать его подальше, и вся недолга! А если начнет наседать, пугнуть милицией... «Пойду последний раз», — решила она.

Они встретились на углу Гостиного двора, возле Думы.

— Что с вами было вчера? — спросил участливо резидент, но его крупное, грубое лицо было неподвижно.

— Ничего... — удивилась она, подняв домиком густые брови.

— К вам приходил мой человек, он нуждался в ночлеге, а вы даже не впустили его? — Павел Генрихович говорил, казалось, одними губами своего большого рта, очерченного по сторонам глубокими морщинами.

— Я плохо себя чувствовала. Что, я не имею права на это? — Большие зеленоватые глаза смотрели с вызовом. Она была очень красива сегодня.

— Ну, зачем вы так, Нина Викторовна, — поморщился он, и его лицо немного шевельнулось. — Я же с вами по-человечески... Мало ли что может быть, я же понимаю. Но я три дня звонил вам, вас не было. Или вас не было так же, как вчера? — улыбнулся он совсем добродушно.

— Я была в командировке, меня посылали за ребятами в пионерлагерь. Я ведь нахожусь на службе, где мне дают жалованье и карточки...

— Я все же думаю, что у меня вы получаете больше, — снова улыбнулся резидент.

— Я была в командировке. Вернулась вчера. Устала. Вот и все.

Павел Генрихович долго молчал, смотрел на нее серьезно и сочувственно.

— Я рад, что все обстоит именно так, — сказал он. — Значит, наша договоренность остается в силе?

Она кивнула.

— Ну и прекрасно, — он протянул ей аккуратный сверток. — Это жалованье...

Нина Викторовна не сразу протянула руку, и он заметил это.

— Берите, берите, я спешу.

Нина взяла сверток и торопливо сунула его в маленький черный чемодан, который всегда носила с собой.

— Прощу извинить за беспокойство, у меня дела, — любезно сказал Павел Генрихович, приподнимая шляпу. Он не спросил у нее донесений и не дал нового задания.

На двери коммунальной квартиры около звонка висел маленький список: Михеевым — 1, Костровой — 2, Клигиной — 3, Петрову — 4.

Горин позвонил два раза. Соседка, знавшая Горина в лицо, недовольно буркнула, что звонить надо три раза, и пошла на кухню.

Горин без стука открыл дверь и быстро вошел.

Нина Викторовна спала. Горин зажег свет, снял пальто, сел к столу и стал стучать ложкой о блюдце. Сначала тихо, потом сильнее и сильнее. Когда она пошевелилась, он громко спросил:

— А где же вино?

Нина Викторовна быстро повернулась на свет и, ничего не понимая, смотрела, сощурившись, на Горина. Как всегда, чисто выбритый, отглаженный, он, развалясь, сидел на стуле и пьяно ухмылялся.

— Боже, что за дурь? — пробормотала она и, узнав Горина, спросила спокойно: — Зачем ты здесь?

— Как это зачем? Что за вопрос? Выпить хочу. Провести время с красивой женщиной, которая когда-то меня любила...

— Убирайся вон сейчас же, — тихо сказала Нина Викторовна.

— Если мне здесь не дадут выпить, я не уйду, — упрямо ответил Горин. Ей показалось, что он сильно пьян.

— Я вытолкаю тебя в шею. Слышишь?

Она потянула со стула халатик и, прикрывшись им, встала.

— Ты слышал, что я сказала? У меня здесь не забегаловка. Убирайся!

Горин встал, покачиваясь, и протянул к ней руку.

— Вон, — тихо сказала она.

— Я пришел по делу, — вдруг трезво сказал он.

— Что еще за дела?

— Которые как сажа бела. Дела доктора Акселя.

— Говори, что надо, и убирайся, — ответила Нина и опустилась на стул.

— Нина, я трезв как стеклышко, — помолчав, начал Горин. — Но меня тошнит от страха. Честное слово, в открытую тебе говорю. Я потому и пришел.

— Что ж такое получается? Сам пихнул меня в эту яму и теперь идешь ко мне плакаться? Уж лучше молчал бы, не позорился.

— Ты говори что хочешь, а я пришел тебе сказать, что хочу бежать с корабля. Поняла?

— С чего бы это ты такого страху набрался? Немцы-то прут... — Нина Викторовна возражала не потому, что так на самом деле думала, она просто ни во что не ставила Горина, не верила ни одному его слову. И еще ей доставляло удовольствие издеваться над его трусостью. — Ты что же, милиции боишься, а встречи с доктором Акселем — нет? — спросила она.

Горин, уронив голову на руки, ткнулся лицом в стол.

Нина Викторовна смотрела на его кудрявую голову и не знала, верить ему или нет.

— Как мы весело жили, Нинка... — тоскливо сказал Горин, чуть приподняв голову.

— Куда уж веселее...

— Можешь насмешничать сколько хочешь... — продолжал Горин. — Я тебе от сердца говорю, как никогда, может, не говорил.

— Ты ж однажды и в любви объяснялся. Так то не от сердца было?

— Скверно я жил, Нина. Скверно, — с готовностью признался Горин.

— Вот и пойми тебя: то говоришь, весело жил, а то — скверно.

— Да, Нина, именно так: весело, но скверно. Спроси ты у меня сейчас: чего я полез в объятия к этому доктору, я ответить тебе не смогу. Если до конца сознаваться — из-за бабы все получилось. Там у них немочка одна работала в консульстве. Мечта идиота — женюсь на немке, буду ездить к ней в Германию и так далее... А она... Ловкие, одним словом, люди, кого хочешь поймают на крючок. Вот и ты тоже...

— Меня с собой не равняй, — ровным голосом сказала Нина. — Я-то поверила в сказки твоего Акселя: отомстите за унижения, вы достойны иной жизни, вы ее получите...

— А может, и получишь, Нин? — вдруг спросил Горин.

— Я жить не хочу, — устало ответила она.

— А я, Нина, хочу. Жить! Понимаешь? — шепотом сказал он. — Потому и хочу бежать... от них... Понимаешь?

— Куда? Куда ты можешь убежать?

— Хотя бы на фронт, — серьезно и решительно сказал Горин. — Уйти добровольцем — и концы в воду...

И вдруг в голове у нее мелькнуло, что вдвоем убежать было бы легче. Лицо ее стало другим. Она широко раскрыла глаза и рот.

— Давай вместе подорвем. А? — продолжал Горин. — Тебя же в медсестры с руками оторвут. А? Нина? В одиночку хуже.

Она крепко сжала губы и, глядя на Горина, как бы ждала от него какого-то главного, решающего слова. Но не дождалась и сказала:

— Не верю я тебе, Горин. А хотелось бы поверить. Понимаешь? Ты сейчас иди.

— Куда идти, Нина? Наверно, уже комендантский час. Заберут...

— Иди. Ничего не хочу знать — иди, и все. Я хочу остаться одна. Позвони завтра...

Горин с огорченным видом взял свою шляпу и медленно пошел к двери...

На другой день рано утром ему позвонил Кумлев.

— Как насчет моего поручения? — спросил он.

— Я у нее был, — ответил Горин.

— Ну?

— Можно ожидать чего угодно.

— Понял, спасибо, — услышал он в ответ. — Хочу заметить, что вы сделали, может быть, самое серьезное дело за все наше знакомство. Еще раз спасибо. До свидания...

Корреспонденции в Москву передаю по радиотелефону. Всякая связь по проводам прервана. Немцы без труда обнаруживают меня в эфире и, когда я начинаю диктовать, настраивают свои передатчики на нашу волну, обкладывают меня родным матом с немецким акцентом и разъясняют, что они со мной сделают, когда придут в Ленинград, — в общем, ничего хорошего меня не ожидает... Они сильно мешают — все их словесные упражнения попадают в Москве в аппаратную звукозаписи. Запись производят на специальную пластинку, откуда вырезать немецкую ругань почти невозможно. Обычно московские техники просят меня повторить передачу, а ленинградские техники в это время быстро

меняют волну. Но к концу корреспонденции фашисты снова подстраиваются.

— Я тебя, красный собака, найду, где бы ты ни спрятался, — кричал немец, и было слышно, как он хрипло дышал.

Я тоже закричал:

— А я тебя и искать не буду, сволочь, гад! Тебя найдет наша русская пуля или штык...

— А вашего фюрера мы повесим, — добавил ленинградский техник. Немец буквально взвыл от бессильной ярости, он даже перешел на немецкий.

И все же, наслушавшись яростной немецкой брани, выходишь из радиокомитета на улицу несколько взвинченный. Но видишь город и как-то сразу успокаиваешься.

Спокойствие города просто поразительно. Конечно, военный накал жизни ощущается, есть ожесточение, но вместе с тем в городе идет абсолютно нормальная жизнь. Позавчера мне сказали, что университет готовится 5 декабря отметить 50-летие выдачи Ленину диплома об окончании юридического факультета. Ходил проверять — все правда. Будет доклад. Будут выступления. Готовится выставка документов.

Ленинградский радиокомитет — мой главный ленинградский дом, моя служебная база. Этот мрачноватый дом стоит в глубине короткой улицы Пролеткульта. На пятом его этаже есть комнаты, напоминающие фронтовые помещения. Если забыть, что это пятый этаж и что за стенами огромный город, то можно представить себе, что ты находишься в просторной прифронтовой избе. Там живут и работают работники радиокомитета во главе с Виктором Ходоренко. Стучат пишущие машинки. Редакторы корпят над рукописями. Вниз, в студии, отправляются выпуски «Последних известий», программы художественных передач. Радио работает как часы, никаких перебоев, кроме тревог. Город в курсе жизни всего мира и в первую очередь — своей Родины. Радио говорит с ленинградцами откровенно, ничего не скрывая. Очень спокойно говорит. Мне думается, что в спокойной уверенности города радио играет очень большую роль.

На совещании в Смольном товарищ Кузнецов сказал, что без света жить еще можно, а вот без радио — нельзя. И он назвал радио душой города...

Глава пятнадцатая

Чепцов проснулся от непонятных звуков в передней. Осторожно встав с постели, он на носках подошел к двери и прижал ухо к щели — в передней кто-то ходил. Кроме хозяйки, вроде некому. Что она там затеяла? Шлепающие шаги проследовали в соседнюю комнату, заскрипела деревянная кровать. Конечно, это она! У нее бессонница. Надо зажать нервы в кулак.

Чепцов вернулся к дивану, на котором спал, и залез под одеяло. Но сон не приходил.

Из всех проверенных им здесь людей реальными фигурами для решения главной задачи были только сам резидент и фотограф Соколов. Горни серьезного испытания может не выдержать. Надо думать, резидент показывал ему лучших... Воспоминание об этом снова привело его к размышлению о Кумлеве. Все-таки странно, что, прожив здесь столько времени, тот не собрал вокруг себя большую группу надежных людей. Он ссылается на то, что вербовка новых агентов ему была запрещена и он мог вести только предварительный учет антисоветски настроенных людей. Вербовку осуществляли другие — то ли консул, то ли сам Аксель, словом, не он.

Но дело в том, что вызывают серьезное сомнение и те люди, которых Кумлев держал на своем учете. Он представил довольно обширный список. Чепцов сам выбрал трех и попросил устроить ему свидание с ними. Из этого ничего не вышло. Одного Кумлев не смог найти в городе и от соседей узнал, что он ушел в народное ополчение. Другой не пришел в назначенное время. Удалось встретиться только с Аркадием Константиновичем Валуевым. В списке Кумлева он значился как офицер царской армии. Генштабист. Его антисоветские убеждения характеризовались как давние и принципиальные. Вчера Кумлев привел его к Струмилиной.

Это был мужчина лет пятидесяти на вид, с густой волнистой шевелюрой, с лучистой улыбкой, с плавными движениями сильного крупного тела и мягким, вкрадчивым голосом. Чепцову казалось, что гость хитрит — играет благорасположение и уверенность, а на самом деле напряжен до предела.

Кумлев с хозяйкой вышли в другую комнату. Чепцов и Валуев остались вдвоем.

— Насколько я понимаю, нам созданы условия для беседы, давайте не терять времени, у меня дома больная жена... — Валуев сел к столу и показал Чепцову на кресло с другого края.

Чепцов не спеша сел.

— Извините, но я слушаю вас... — мягкая улыбка не сходила с лица Валуева, и это сбивало с толку Чепцова, он не знал, как начать разговор.

— Я слышал о ваших настроениях, Аркадий Константинович, — начал Чепцов, поглаживая свою ежистую голову.

Валуев удивленно приподнял густые брови и пробормотал:

— Я сам не разберусь в своих настроениях...

— Меня интересует довольно общий вопрос, — продолжал Чепцов. — Как вы думаете, принял русский народ большевистский режим или он надеется на что-то другое?

Лицо Валуева стало серьезным:

— Надо очень хорошо знать жизнь государства и его народа, знать изнутри, чтобы ответить на этот вопрос ответственно и точно.

— Но я прошу не статистику, а ваше личное мнение. Ваше. Личное, — повторил

Чепцов.

— Видите ли... — на лице Валуева появилась задумчивая улыбка. — Александр Блок однажды, размышляя о русской революции, которая тогда только что совершилась, сказал, что понятие «революционный народ» не вполне реальное. Я думаю, что понятие «контрреволюционный народ» тоже нереально. Народ — это сама земля с ее разнородными слоями. Если отвечать примитивно на ваш вопрос, то кто-то не только примирился, но и исповедует большевистский режим... а кто-то его только терпит... а кто-то и рвется в бой с ним.

Чепцов помолчал.

— А вы сами... где? — спросил он. Все, что угодно, но таких разговоров он не ожидал.

Валуев поднял голову и, смотря вверх Чепцова, сказал медленно:

— Я не примирился. — На лице его мягкая улыбка, и он продолжал: — Но это факт из моей личной биографии — не больше. А вот моя жена, представьте себе, она исповедует.

— Согласитесь, однако, — перебил Чепцов, — если таких сугубо личных биографий, как ваша, много, могут произойти события далеко не личного порядка.

— Какие, простите, события? — мягко спросил Валуев, но Чепцов видел, что он прекрасно понял, о чем речь, и сейчас просто выигрывает время, чтобы лучше обдумать ответ.

— Какие? — Чепцов откинулся на спинку кресла. — Например, свержение большевиков.

— А если окажется больше биографий такого типа, как у моей жены? — Валуев говорил спокойно, не переставая улыбаться глазами.

— Политика — это не арифметика, — сказал Чепцов. Ему было трудно разговаривать — беседой владел Валуев.

— Трагическая ошибка кумира моей юности Бориса Викторовича Савинкова была в том, что он не умел считать... — продолжал Валуев. — Сколько раз я слышал от него эти слова: «свержение большевиков», «свержение большевиков». А кончилось тем, что он явился к этим самым большевикам и публично признал свою жизнь ошибкой. Вспомните, сколько еще было таких попыток свергнуть большевиков? Пора уже над этим серьезно задуматься.

Чепцов молчал. У него не было убедительных доводов против позиции Валуева, кроме одного...

— Сейчас совсем другое положение, — сказал он. — Сейчас за спиной каждого, кто не примирился, стоит по немецкой дивизии.

— А надо, чтобы эти дивизии были русскими, — сказал Валуев.

— Господи! Какая разница в том, кто нам, русским, поможет сбросить большевиков? — Чепцов уже не мог больше сдерживаться, его настоящее состояние вырвалось наружу. — Это чистоплюйство русской интеллигенции уже стоило России неисчислимо дорого!

— Нет, нет и нет, — категорически и спокойно ответил Валуев. — Немецкие дивизии не будут свергать большевиков для русских, и оттого, что в Кремле большевиков заменят немецкие эмиссары, русскому народу легче не станет. Как бы не стало хуже. И я уверен, вы это сами знаете.

Чепцов, не скрывая своего возмущения, смотрел на Валуева и ждал, что тот скажет еще.

Валуев встал.

— Я должен идти... — Снова на его губах шевельнулась улыбка. — Я-то со своей непримиримостью к большевикам живу на иждивении жены, а сегодня по карточкам обещана крупа. Реализация карточек — моя обязанность. Надеюсь, что имел дело с достойным человеком и что наша беседа останется между нами. Будьте здоровы. — Он поклонился и направился к выходу.

Чепцов решил ускорить свое возвращение в Новгород, он был убежден, что не узнает больше ничего нового или опровергающего сложившиеся у него выводы. Сейчас он вместе с Кумлевым шел к радисту Палчинскому, чтобы запросить Центр о месте перехода фронта.

Как сформулировать выводы для Акселя? Чепцов понимал, что его выводы могут иметь далеко идущие последствия. Все, в общем, ясно — запланирована организация в этом городе вооруженного выступления в помощь армии. Он послан проверить готовность к этому и теперь обязан отвечать на все вопросы руководства прямо и точно.

Как же он ответит? О готовности к выступлению не может быть и речи. Спросят: вообще или в данный момент?..

Холодный ветер хлестал в лицо, упруго толкал в грудь. Кумлев тяжело шагал рядом и свинцово молчал. Чепцов чувствовал его неприязнь к себе. Конечно, проще всего было сказать, что готовность сорвана резидентом, который давал неправильную информацию. Аксель говорил, что жизнь Кумлева среди большевиков — подвиг. Но почему эта жизнь оказалась такой бесплодной в решающий час? Почему эта жизнь была столь благополучной? Известно, что лучший способ стать неуязвимым для любой контрразведки — это бездействие.

Они перешли Дворцовый мост и по набережной вышли на Большой проспект Васильевского острова.

— Далеко еще? — спросил Чепцов.

— Двадцать минут, — ответил Кумлев, не повернувшись.

В самом начале Большого проспекта их настигла воздушная тревога. Противно завывали, казалось, все дома вокруг. Но улицы вдруг оживились — у подъездов, в воротах домов появились дежурные бойцы ПВО. Две пожилые женщины с противогазами через плечо остановили их и заставили пойти в ближайшее убежище. И тотчас началась сильнейшая бомбежка.

Они спустились в подвал трехэтажного дома, построенного, должно быть, еще в петровские времена, стены у него были толстые, подвал выглядел как мощная подземная крепость. Взрывы доносились сюда приглушенно, и только чуть вздрагивал земляной пол. Когда бомба падала близко, подвал, казалось, покачивало, и тогда лица людей вытягивались, становились беспомощно-жалкими.

Третий раз Чепцов попадал в убежище, и каждый раз он испытывал здесь неизъяснимое чувство. Ему доставляло удовольствие видеть, что этим людям страшно. Тем самым людям, которых он боялся и о которых он твердо знал — это его смертельные враги. Скажи им сейчас, кто он, — растерзают...

Чепцов посмотрел на Кумлева и вдруг подумал о нем совсем иначе — ведь Кумлев прожил столько времени среди этих людей — тогда им еще не было страшно, — это среди них он отыскал и фотографа, и Горина, и того переметнувшегося священника, и нэпмана, который золотом откупался от большевиков. Наконец, здесь работал сам Аксель. И не кто иной, как он, писал в своем меморандуме, что организовать здесь «пятую колонну» будет очень трудно. А не стоит ли вообще отказаться от этого? Такой город надо брать силами армии в прямом бою...

Первый раз эта мысль возникла у него, когда он стоял на улице Желябова перед своим пятиэтажным домом. Это была только часть отныне принадлежавшего ему отцовского богатства. Он вернулся сюда, чтобы завладеть всем, что ему принадлежало по праву. Его путь сюда был очень труден. Было бы безумной несправедливостью сломать голову, не дойдя одного шага до заветной цели. И зачем излишний риск? Немецкая армия все равно сломит сопротивление этого проклятого города.

Где-то поблизости одна за другой упали три тяжелые фугаски, подвал закачался, у сидевших в подвале людей остановились глаза. «Да, да, именно так, иначе с ними ничего не сделаешь», — сказал себе Чепцов. В этот момент он решил рассказать Акселю все, что думает о трудностях организации «пятой колонны», но он не будет утверждать, что нужно от этого отказаться совсем.

В это время Кумлев, зажав руки меж колен и уставившись в земляной пол, думал о том, что Чепцов не сегодня завтра уйдет назад в тыловой Новгород и будет там устно и письменно излагать свои наблюдения и выводы. Для него все просто — попорхал тут, как воробей, и пожалуйста — выводы. Чепцов и его, Кумлева, уже учит, наставляет, как будто это он прожил в этом городе почти всю жизнь. Да разве ему понять, что здесь попасть в Большой дом на Литейном легче легкого, и если до сих пор это его миновало, значит, не надо его учить, как лучше жить и как продуктивней работать. Кумлева особенно угнетало, что Чепцов русский — когда его поучали немцы, он принимал это как должное...

Когда прозвучал отбой и они вышли, на улице пахло пожаром, над рынком клубился черный дым. Туда бежали люди.

Андрей Игнатьевич Палчинский встретил их на площадке у открытой двери:

— Что же это вы? Я жду, жду... Заходите, раздевайтесь... — У него розовое лицо с мелкими чертами, маленькие острые глаза ощупывали гостей. — Я уж думал... чего только не подумаешь... — говорил он, запирая дверь на многочисленные замки.

Все прошли в большую сумеречную комнату, единственное окно которой выходило во двор. В темной нише виднелась громадная кровать. Радист зажег свечку, поставил ее на высокий комод.

Все сели к столу, но общий разговор не ладился.

Палчинский и Кумлев говорили о том, что лето нынче стояло отменное и урожай фруктов, наверно, большой, что в продовольственных магазинах хоть шаром покати, что от ревматизма лучшее лекарство — парная баня... Чепцов молчал и смотрел на Палчинского.

Бывший радист торгового флота Андрей Игнатьевич Палчинский завербован немецкой разведкой еще в тридцать восьмом году. Он сам хотел этого, но думал, что все произойдет иначе. Это был человек незаметный, мелкий и по-мелкому себе на уме. До революции он служил радистом на военно-морской базе в Кронштадте и после революции оставался на этой же должности. Во время кронштадтского мятежа в двадцать первом году Палчинский обеспечивал связь мятежников с английскими военными кораблями, курсировавшими у берегов Финляндии, в ожидании приказа идти им на помощь. Когда Кронштадт был уже под огнем штурмующих остров большевиков, Палчинский покинул радиорубку и спрятался в квартире своей любовницы. Потом Палчинский явился к большевикам и заявил, что он умышленно сорвал связь мятежников с англичанами. На радостях победы никто не стал это тщательно проверять, и Палчинский превратился в участника подавления кронштадтского мятежа.

Это помогло ему после демобилизации из флота устроиться радистом на торговый корабль, который ходил в заграничные рейсы, и получить на Васильевском острове отдельную квартиру. На большее он из осторожности не претендовал...

Палчинский плавал по всему миру, а возвращаясь домой, занимался мелкой спекуляцией, продавал втроедорога всякое заграничное барахло. Копил деньги и скупал драгоценные камни. Так он жил год за годом, считая, что устроился в жизни более чем хорошо. Однако с годами — возраст его уже приближался к пенсионному — в нем поселилась беспокойная мечта — прожить беспечно остаток жизни за границей. И однажды Палчинский отправился в свой последний заграничный рейс, зашив в воротник кителя все свои бриллианты.

Первым большим портом, куда зашел его пароход, был Гамбург.

Спрятав под китель книгу записей служебной радиосвязи, он отправился утром на прогулку в город. Сразу пошел в полицию и заявил о своем желании не возвращаться в Советский Союз, разоблачить существующие там порядки и передать кому следует книгу записей служебной радиосвязи парохода.

У него взяли книгу записей и попросили немедленно и самым подробным образом письменно изложить все, что он хочет сказать. Когда он это сделал, его отвезли в город, к более крупному начальству. Там была оформлена его вербовка, он подписал обязательство, дал оттиски пальцев. Затем ему было приказано вернуться в Ленинград, уйти на пенсию и оборудовать в своей квартире приемо-передающую рацию. Ему дали такую крупную сумму денег, что он исходом дела был вполне удовлетворен — с такими деньгами он мог прекрасно жить и на родине.

Немецкая разведка его совершенно не беспокоила. Раз в день, в 18.30, он должен был включать приемник и принимать серию условных сигналов — только и всего. Лишь в мае сорок первого года с ним установил связь Кумлев, и от него Палчинский вновь получил крупную сумму денег. Теперь вот пришел еще один начальник. Радист украдкой поглядывал на Чепцова, стараясь догадаться, с чем этот пришел.

— Свяжитесь с Центром, — сказал ему Чепцов.

— Еще не время. — Палчинский показал на часы.

— Вам сказано: свяжитесь с Центром и передайте вот это... — Чепцов протянул радисту зашифрованное сообщение.

— Сию минуточку...

Рация была оборудована в большом ящике комода. Вывалив белье на пол, Палчинский быстро приготовил рацию к работе, высунул в форточку металлический прут антенны и застучал ключом. Вскоре он сообщил, что Центр обещает ответить через двадцать минут.

Палчинский снял наушники и спросил:

— Может, стол накрыть... водочки с холоду.

— Мы пришли работать, — ответил Чепцов. — Спасибо.

— Радист все интересуется, когда мы покончим с городом, — сказал Кумлев.

— Что вас волнует? — повернулся Чепцов.

— Да так... — замялся радист. — Все ж интересно, как новая жизнь обернется, какие будут деньги, ну и так далее.

— Не волнуйтесь, для вас все будет в наилучшем виде, — ответил Чепцов.

Ровно через двадцать минут кенигсбергский радиоцентр передал шифровку для Чепцова, в которой уточнялось место перехода им линии фронта.

Я уже давно слышал о расстреле шайки мародеров, которые грабили квартиры, оставленные ленинградцами. Но есть другое мародерство — кто-то имеет

излишки продовольствия и выменивает на него у ленинградцев золото, картины, фарфор и прочее. Почему не расстреливают этих мародеров? Кто-то объяснил мне, что этот обмен происходит по доброму согласию обеих сторон и потому неподсуден.

В городе много разговоров о Сенном рынке. Говорят, там продается все. Я пошел сегодня туда — решил купить что-нибудь из еды, у меня было около тысячи рублей. Знаю, что поступок во всех отношениях неправильный, и не знаю, смогу ли я когда-нибудь так его объяснить, чтобы посторонний человек сказал: «Я тебя понимаю...» Ладно, пошел. Площадь, где шла торговля и обмен, была совсем маленькая — возле горловины какой-то улицы прохаживались и стояли человек двадцать, не больше. Старушка в длинном салопе и беличьем капоре продавала фарфоровую миниатюру: женщина в кринолине играет на клавесине, а мужчина в белом парике и в голубом камзоле слушает ее игру, облокотившись на инструмент. Когда кто-нибудь приближался, старушка негромко говорила: «Голландская миниатюра, нужен хлеб». Узнать, кто эти люди по одежде невозможно. Ну, старушка с миниатюрой более или менее ясна, а кто богатырь в поддевке из тонкого сукна и в бобровой шапке? Свиное сало, нарезанное мелкими ломтиками, было у него разложено меж страниц старинного альбома с пряжкой. Кто щекастая, точно сошедшая с полотна Кустодиева, курносая девка, у которой я купил за пятьсот рублей плитку шоколада? Я отдал ей деньги и спросил, где она его достает. «Много будешь знать, парень, скоро состаришься, а не то еще и умрешь с голодухи, чего доброго», — сказала она. Конечно, кто-то принес сюда довоенные свои запасы. Но не все же такие запасливые! Значит, где-то есть течь. Больше всего меня потрясло, что среди торгующих я увидел и военнотружеников. Правда, только двоих. Один продавал за деньги филичковый табак и водку, другой все вертелся возле старушки с голландской миниатюрой. Я подошел и спросил: не стыдно ли ему? Он сначала испугался, а потом спросил с кривой улыбкой: «А вам?» Что я мог ответить? Пришел к себе в «Асторию», вынул из кармана шоколад, развернул, гляжу на него и глотаю слюну. И вдруг подумал: а если кто сейчас войдет? Ведь придется угостить? Я запер дверь на ключ. Но как только щелкнул замок, я вдруг понял, что со мной происходит, — быстро отпер дверь и даже приоткрыл ее и потом ел шоколад медленно-медленно, но никто не заходил. И это было очень обидно, потому что мне хотелось самому себе доказать, что я лучше, чем выгляжу. Вдруг я вспомнил одну немецкую радиопередачу на русском языке, мы слушали ее на днях в аппаратной радиокомитета. Какой-то явно русский на хорошем, чуть старомодном русском языке советовал ленинградцам прекратить сопротивление и не доводить себя до позора, когда придется, стоя на четвереньках, молить о пощаде. Вот это — чтобы не опуститься на четвереньки — в этом смысл той тихой войны, какую ведут сейчас все ленинградцы. Голод — это страшно, он влияет на психику, он подбирается к сознанию, желая подчинить его себе.

Я пишу, а рот наполнен сладкой слюной, я глотаю ее, она появляется снова и снова. И совсем она уже не сладкая. Будь проклят тот шоколад! Но слизнул все-таки все крошки с фольги — сколько ни держался...

Глава шестнадцатая

В тот день, когда из Ленинграда вернулся Чепцов, Аксель получил шифровку — ему предписывалось на другой день к полудню быть в Риге, иметь при себе полные данные о деятельности своего подразделения и принять участие в межведомственном совещании в «Абвер-штелле-Остланд». Аксель мгновенно разобрался в том, что было между строк этой шифровки. Начальник «Абвер-штелле-Остланд», друг его военной юности, полковник Лебеншютц еще на прошлой неделе предупредил его, что служба безопасности СД пытается прибрать к своим рукам наиболее эффективные дела абвера, и в частности интересуется его группой. При этом они делают ссылку на какую-то речь рейхсминистра Гимmlера, в которой он сказал, что всю работу, связанную с местным населением, должна вести служба безопасности, а не военная разведка — у нее и без того достаточно обязанностей перед армией. Фраза в шифровке «иметь при себе полные данные» означает, что Лебеншютц просит его вооружиться аргументами для противостояния службе безопасности. Получалось, что Чепцов вернулся точно вовремя...

Отдав приказ подготовить машину для поездки в Ригу, Аксель вернулся к Чепцову, который в это время писал отчет о своем походе в Ленинград. Аксель предусмотрительно поместил Чепцова в изолированную комнату своего бункера и на первое время запретил ему общаться с русскими сотрудниками группы. Им было лишь сказано, что Чепцов благополучно вернулся и доставил ценнейший материал.

— Продолжим беседу... — сухо сказал Аксель, вернувшись в комнату к Чепцову. — Я хотел бы уточнить и более основательно мотивировать ваши выводы.

— Я записал так, — Чепцов подвинул к себе отчет и прочитал: — «„Пятая колонна“ в Ленинграде — дело хотя и реальное, но невероятно трудное...»

Аксель в это время подумал, что вывод Чепцова совпадает с его выводом в меморандуме и что при известных обстоятельствах это может сработать в его пользу.

— Попробуем мыслить логически, — сказал Аксель. — Зачем нам рисковать людьми, преодолевать невероятные трудности, если город уже схвачен за горло армией и речь идет лишь о сроке последнего штурма?

Чепцов прекрасно понимал, как дорого может ему стоить каждое слово.

— Весь вопрос в том... — с расстановкой ответил он, — чтобы наши усилия не оказались слишком мизерными рядом с тем, что совершит армия.

— Постарайтесь быть логичнее, — попросил Аксель. — Армия выполняет приказ фюрера и уничтожает город — для чего были все наши усилия?

— Разве не наша обязанность облегчить армии выполнение этой задачи? — спросил Чепцов.

— Но на самом-то деле получится, что армия поможет нам?

Чепцов смотрит на Акселя и молчит.

— А может быть, лучше не лукавить и, учитывая все невероятные трудности дела, отказаться от него? — спросил Аксель.

— Зачем отказываться? — ответил Чепцов. — Надо только действовать в большем контакте с армией, и тогда мы не выпадем из ее боевого счета победы...

Аксель с интересом посмотрел на Чепцова — он, оказывается, не так прост, как казалось, — адмирал Канарис во время последнего разговора по телефону тоже дал

понять, что группе Акселя сейчас будет полезно более тесное сотрудничество с армией, хотя бы формальное. Аксель подумал сейчас, что эта мысль может пригодиться ему и завтра, на совещании в Риге.

— А теперь давайте поговорим просто так — я ведь тоже, как вы знаете, бывал в этом городе, — сказал Аксель и мягко спросил: — Бывало вам там страшновато?

— Было... — не сразу ответил Чепцов и объяснил: — Сказать точнее: было чувство близкой опасности.

— Преувеличенное уважение к их контрразведке?

— Как раз нет, я со своей легендой проходил всюду, как нож в масло.

— А что же тогда?

— Очень трудно объяснить.

— Вы общались с жителями города?

— Ну как же. Сидишь в бомбоубежище, кругом — они. Встречаешься с ними глазами. И вдруг начинает казаться, что все они смотрят на тебя и понимают... А то идешь по улице... все смотрят... смотрят, — негромко сказал Чепцов.

— Да, у них там атмосфера всеобщей подозрительности, они и друг на друга тоже так смотрят, — ответил Аксель.

И это Чепцов, казавшийся ему таким прочным! На деле он типичный русский! Все ему кажется, он думает... эмоции, словом, прославленный русский комплекс душевной неполноценности.

Чепцов словно почувствовал мысли полковника и молчал.

— А их контрразведка?

— Один раз показалось... — начал Чепцов, но Аксель встал:

— Хорошо. Продолжайте писать отчет. Потом можете отдохнуть. Прошу вас своим коллегам рассказывать только то, что было реальностью, а то, что вам казалось, используете, когда будете писать мемуары.

На рассвете Аксель выехал в Ригу. Сон сморил его в первые же минуты, и он прилег на заднем сиденье. Машину сильно тряхнуло. Аксель открыл глаза, и внимательный шофер тотчас доложил, где они находятся и сколько еще осталось ехать. Аксель снова заснул.

Недалеко от Риги шофер остановил машину и спросил, не хочет ли полковник привести себя в порядок. Он оказался запасливым, этот капрал, — у него была и вакса, и сапожные щетки, и бритва, и канистра с водой, и даже одеколон. До того часа, когда высокопоставленные чиновники в Риге появятся в своих кабинетах, было еще достаточно времени, и Аксель занялся собой.

Пока капрал лил ему воду на руки, подавал полотенце и держал зеркальце, Аксель, согнувшись пополам, думал о том, какая у него трудная служба и жизнь — другие сейчас нежатся под пуховыми одеялами, а он вот спит в машине и умывается, как солдат, в открытом поле, когда замерзает вода...

На совещании с первых же минут установилась напряженная атмосфера. Все началось с того, что прибывший из Берлина представитель главного управления безопасности Гетцке сразу же открыл карты и поставил вопрос так, что всякое выступление против притязаний СД могло выглядеть как нежелание работать под общегосударственным руководством рейхсминистра Гимmlера. Или как

противопоставление ведомственных интересов интересам всего рейха. Причем он говорил не только о подразделении Акселя, но и о нескольких других объектах абвера, нацеленных на Ленинград.

Полковник Лебеншютц все же решил повести борьбу за интересы абвера. Он попросил всех рассказать о том, какая работа ведется в их подразделениях, и, таким образом, точно выяснить ее характер и направленность. «Главное, — сказал он, — чтобы сегодня была сказана вся правда не только о наших успехах, но и о наших трудностях». Замысел полковника все поняли и не жалели красок, описывая сложность решаемых задач. Они говорили о ненадежности русских агентов, завербованных людьми СД из числа русских пленных.

Аксель начал с того, что выразил признательность судьбе, освободившей его от необходимости иметь дело с русскими пленными, вспомнил, как на подготовительном этапе ему прислали пленных, из которых ни один — буквально ни один! — не был пригоден. Он говорил о «сложнейшей задаче», стоящей перед его группой, которая на глазах у русской контрразведки должна создать внутри Ленинграда боеспособную воинскую силу.

— Эта работа уже начата? — спросил представитель СД Гетцке.

— Только что вернулся из Ленинграда наш агент, — ответил Аксель. — Его прогнозы о возможностях такой организации весьма пессимистичны. Тем не менее мы начинаем эту работу. С удовольствием примем любую помощь и с еще большим удовольствием разделим ответственность, — закончил он.

Начальник отдела подготовки русской агентуры при «Абвер-штелле-Остланд» Осипов сообщил о том, что в Гатчине работает школа, готовящая работников будущей администрации для Ленинграда. Курсанты набраны из числа пленных. Среди педагогов — опытейшие люди из СД. В порядке первичной разведки школа забросила в Ленинград четырех курсантов, но ни один из них не вернулся. Либо все они погибли, либо пойманы, либо сдались сами.

— Вот эта вечная неясность связывает нас по рукам и ногам, — говорил Осипов, — и когда вербуем, и когда посылаем в дело. Мы не можем быть в них уверены, а работать с вечной неуверенностью нельзя. Мы просим о помощи нашу могучую и опытную службу безопасности.

Наступило довольно длительное молчание, а потом представитель СД Гетцке сказал:

— Все-таки надо условиться, что ваше дело — это ваше дело, а наше — наше.

Межведомственное сражение явно выигрывал абвер.

Полковник Лебеншютц после совещания пригласил Акселя к себе. Они знали друг друга еще по Испании. Лебеншютц жил на утонувшей в зелени Вальдемарской улице, в огромной, шикарно обставленной квартире.

Ужин и кофе ординарцы подали в кабинет. Громадная фарфоровая люстра заливала комнату мягким светом. В углу мурлыкал радиоприемник. Лебеншютц, переодевшийся в стеганный шелковый халат, розовый, чистенький, великолепно завершал картину солидного и совсем мирного уюта. Однако это благолепие было Акселю не по душе, и он несколько демонстративно расстегнул китель и, опустившись в кожаное кресло, бесцеремонно вытянул свои длинные ноги в тусклых сапогах.

— Тебе нелегко? — сочувственно спросил Лебеншютц, наливая в рюмки коньяк.

— А тебе?

— Тем не менее — за победу. — Они выпили и оба разом поставили пустые рюмки.

— Поражает их болезненное стремление прибрать к рукам все, что пахнет жареным, — начал Лебеншютц. — Я вчера звонил в Киев, в группу «Юг», там нет ничего похожего. Они поняли, какая золотая кладовая Ленинград, и лезут сюда.

— Но сегодня они отвернули, — усмехнулся Аксель.

— Не беспокойся, к пирогу не опоздают.

— Помнишь наш разговор в Испании? Разве мы не могли вывезти оттуда драгоценные картины? — задумчиво спросил Аксель.

— Молоды были и глупы. — Лебеншютц сидел в черном кожаном кресле, откинув красивую седеющую голову на мягкую спинку. — Сейчас они здесь, в Риге, делают грандиозный трюк с евреями. Я не понимал, чего они с ними возьмется, устраивают гетто, организуют переселение. А это, оказывается, только для того, чтобы вытрясти все их ценности, ведь у мертвого не узнаешь, где у него что спрятано. Мои люди докладывают, что они вывозят отсюда ценности чемоданами.

— А приказ о сдаче в рейхсбанк? — спросил Аксель.

— Наивный ты человек. Чемодан — в банк, чемодан — себе — вот и вся бухгалтерия.

Вошел ординарец и позвал Лебеншютца к прямому проводу.

Канарис интересовался результатами совещания. Не особенно надеясь на то, что их не подслушивают, Лебеншютц рассказал о совещании в шуточной, иносказательной форме.

— После всего этого дама от своих притязаний на брак отказалась, — закончил он.

На другом конце провода долго молчали. Но Лебеншютц слышал дыхание шефа и напряженно ждал, что же он скажет.

Канарис откашлялся и сказал только одно слово:

— Напрасно... — и положил трубку.

Лебеншютц долго стоял у телефона с трубкой в руках. Ответ Канариса был настолько неожиданным и непонятным, что Лебеншютц решил не говорить о нем своему другу Акселю. Оба они еще не знали, что остановленное под Ленинградом наступление немецких войск уже диктовало Канарису новую тактику — он не хотел брать на себя слишком большую, а главное — единоличную ответственность и предпринимал шаги, чтобы создать впечатление о полном контакте абвера с делами армии. В случае, если победа под Ленинградом не будет завоевана весной, он даже допускал разделение ответственности с неуязвимой СД — службой безопасности и ради этого готов был говорить с ней о сотрудничестве.

Изоощренный ум Канариса был занят не только маневрами и хитростями тактического характера; адмирала сильно беспокоила и чисто профессиональная сторона дела, престиж возглавляемого им ведомства и, наконец, его личный авторитет непогрешимого до сих пор аса разведки.

Ночами он сидел над обширными донесениями своих разведывательно-диверсионных центров, действовавших на непостижимо громадном русском фронте. Особо его интересовало все, что было нацелено на Москву и Ленинград.

У него всегда была при себе маленькая записная книжечка, на обложке которой были написаны три готические буквы «К.Л.М.» — они означали заглавные буквы названий городов: Киев, Ленинград, Москва.

В книжечку заносились условные, одному адмиралу понятные, записи о деятельности абвера в направлении этих городов.

Когда был взят Киев, он зачеркнул букву «К», теперь город поступил в распоряжение Гиммлера, и он уже имеет там крупные неприятности — гибель нескольких сот офицеров при взрыве подпольщиками целой улицы.

В отношении московского направления Канарис вовремя сделал ловкий тактический ход — может быть, он раньше всех понял, что там происходит.

Еще до того как войска окончательно остановились под Москвой, он передал главному командованию записку о положении дел на фронте группы войск «Центр». В записке была, хоть и запоздалая, правда о русском Сопротивлении, которое оказалось гораздо сильнее, чем ожидали. Но ошибка была не в подсчете русских армий или военной техники, а в оценке морально-политического комплекса. Например, возможность возникновения массового и чрезвычайно опасного партизанского движения никак не была предусмотрена.

Часть вины за это Канарис брал на себя, но кто был главный виновник, этого в записке не говорилось, в конце концов, не его, Канариса, дело искать виноватых, его дело нарисовать объективную картину чисто военной обстановки.

Канарис знал, что никто не решится показать его записку Гитлеру, но она будет сохранена в архиве, и в случае чего он сможет на нее сослаться. А пока он приказал своему центру «Сатурн», нацеленному на Москву, резко усилить, сделать тотальным заброс агентуры в район Москвы с заданиями террористического и диверсионного характера.

Правда, эффекта, которого он ожидал, не получилось, и чем глубже увязали под Москвой армии «Центра», тем незначительнее и даже раздражающе выглядели отдельные удачи его агентов в самом городе. Однако Канарис мог сказать, что в эту трудную пору он сделал все для успеха армии.

В отношении Ленинграда дело обстояло иначе. Город окружен, отрезан от страны, от снабжения, и Гитлер мог каждый раз отдать приказ взять город во что бы то ни стало. Он планировал захватить Ленинград раньше, чем Москву.

Теперь же взятие Ленинграда отвлечет внимание мира от московской неудачи. Во всяком случае, Канарис не имеет права не учитывать такого хода событий и не готовиться к нему.

Но так ли просто взять этот город? Не станет ли он костью поперек горла, которую ни проглотить, ни выплюнуть? Канарис помнил меморандум Акселя о Ленинграде и свои разговоры с ним. Разумеется, этот город для русских не просто географическое понятие, а своего рода религиозное место, с которым они связывают всю свою историю. Именно потому Гитлер хочет сравнить его с землей. Но можно ли сделать это чисто физически? Не станет ли там каждый дом рубежом тяжелой битвы? Недавно Аксель прислал шифровку, в которой утверждал, что уже сейчас активную борьбу против немецкой армии ведет все население города независимо от возраста и пола.

От русских можно ожидать всего...

Но у Канариса есть особая, тайная от других тревога. Главная его работа — глубокая и тщательная разведка Ленинграда и создание там «пятой колонны» — не получается. Уже несколько месяцев его люди атакуют город, их десятками забрасывают через фронт, а результат ничтожный. Он даже не знает, что сейчас там происходит. Он имеет резидентов, давно живущих в Ленинграде, но не может по их донесениям составить представление о жизни Ленинграда, о его возможностях в борьбе, наконец, просто о том, как живут люди в этом полностью окруженном громадном городе.

Потери так называемой туземной агентуры Канариса не волнуют — весь вопрос в том, почему такие потери. Только ли потому, что агенты забрасываются без

достаточной подготовки? Конечно, не только...

Русская разведка и контрразведка оказались более умелыми, чем предполагали. Откуда это? Канарису известно множество фактов провала советских разведчиков из-за их вопиющей неопытности. Было точно известно — их готовили наспех, некоторых брали в разведку из-за одного знания немецкого языка. Откуда же тогда уменьье? Откуда возник тот советский разведчик, на допросе которого Канарис присутствовал на прошлой неделе в Таллинне?

Вечером на собрании сотрудников «Абвер-команды-104» Канарис приветствовал начальника команды полковника Шиммеля по случаю его сорокалетия и, как положено для такого случая, всячески его хвалил. А на другой день начальник окружного гестапо Лейхер пригласил адмирала присутствовать при допросе очень важного, как он сказал, советского разведчика.

Когда Канарис отправлялся к Лейхеру, Шиммель еще не знал, что речь идет о советском разведчике, который два месяца работал в его абвер-команде и пользовался полным доверием.

Лейхер — молодой, вежливый и предупредительный. Все на нем с иголочки, и гестаповская форма выглядела элегантно.

Ему льстило, что к нему пришел сам Канарис, но при этом он ни на минуту не забывал, кто порекомендовал ему пригласить Канариса и какова цель этого приглашения.

В кабинет ввели мужчину лет сорока. Канарис увидел вспухшее и обвисшее синее лицо, заплывшие, в синяках, совсем еще молодые и живые глаза.

— Этот господин состоял на штатной службе у вашего полковника Шиммеля, — сказал Лейхер, напряженно наблюдая за адмиралом. Высокий начальник, звонивший ему из Берлина и посоветовавший пригласить на допрос Канариса, просил потом рассказать, как будет реагировать шеф абвера.

Лицо адмирала было непроницаемо, он внимательно рассматривал арестованного.

— Нахожу нужным предупредить, что перед вами ленинградский чекист, — продолжал Лейхер. — Подлинной его фамилии мы не знаем. Полковнику Шиммелю он известен под фамилией Соболевский. — Гестаповец подошел к арестованному: — Извольте повторить то, что вы говорили мне.

— Я много тут всякого говорил... — сказал арестованный, глядя на Канариса.

— Повторите показания о сотрудниках «Абвер-команды-104»!

— С удовольствием. Я никогда не наблюдал столько дураков, собранных в одном месте... Но не в уме дело — все они люди без идеи, как у нас говорят, без царя в голове. Ни во что не верят...

— Заниматься здесь пропагандой бесцельно, — тихо прервал его Канарис. — Один вопрос. Где вы учились?

— Я окончил Ленинградский институт мясо-молочной и холодильной промышленности.

— Это нужно расценивать как юмор? — спросил Канарис.

В глазах арестованного вспыхнул живой огонек.

— Как факт, — ответил он.

Когда Канарис вернулся к Шиммелю, тот уже все знал.

— Потрясающе... потрясающе... — растерянно повторял он. — Я бы мог поверить, если бы это был любой другой. Потрясающе... потрясающе...

— Он знал много? — спросил Канарис.

— Много...

— Вы получили тяжелый подарок к вашему юбилею, — сказал Канарис и, помолчав, уточнил: — ...от советской разведки.

В самом начале войны, когда определились направления главных ударов гитлеровских войск, стало ясно, что самое опасное для ленинградских чекистов — занять оборонительную позицию. «Наш главный бой — у врага в тылу», — твердил Куприн на каждом оперативном совещании. Нужно было научиться активно выдвигать разведывательные и контрразведывательные операции вперед через линию фронта. Такая наука неизбежно стоит крови...

Навстречу гитлеровским войскам под Таллинн, под Псков, под Ивангород уходили разведчики и исчезали, точно растворялись в раскаленном воздухе войны. Позже, значительно позже, станет известен смертный подвиг многих.

Но бывало, что на уже полузабытой цепочке связи, там, с той ее стороны, вдруг появлялся один из тех, кого уже отчаялись ждать. И поступала первая информация.

Во вражеском тылу, в новгородских, псковских лесах, возникали партизанские отряды, в оккупированных городах и селах — подпольные организации патриотов, постепенно наша разведка нащупывала связь с ними.

Через голову врага перекидывался постоянно действующий мост, и день ото дня он был все шире и прочнее. Армейские особые отделы становились вокруг Ленинграда боевыми форпостами нашей разведки и контрразведки. На этот выставленный вперед кулак все чаще и все больше натывалась вражеская разведка.

А в комсомольских райкомах Ленинграда толпились взволнованные парни и девушки. Они жертвенно отдавали себя трудному и опасному делу разведки и с волнением ждали решения: возьмут или не возьмут? В райкомах партии получали путевки в разведывательные органы коммунисты — люди самых различных профессий. Они не были профессионалами-разведчиками, и это не раз было причиной героической гибели многих из них в застенках гестапо. Но это они же вместе с профессионалами стали грозными солдатами разведки.

Работа постепенно разворачивалась, но шла далеко не гладко...

В первых числах ноября начальник Ленинградского управления НКВД Куприн вылетел в Москву с докладом.

Там был утвержден план действий ленинградских чекистов на ближайшее полугодие. Он вошел в общий план борьбы советской разведки и контрразведки на всех фронтах войны. Было спланировано повседневное взаимодействие усилий, направленных из Ленинграда и других центров.

С этими важнейшими документами в портфеле Куприн возвращался в Ленинград. Он страшно торопился, потому что понимал неизмеримую цену каждого дня борьбы.

Самолет приземлился на полевого военного аэродроме. Оставался только прыжок через замерзавшую Ладогу, — еще засветло Куприн успел бы долететь до Ленинграда, но не было ни одного свободного истребителя для сопровождения. Пользуясь своим высоким положением, Куприн приказал нарушить строжайшую

инструкцию и лететь без сопровождения. Его отправили на военном самолете, посадив на место штурмана, который в таком кратком полете и при отличной, ясной погоде не был нужен.

Немцы держали небо над Ладогой под непрерывным наблюдением.

Одиноким самолет был сразу замечен, в воздух поднялись их истребители. Все дальнейшее совершилось в течение нескольких минут. Истребители атаковали советский самолет и сбили его. Самолет упал в Ладожское озеро...

Ночью на месте гибели самолета появилось вспомогательное судно Ладожской флотилии. Водолазы спустились на дно.

Самолет был поднят и отвезен на берег. Если бы немцы знали, какой драгоценный портфель сжимал в руках мертвый человек, находившийся в штурманской кабине сбитого ими самолета!

Бумаги Куприна немедленно были доставлены на Литейный проспект в управление, и утвержденный в Москве план стал боевым делом ленинградских чекистов.

Ничего этого Канарис не знал, он понимал только, что советская разведка оказалась сильнее, чем он думал.

На фронте образовалась атмосфера какой-то спокойной деловитости.

Не случайно так часто мы употребляем сейчас выражение «ратный труд». Идет ежедневная и еженощная разнообразная военная работа. Но здесь еще и убивают... Видел: трое солдат ломали ковыряли мерзлую землю. Спросил: зачем здесь окоп? «Могила», — ответил один из них...

В штабе полка посоветовали идти на передовую и написать про бойца Старикова, который подбил танк. Советчики почему-то улыбались. Я боялся розыгрыша и пошел к командиру полка.

Он сказал совершенно серьезно: «О Старикове написать надо обязательно, я представляю его на Красное Знамя».

В общем, пошел.

Увидел его и сам тоже заулыбался. Рост у Старикова — от силы полтора метра. Ватник на нем почти как пальто. Под шапку, чтобы не валилась на уши, повязан платок. Носик — кнопочка. Глазки — пуговички. На дворе зима, а у него веснушки во все его круглое лицо. И это он три дня назад уничтожил вражеский танк! Факт! Сергей Трофимович Стариков. Так он рекомендует сам, и, по свидетельству однополчан, так он представлялся еще до танка.

О том, как было дело, он рассказал мне неторопливо хриплым моряцким голоском, неумело посасывая папиросу, которая у него то и дело гасла. Вот его рассказ в точности:

— Я был в боевом охранении. Заступил в ночь. Жуткий холод. Я занялся окопчиком. Долблю да долблю землю и, значит, все углубляюсь, а по причине работы холода не испытываю. Даже интерес появился: как я глубоко могу в землю врезаться? Про танки я и не думал.

Интересно — чем глубже вкапываюсь, тем земля теплее. В общем, зарылся во как — руки снаружи не видать. Но все сделал, как учили: приступочку для стрельбы стоя, еще одну — для удобства вылаза и еще — вроде бы печурочка для боеприпасов — аккуратно у меня было две ручные гранаты и две горючие бутылки. Ну, опустился на дно — ноги под себя, руки в рукава. Воротник вверх. Спиною — плотно к стене. И сижусь. И, прямо скажу, задремал.

Сколько я так дремал, не знаю, потому как не знаю, сколько я провозился со своим рытьем. Проснулся и слышу, вроде бы как земля за спиной у меня подрагивает и шевелится.

Быстренько встаю ногой на приступочку и высовываюсь.

Увидел... и растерялся — прямо на меня прет танк. Здоровый. Земля из-под него брызжет. А я, как последний дурак, хватаю гранату и, не сорвав кольца, кидаю ее. Попал, и она скатилась с него, а я уже носом слышу, как горелым маслом пахнет. И тогда я нырнул в свой окопчик. И сел там на корточки.

Вдруг как загрохочет, железо как завизжит! Глянул вверх, и душа у меня вон — вверху дно танка, все в масле, и чего-то блестит и гремит. И вижу, он на мне круг делает на одном месте. Думает, значит, что он втирает меня в землю, как плевков ногой. А я-то вижу, он меня не достает. Ясно вижу.

И тогда я стал думать...

А он покрутился и с моего окопчика сошел. Опять стало тихо.

Тогда я думаю: выскочит из танка какой, подбежит сюда и истребит меня, как мыша в норке. Я осторожненько ногой на приступочку и высунулся. Танк стоит ко мне задом, шагов пять до него, прямо мне в рот горелыми газами дышит.

Тогда я взял одну горючую бутылку и кинул ее на спину танка. Как взялось, будто стог сена, а не железо! Для верности я кинул еще и вторую бутылку. Поддало жару еще.

И тут открывается у него люк, и оттуда сразу два рвутся вылезать, друг другу мешают. Но их Виктор Суханов срезал из автомата. Вот и весь боевой эпизод.

О чем он говорит? В обороне надо окопчик отрывать глубокого профиля. Обязательно. Правда, мне это сделать легче. Я вообще первый раз за всю мою жизнь на своем росте выгоду имею. А то терпел одни насмешки...

Глава семнадцатая

Стратегический план войны против СССР под кодовым названием «Барбаросса» придавал особое значение взятию Ленинграда. Гитлер шел даже на то, чтобы снять часть войск с московского направления и послать их против Ленинграда. В «Барбароссе» об этом было сказано: «...Севернее припятских болот группа армий „Центр“ (генерал-фельдмаршал фон Бок) вводом крупных подвижных сил из района Варшавы и Сувалок использует достигнутый прорыв в направлении Смоленска для поворота крупных подвижных сил на север, чтобы во взаимодействии с группой войск „Север“ (генерал-полковник фон Лееб), действующей из Восточной Пруссии, выступить в общем направлении на Ленинград, уничтожить действующие в Прибалтике войска противника и в дальнейшем, соединившись с финскими и при благоприятных условиях с немецкими войсками, переброшенными сюда из Норвегии, окончательно ликвидировать последнюю возможность сопротивления вражеских войск в северной части России и тем самым обеспечить свободу маневра для решения последующих задач по взаимодействию с немецкими войсками, действующими на юге России. При внезапном и полном провале вражеских попыток оказать сопротивление на севере России встанет вопрос о замене поворота войск на север немедленным ударом в направлении Москвы...»

Однако ничего внезапного не случилось, и еще в самом начале осени трезвомыслящие военные специалисты из гитлеровского генштаба уже понимали, что «Барбаросса» буксует, что русское Сопротивление оказалось гораздо сильнее, чем рассчитывали авторы директивы. К началу зимы это стало ясно не только специалистам. В главной гитлеровской газете «Фолькишер беобахтер» появилась статья о скептиках, написанная руководителем всей прессы Германии доктором Дитрихом.

«Смешны скептики, смешны их кислые рожи на фоне стратегических карт, на которых каждый солдат видит, что наши войска стучат в двери Ленинграда и Москвы. Смешны скептики в принципе, смешны их кислые рожи на фоне общенациональной гордости и уверенности. Я бы предложил скептикам полезную воспитательную работу: помочь нашим тыловым организациям подсчитать русских пленных — службы эти не так уж сильны в математике, чтобы быстро оперировать шестизначными цифрами, в результате эта работа до сих пор не завершена...»

Прочитав статью, Аксель задумался. Первая мысль — дело плохо, если стали писать такое. А может, наоборот — это как раз признак силы, что мы обо всем говорим открыто? Перед ним лежала полученная утром радиограмма, содержащая краткое резюме совещания у Канариса. В радиограмме ничего тревожного. Аксель снова взял радиограмму и не торопясь стал ее перечитывать с того места, где речь шла о группе войск «Север».

«Наша главная цель здесь по своему значению может быть сравнима с Москвой. Полная изоляция цели позволяет одновременно радиальное проникновение, не позволяющее противнику концентрировать свои контрсилы на определенных направлениях. Отсутствие в настоящее время прямых военных действий упрощает технику проникновения. Мы продолжаем дело армии собственными нам средствами. Успешное решение этой тактической задачи требует решительно увеличить количество посылаемой агентуры. Требование удлиненных сроков для подготовки агентов будет рассматриваться как сопротивление решению задачи. Организация хотя бы одного диверсионного акта не требует особой подготовки, а сотни таких актов — это уже война, перенесенная внутрь объекта. В обстановке этой войны наши специальные подразделения смогут успешно выполнить в городе свои особые задачи, что завершит сражение достойной победой...»

Последнюю фразу Аксель прочитал дважды — это о его группе. Поставленная перед ним задача не отменяется, и он должен действовать.

За окнами выла вьюга, от ее тонкого, тоскливого голоса и глухого шума — мурашки

по спине. Аксель совершенно не переносил морозы, ему казалось, что на улице у него каменеет мозг. Он старался не выходить лишний раз из своего дома и требовал непрерывно топить все печи. Его раздражали русские сотрудники, когда они, приходя с мороза, начинали хвалить русскую зиму-матушку.

Последнее время все стали бояться его внезапной раздражительности, — Аксель это видел и злился еще больше. Он находил только одно объяснение своему состоянию — никто не может быть спокойным и беспечным, когда война складывается не так, как было задумано и как планировали.

Сегодня он шел от узла связи домой — каких-нибудь двести шагов, метель выхлестала ему глаза, мороз обжег лицо и руки. Он уже давно сидел у печки и все никак не мог согреться. Прислушиваясь к вою метели, он невольно поеживался и повторял про себя:

А морозы в России такие, что слезы замерзают на лету.

Берлин передавал как-то по радио стихи солдата, написанные им в окопах под Москвой, и эти две строчки завязли в памяти.

Аксель наклонился ниже, к открытой дверце печки, и, не мигая, смотрел в огонь...

Фронт вокруг Ленинграда стоял неподвижно, глубоко врубившись в зимнюю, окаменелую землю. Но Аксель знал, что ни на один день не прекращалось наступление сил разведки. Ее люди пробирались через фронт, шли по льду Финского залива, их сбрасывали с парашютами. Они должны были действовать за спиной советских войск, вести разведку, осуществлять диверсии и террор. В ближнем и дальнем тылу немецких войск работали школы, готовившие агентуру. Пленных в их распоряжении было достаточно, и среди них можно было отыскать отпетых мерзавцев, уголовников, для которых чувство родины умещалось в миске супа. Аксель знал, что потери среди этой агентуры очень большие, но Берлин рекомендовал «не придавать трагического значения потерям туземной агентуры».

В его группе потерь нет. Рейсы через линию фронта совершаются уверенно. Уже второй раз в Ленинграде Чепцов. Жухин пойдет туда второй раз немного позже вместе с Браславским. Сегодня уходит Есипов. Конечно, обстановка в городе сложная, но трудности для того и существуют, чтобы их преодолеть.

Аксель заставил себя подняться от пылающей печи. Он запахнул толстый халат, достал из сейфа книгу записей радиোগрамм из Ленинграда и сел к столу. Нужно было еще раз убедиться, что по ходу событий он не допустил никакой ошибки...

Первые сообщения Кумлева носили чисто информационный характер — число артобстрелов, бомбардировок с воздуха, наиболее эффективные попадания, нарастание трудностей, вызванных окружением города. Эта информация подтверждала неумолимо логичный ход событий: Ленинград взят за горло немецкой армией.

Вот первая радиограмма Кумлева, полученная 2 ноября 1941 года:

«Большинство населения получает двести граммов хлеба в день, все остальные указанные в карточках продукты, во-первых, мизерны, во-вторых, выдаются с перебоями или вовсе не выдаются. Мое мнение — изготовление фальшивых продовольственных карточек следует приостановить, так как в конце октября проведена перерегистрация всех карточек. В будущем возможны частые перерегистрации и введение новых штампов — угнаться за этим мы не сможем. Слухи об уничтожении бомбардировкой главных продовольственных запасов города неверны. Уничтожено только одно из хранилищ сахара и муки — Бадаевские склады, об этом свидетельствуют хорошо осведомленные люди. Норма выдачи сахара до сих пор не снижена. Со времени пожара прошло два месяца, а хлеб по нормам, установленным 1 октября, выдается бесперебойно. Наши запасы продовольствия согласно вашим указаниям рассредоточены в двух надежных местах. В прошлом месяце удалось дополнительно купить более трехсот коробок

консервированных крабов, которые почему-то продавались без карточек. Жду дальнейших указаний и ваших представителей».

Аксель тогда немедленно отправил в Ленинград ответную телеграмму:

«Особо благодарю за уточнение в отношении складов, впредь сделайте принципом — свои успехи лучше недооценить. Представители будут у вас в самое ближайшее время».

Радиограмма Кумлева от 5 ноября 1941 года:

«Ухудшение снабжения города продовольствием чувствуется все острее. Власти принимают драконовские меры против всяких нарушений продовольственного режима. Арестован хозяин нашей продовольственной базы № 2. Предназначение базы ему неизвестно, он был уверен, что для спекуляции, и, видимо, спешил. Из соображений предусмотрительности думаю переехать жить по адресу продовольственной базы № 1. Уже многие дома не отапливаются из-за отсутствия угля, дров, электроэнергии. Окончательно установил, что под госпитали отведены помещения института имени Герцена, университета, гостиниц „Европейская“ и „Англетер“, технологического института, а также Дворец труда, многие школы и больницы. Подтверждается, что в результате прямого попадания бомбы в госпиталь на Суворовском проспекте погибло около 600 человек. Общее число лиц по списку „Действие“ — сорок девять. Могло быть больше, но я строго придерживаюсь ваших указаний. С нетерпением жду новых гостей».

11 ноября в Ленинград отправились Мигунов и Чепцов. Они благополучно прошли фронт, и уже на другой день Кумлев сообщил об их прибытии.

14 ноября Кумлев сообщил о новом снижении продовольственного рациона для всех жителей, о том, что в городе начался голод. Затем пришла радиограмма от Мигунова, который сообщал, что голод сильно обострил ненависть к Германии. Стало почти невозможно, даже с лояльными людьми, открыто говорить об их сотрудничестве с немецкой армией. Сообщал, что неголодающих людей сразу выдает их внешность, советовал учесть это при посылке людей в Ленинград, просил, чтобы засылаемые хотя бы отращивали бороду.

Аксель ответил:

«Голод должен быть не противником, а нашим союзником. Продовольствие, которым вы располагаете, должно стать валютой, на которую можно купить все, включая и человеческую жизнь. Сделайте эту валюту при вербовке средством номер один. Немедленно сообщайте о наращивании сил по списку „Действие“.

Последующие радиограммы из Ленинграда возмущали Акселя своей краткостью. В радиограмме Мигунова от 22 ноября было всего несколько слов:

«Произвели уменьшение продовольственных норм со всеми вытекающими отсюда последствиями».

И все.

Затем пришла шифровка от Канариса. Ссылаясь на просьбу командования, не удовлетворенного данными армейской разведки, Канарис приказывал точно установить каналы снабжения Ленинграда продовольствием извне. Аксель переадресовал это задание в Ленинград Мигунову, предложив ему самому выбрать способ проведения разведки.

Ответ Мигунова:

«Ни для кого не является секретом, что единственный путь снабжения города лежит через Ладожское озеро. Для уточнения технологии и возможностей этого пути отправляю Чепцова на пристани Ладожского озера».

И снова в радиограмме ни слова о наращивании сил. Акселю в пору было самому отправиться через линию фронта, но он предпочел послать в Ленинград Есипова, дав ему так называемое контрольное задание — проверить деятельность Мигунова, Чепцова и Кумлева. Для сообщений Есипова был разработан специальный шифр. Например: если в его первой радиограмме будет слово «угроза», это будет означать, что Есипов не согласен с позицией, занятой Мигуновым и Кумлевым. Слово «преодоление» будет означать, что Есипов находит положение настолько тревожным, что прибытие туда Акселя обязательно.

Но Есипов ушел, а сообщения о его прибытии в Ленинград все нет.

Ровно год назад, во время военного конфликта с Финляндией, я тоже находился в Ленинграде и тоже был корреспондентом Московского радио. Тогда и написал корреспонденцию о работе Путиловского завода, она называлась «Ленинград спокоен». Завод работал вовсю, земля под ногами дрожала. Только заводской двор был немного затемнен. В литейном во время плавки слепили искры. А если и сейчас написать об этом?

Переписываю из блокнота.

Путиловский.

Безлюдье. Тишина. Снежок белый, без копоти. Темные громады цехов.

По темному двору грохочет темный танк. Военпред: «Моя продукция».

Цех ремонта танков. Пять танков. Мальчишки-фабзайчата облепили могучие машины. Лечат. Странно: ребячьи голоса. Вместе с ними пожилые рабочие — очень худые и слабые. Полежат возле танка и опять работают. Пошел из цеха еще один танк. Парнишка написал на броне мелом: «Вперед на врага!»

Чугунолитейный стоит. Темно. Пахнет пожарищем. Свет далеко в глубине.

Военпред: «Там начцеха Скобников...» Долго шли: рельсы, кучи шлака, снежок. В стеклянной конторке возле «буржуйки» сидит человек в пальто, шапке, воротник поднят. Коптилка. Читает толстую книгу. Или спит. Ушли.

Военпред: «Не хочет уходить, не может без цеха, собирается его реконструировать. Этим и живет. Смерти не боится. Днем работает где нужно».

Глава восемнадцатая

Они сидели друг против друга за грубым тесаным столом и молча ели давно остывшие сосиски, макая их в блюде с желтой безвкусной горчицей. В тесной комнатке под низкими сводчатыми потолками замка было душно, а единственное окошко в толстой каменной стене было заложено дощатым щитом. На подоконнике стояла керосиновая лампа, бедно освещавшая комнату, — в ней кончался керосин, и уже прогоркло пахло тлеющим фитилем.

Есипову и его проводнику Сеньковскому предстояло вместе идти через фронт, рисковать жизнью, но знали они друг о друге очень мало. Только сейчас, за ужином, выяснилось, что Сеньковский — из уголовников, и Есипов не знал, радоваться этому или огорчаться. Пожалуй, важнее всего было, что на счету проводника уже несколько благополучных рейдов через фронт.

Сеньковскому лет тридцать или около того. Реденькие рыжеватые волосы, посередине аккуратный пробор. Лицо красивое, живое, особенно глаза — серые, стремительные. Он минуты не сидел спокойно, точно его мучал какой-то зуд — все время подергивался, поеживался, трогал лицо, волосы, очень торопился есть. Есипов — медлительный, скупой на движения, со строгим бесстрастным лицом и пристальными, немигающими глазами — жевал медленно, был задумчив.

— В ленинградских музеях вы бывали? — спросил Есипов.

Красивое, желтое в свете керосиновой лампы лицо Сеньковского скривилось в ухмылке:

— Из всех музеев я там хорошо знаю только один — тюрьму «Кресты».

На узком строгом лице Есипова застыло выражение задумчивости, его монгольские глаза смотрели мимо собеседника, а Сеньковский продолжал спрашивать с интересом:

— Значит, все так вот, по-простому: приходишь в этот дом, платишь деньги, и тебе дают бабу по выбору?

— В некоторых домах надо еще, кроме того, заказать вино, закуску... — начал Есипов и остановился, взглянув на проводника — весь ужин он задает ему вопросы о публичных домах: как они устроены, как работают.

— Ну да, ну да, само собой... — поддакивал Сеньковский, с нетерпением ожидая новых подробностей. Но Есипов замолчал.

— Шесть раз ходил без осечки, сегодня седьмой... — начал Сеньковский и остановился, глядя, как Есипов ломает свои пальцы, и, дождавшись, когда тот перестал хрустеть, продолжал: — Только в самый первый раз малость заблудился: шли по заливу, все обходили полыньи и сбились с направления. Должны были выйти к Угольной гавани, а вынесло нас туда, где Нева в море впадает. Ну ничего, маскхалаты закопали в снег, выходим на улицу, гляжу — мать честная! — проспект Огородникова! Место мне знакомое. Ну, идем дальше. Вдруг откуда ни возьмись бабенка — въедливая такая, не дай бог. Кто такие, спрашивает, откуда? Предъявите документы! И форма на ней какая-то: черная шинель, пояс с портупеей на боку. Ну, я ей предъявил финку образца сорок первого года. Хотел ее наган взять, а в кобуре-то у нее пусто... Ну, а прибыли как по расписанию.

— За что «Кресты»?

— За что? — переспросил Сеньковский, и глаза его сузились в щелочки. Он катал на столе хлебный шарик и сказал многозначительно, с угрозой: — Прошу обратить внимание, что я не стремлюсь залезать к вам в душу...

Он замолчал ненадолго и продолжал как ни в чем не бывало.

— Что мне в них претит, это их скупость. — Сеньковский оттолкнул от себя тарелку с недоеденными сосисками.

— У нас не свадьба.

— Но и не похороны бедного родственника. — Серые глаза проводника блеснули, как у кошки. — Не гулять под луной идем, ой не гулять...

— Разве вам мало платят?

— Почему? — Сеньковский передернулся всем телом. — А только опять же — завтра вернусь и завтра же изволь в школу, я же тут у них еще и учитель.

Есипов знал, что его проводник числится при Гатчинской школе СД, готовившей будущую администрацию для Ленинграда.

— Кем же вы собираетесь быть там... в городе?

— Начальником уголовного розыска, — ответил Сеньковский и захохотал.

Дверь со скрипом приоткрылась, и пожилой человек в черной эсэсовской форме сказал, показывая пальцем на свои ручные часы:

— Эс ист цайт.

— Пошли, пошли, — проворчал Сеньковский, вставая.

Они вышли на улицу и невольно остановились, жадно вдыхая чистый зимний воздух и глядя на серп луны, летящий в редких облаках над шпилем охотничьего замка. За воротами их ждал вездеход.

Качаясь на ямах, вездеход покатился вдоль замерзшего пруда, мимо чернеющих вдали домиков, выбрался на главную улицу и повернул направо. Еще несколько минут, и Гатчина осталась позади...

Приехали в район, где им предстояло переходить фронт. Вокруг была неправдоподобная тишина и белое безлюдье, не верилось, что где-то тут рядом, в мерзлой земле, затаилась целая армия. Порхал редкий снежок. Из-за белого холма вынырнул часовой. Он в русском тулупе, косматый воротник поднят, примотан шарфом и прижат ремнем автомата. Часовой подошел, внимательно оглядел их и, ничего не сказав, отошел, снова исчез в снегу.

— Погода — люкс, — тихо, словно самому себе, сказал Сеньковский и, отшвырнув окуроч, шагнул по еле видной тропинке: — Пошли, земляк...

Немецкие фронтовые разведчики установили, что неподалеку от заметенного снегом железнодорожного полотна находится стык двух русских воинских частей, что он неплотный — там, где линия фронта отрезала клин негустого, низкого кустарника, немецкие разведчики несколько раз проникали в русский тыл и даже выходили к дороге. Сеньковский хотел выбраться как раз на эту хорошо раскатанную дорогу, сбросить там маскхалаты и идти прямо в город. Документы у них были прочные, подлинные, взятые у советских военнослужащих, попавших в плен.

Сеньковский и за ним Есипов уверенно вышли к кустарнику и взяли правее, чтобы по прямой достичь сначала железной дороги, а затем и шоссе. Метрах в десяти от железнодорожного полотна, когда присели в снег перед броском через насыпь, они услышали русскую речь.

— С той стороны снег рыхлый, по пояс, — сказал негромко сиплый голос.

— Ничего, на лыжах пройдем, — отозвался молодой басок.

Сеньковский и Есипов слышали, как поскрипывали лыжи, как дышали люди. Им

казалось, что идут прямо на них. Сеньковский сунул руку за пазуху и вытащил гранату.

— Как кино, беги назад, — шепнул он в ухо Есипову и стал зубами вытаскивать чеку. Но не вытащил, замер, прислушиваясь, — лыжники явно уходили в сторону.

— Бог все-таки есть, — тихо сказал Сеньковский и, пряча гранату, встал: — Пошли...

Когда они, подобрав полы маскхалатов, взбежали на железнодорожную насыпь и, не задерживаясь, ринулись в снег по другую ее сторону, где-то невдалеке прострочила длинная автоматная очередь.

— Шевелись, земляк, шевелись, — шипел Сеньковский. Пригнувшись к земле, он бежал легко и быстро, а Есипов, норовя попасть в след проводника, то и дело глубоко проваливался.

Подобравшись к дороге, они легли в снег, сняли маскхалаты и закопали их. Потом минут пятнадцать наблюдали за дорогой. Никакого движения не было.

— Выходим спокойно, не торопясь, как у себя дома, — сказал Сеньковский, вставая. Он отряхнул с себя снег и, не оглянувшись на Есипова, пошел.

В кювете на боку лежала разбитая автомашина. С одной стороны на нее намело сугроб, а с подветренной образовалась снежная пещера. Здесь они в последний раз присели на корточки и, убедившись еще раз, что дорога безлюдна, вышли. И тотчас услышали:

— Руки вверх! — На другой стороне дороги стояли двое с автоматами.

Сеньковский сунул руку за пазуху, но короткая очередь из автомата подрезала ему ноги, и он, матерно ругаясь, повалился на дорогу. Есипов отпрыгнул в снег и бросился бежать, но натолкнулся на солдата, тот резким ударом в подбородок сшиб его с ног, сел ему на спину и выкрутил руки.

Есипова вытащили на дорогу, где лежал и стонал его проводник.

— Куда его? — спросил молоденький лейтенант в длинной шинели.

— В ногу, ниже колена, — ответил кто-то, сидевший на корточках возле проводника.

— Я б его не тронул, но он в карман полез, а там у него, товарищ лейтенант, лимонка была, — будто оправдываясь, сказал кто-то стоявший поодаль.

— Глаз у тебя, Казанцев, острый, гранату под полую разглядел. Молодец. А тронул ты его по-божески, мог бы и насмерть, никто бы не взыскал.

— Вы же сами говорили — живьем брать...

— Молодец, Казанцев...

Подъехала полуторка. Есипова посадили в кузов, спиной к шоферской кабине, рядом с ним устроился солдат Казанцев. Сеньковского положили на брезент, и возле него тоже сел солдат. Лейтенант крикнул: «Поехали!» — и уже на ходу вскочил в кабину.

Есипова допрашивали этой же ночью в особом отделе армии, который размещался в подвальном этаже жилого дома. Низкорослый лобастый майор, поднятый с постели, был в мятой, нескладной гимнастерке и меховом жилете, который не сходился у него на груди и животе, волосы его торчали клочьями, он жутко хотел спать, и ему стоило усилий сосредоточиться.

— Скажите, пожалуйста, вашу настоящую фамилию, имя и отчество. — в третий

раз вежливо попросил майор.

— Кроме того, что вы узнали из моих документов, я ничего не скажу.

Майор начал писать, его меховая жилетка взъехала ему на затылок, и он сердито ее одернул. Переписав данные с документа, он отодвинул бумаги:

— Может, поговорим просто так?

Есипов пристально, не моргая, смотрел на майора:

— Можете приступать, но учтите, что я не из тех, кто меняет убеждения от мордобития или еще от чего-нибудь в этом роде.

Майор мотнул головой, и из глаз его окончательно исчезло сонное выражение.

— Расскажите, каковы ваши убеждения? — сказал он и сразу спросил: — Или они тоже не подлежат огласке?

Есипов медленно повернул голову.

— Извольте. Я считаю вашу революцию и вашу власть преступным насилием над Россией и русским народом, — ответил он.

— И уверены, что Гитлер вернет России царя-батюшку?

— Царя необязательно, — флегматично возразил Есипов. — От монархии как формы государственного правления человечество ушло вперед.

— Ну что ж, от монархии вы отреклись, это уже кое-что... — устало сказал майор. — А там недалеко и до признания Советской власти.

Есипов молчал, только на его бесстрастном лице подрагивал бугорок под глазом.

— Судя по тому, что ваше оснащение состояло из одного пистолета и денег, — ровным, усталым голосом продолжал майор, — ваша задача носила характер организационный. И есть основание предполагать, что как раз вы и собирались организовать свержение Советской власти. Это так?

Есипов молчал, не мигая, смотрел на орден майора.

— Хотел бы договориться... — продолжал майор. — Как профессионал с профессионалом. Я работник армейской контрразведки, и, если ваше задание не касалось дел моего участка фронта, мне не хотелось бы зря тратить на вас время.

— Неужели вы верите, что выстоите перед натиском немецких армий? — вдруг спросил Есипов, подняв голову.

— Абсолютно! — ответил майор, и подобие улыбки мелькнуло на его сером лице. — Более того, мы уверены, что свернем шею Гитлеру... в свой час, конечно.

Есипов отрицательно повел головой, в его узких глазах появился насмешливый блеск.

Майор ждал.

— Ясно, что вы шли не ко мне, — продолжал он. — С вашими убеждениями и тем более с вашими деньгами в наших окопах делать нечего. У меня свои дела. Хотите что-нибудь заявить?

Есипов молчал, в его внимательных глазах пропала насмешка.

— Куда же вы меня отправите? В штаб Духонина? — спросил он.

— Простите, не понял. — Майор был молодой и не знал, что в гражданскую войну

штабом Духонина именовался расстрел. Он терпеливо объяснил: — Я отправлю вас дальше, в тыл. Хотя это понятие в нашем городе более чем относительно.

У Сеньковского была раздроблена кость. Когда хирург расчищал рану, проводник потерял сознание и очнулся уже в палате.

— Не отрезали? — спросил он.

— Целый, целый, — ответила сестра. — Не ерзай!

В палате Сеньковского уже ждали особисты — майор, который только что допрашивал Есипова, и старший лейтенант Горяинов. Они сели по бокам около его постели, старший лейтенант положил на колени папку с бумагой, приготовился вести протокол.

— Назовите свою фамилию, — начал майор.

— Сеньковский... Михаил Сеньковский, — ответил проводник. Он хотел приподнять голову, но это ему не удалось. — Рассказывать биографию нет настроения, — говорил он слабым голосом. — В архиве Ленгорсуда имеется дело за номером тридцать ноль два от одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Там обо мне полная картина. Получил семь лет. Сидел в «Крестах», а в сороковом году был переведен в Великие Луки, где впоследствии и был освобожден героической немецкой армией. Сказана одна правда.

— С какой целью шли через фронт?

— Моя роль вроде овчарки, что слепых водит. Провел, и гуд-бай.

— В каких штатах числитесь?

— Гатчинская спецшкола гестапо. Лыжный инструктор и проводник.

— Сколько провел?

— Этот — седьмой.

— Куда они пошли?

— Ничего этого не знаю.

— В вашей школе начальник штурмбаннфюрер Краус?

— Точно.

— А комендант Владимир Владимирович Смирнов?

— Точно...

— Опишите всех, кого вы перевели через фронт.

На другой день Есипов был доставлен на Литейный в Управление госбезопасности, где им занялся майор Грушко.

После двух допросов Грушко стало ясно, что Сеньковский вел через фронт агента какого-то особого назначения. Но какого? Надеяться, что тот сам скажет это, было бессмысленно. В конце концов, факт его принадлежности к разведке врага мог считаться установленным, и его можно судить по всей строгости военного времени. Но Грушко это не устраивало. На днях начальник управления на оперативном совещании сообщил, что, по мнению товарища Жданова, враг именно сейчас, когда ему не удалось с ходу ворваться в город, будет пытаться нанести удар в спину. Не шел ли арестованный по этим делам? Почему у него ничего не оказалось, кроме крупной суммы советских денег?

Грушко приказал тщательным образом обследовать одежду арестованного. Ночью телефонный звонок поднял Грушко с постели в казарменном помещении. Звонили из тюрьмы — при обследовании куртки арестованного за подкладкой, в вате, найдена записка, аккуратно свернутая и вложенная в конвертик из восковой бумаги. Через час Грушко уже рассматривал эту записку:

«Садовая ул., 25. К/К 1274.12.

Озерной п., 6. К/К 0911.16»

— вот все, что было на маленьком кусочке бумаги.

Отправив оперативников по адресам, указанным в записке, Грушко поднял с постели специалиста по документации майора Сурмина. Учитывая возраст задержанного и то, что он русский, Сурмин предложил сначала посмотреть историю указанных в записке домов, выяснить, кому они принадлежали. Может оказаться, что в этих домах жили какие-то богатые люди, которые при бегстве от революции спрятали там ценности, многие ведь надеялись скоро вернуться в Питер. Теперь этот тип пришел за спрятанным.

В последнее Грушко не верил, но с необходимостью проверки истории указанных в записке домов согласился. Сурмин сам отправился в городской архив, где ему предстояло провести труднейший поиск. Однако вскоре он уже позвонил Грушко и сказал:

— Опытный архивист подсказывает, что буквы К/К означают сокращение слов «купчая крепость», ищем регистрационную книгу по купле-продаже недвижимого имущества.

Еще через час Сурмин вернулся в управление и принес очень важную справку: оба указанных в записке дома были приобретены Андреем Сергеевичем Есиповым, один в 1912 году, другой — в 1916 году. Указанные в записке номера купчих крепостей сошлись.

Есипова долго вели по сумрачному коридору Управления НКВД, казавшемуся ему бесконечным, хотя он уже знал весь путь по зданию — конвойный прикажет ему три раза повернуть и наконец остановит его перед темной высокой дверью под номером 433.

За письменным столом возвышалась тоже знакомая ему фигура майора Грушко. Есипов встретился с ним взглядом и перевел глаза на стены кабинета, отделанные дубовой панелью, на стоявший в углу массивный сейф. Потом он опять посмотрел на майора и быстро отвел взгляд — почему-то сегодня в темных глазах чекиста поблескивал какой-то веселый огонек, а он привык, что они были спокойно-сосредоточенными.

Смотря на внешне равнодушного Есипова, майор Грушко прекрасно понимал, что записи на бумажке необязательно должны иметь отношение к сидевшему перед ним человеку. Но могли, черт возьми, и иметь!

— Ну как, будем продолжать игру в молчанку? — спросил Грушко.

— Мне эта игра нравится...

— Значит, вы — Колосков? Аверьян Владимирович Колосков?

— Так, именно так...

— А от настоящей фамилии отрекаетесь?

Что-то дрогнуло в неподвижных глазах арестованного.

— Если я вам назову вашу подлинную фамилию, вы это подтвердите?

— Ну-ну... — неопределенно отозвался Есипов.

Грушко ждал. Есипов молчал, лихорадочно обдумывая свое положение. Он допускал, что в руки следователя могла попасть даже та бумажка, которую он, нарушив приказ Акселя, спрятал за подкладкой рукава куртки. Но он не допускал, что его условная запись могла быть прочитана.

— Я знаю вашу настоящую фамилию, — повысил голос Грушко. — И не только это. Почему вы не думаете о том, что есть более разговорчивые люди, чем вы? Вы знаете, что за ложные показания мы привлекаем к уголовной ответственности... дополнительно, так сказать. Ваша фамилия Есипов. Верно?

Есипов молчал, но кровь прихлынула к его лицу и медленно отошла, лицо его снова стало желтоватым.

— Да, или будем дальше запутываться?

— Да, — негромко ответил Есипов и, вдруг подняв голову, сказал с силой: — О том, с чем я сюда шел, я не скажу ни слова! Вас это не должно интересовать. Судить меня за несделанное вы не можете!

— Это пока не нужно. Я прошу только рассказать подлинную биографию. За биографию мы тоже, как правило, не судим.

Есипов рассказал историю своей жизни. Располагало, что Грушко никаких записей не делал и слушал его очень внимательно, даже с каким-то интересом.

Его отец — купец и биржевой игрок. Бежал из России в ноябре семнадцатого. Увез с собой семью. В Германии стал коммерсантом, занимался продажей земельных участков. Там, в Германии, Есипов окончил школу младших офицеров, в высшую школу иноплеменным попасть было почти невозможно. И наконец, служба в одном из подразделений абвера...

Грушко с любопытством разглядывал человека, явившегося из другого мира.

На вопрос, чем он занимался здесь, на войне с Россией, Есипов отвечать не пожелал.

Немецкие документы. Читать их очень интересно. Даже просто в руках держать: это же их документы, с ними они жили, воевали, пришли сюда нас убивать. Что ж у них там, в документах, в письмах? Вот недописанное письмо домой, очевидно отцу, Гюнтера Чакена: «Холод, проникающий до костей, и насекомые в белье, которые жрут тебя, как звери, — одного этого вполне достаточно, чтобы доброе настроение, которое ты от меня ждешь, испарилось безвозвратно. Твоя война была совсем другой, и, наверно, всегда войны отцов их сыновьям кажутся до смешного легкими. Нашу войну не дай бог никому еще. И тяжелее вряд ли может быть...»

Из дневника капрала Михеля Арнима (выписываю не все, очень много в дневнике похабщины и самолюбования): «19 сентября. Остались считанные километры, и скоро мы будем в Ленинграде, или Петербурге. Уже несколько дней наши „штуки“ висят над городом, и мы видим на горизонте дымные следы и зарева по ночам. Как хорошо, что наш батальон в первом эшелоне, мы войдем в город первыми. Не буду таким дураком, как в Риге... 28 сентября. Стоим на месте. Сильный артиллерийский огонь, офицеры говорят, что это стреляет русский флот. Нам от этого не легче. Обидно выбить из строя на пороге добычи... 12 октября. Русская артиллерия может довести до сумасшествия. Бьет днем и ночью. А когда затихает обстрел, в атаку кидаются русские. Они атакуют тоже и днем и ночью. Мы несем потери. Неужели мы остановились прочно? Офицеры запрещают об этом спрашивать. Теперь я точно знаю, что такое собачий холод... 10 ноября. Черт знает что! Если вы у меня спросите сейчас, хочу ли я в этот чертов город? Будь он проклят! И вообще, зачем мы туда лезем, если фюрер велел этот город уничтожить. Наш милый берлинский,

никогда не унывающий рундфункговорил вчера, что настоящая война легкой никогда не бывает и что только плохой солдат киснет от первой трудности. На одну бы ночь ко мне на фронт этого радиооператора!.. 21 ноября. Офицеры говорят: одна зима и для вас и для русских. Но почему-то у разбитых русских на каждом солдате шуба из меха овцы, а у нас драка за каждую такую шубу. Между прочим, взятый вчера в плен русский санитар сказал, что в Москве в их государственную дату был военный парад, а здесь, на фронте, каждый получил полбутылки водки. Что-то непонятно мне все... 1 января. Ну и рождество! Ну и Новый год! Обнаружил сегодня, что из первого состава нашей роты в живых остался один я. Воспримем это как драгоценный новогодний подарок...»

А вот любопытная страница, вырезанная из немецкого иллюстрированного журнала «Сигнал» за 1940 год. На одной стороне снимок: над Парижем висят «юнкерсы». Подпись: «Всегда над всем». На другой стороне — цветное фото: пляж Французской Ривьеры. На переднем плане — шеренга сапог и кучек одежды. На втором плане — в море стоят, обнявшись, шестеро. Наискось надпись от руки: «Незабываемому Клайду в память о забываемых райских днях, о чем ярко говорят и наши физиономии. Аминь. Вальтер Крюгге».

Смотрю, смотрю на этих шестерых и злорадно выбираю, кто из них «незабываемый Клайд», сгоревший в русском аду. И все мне одинаково нравятся в данной роли. Все.

Глава девятнадцатая

Стояла тихая морозная ночь. Все было неподвижно. Даже подвешенная в стоячем воздухе снежная пыль. Ее можно было тронуть рукой, как полог, и тогда она искрилась. Недвижно вмерзла в небо над Литейным бледно-зеленая луна, и все вокруг замерло под ее мертвенным светом.

На каждом перекрестке Дмитрий Гладышев останавливался и, пораженный, смотрел вокруг — никогда он не видел свой город таким красивым и таким страшным. Строгие, насквозь промерзшие ленинградские дома покрылись снаружи инеем, и он таинственно поблескивал. Одна сторона Литейного, освещенная луной, точно северное сияние, излучала какой-то нереальный свет, который вздрагивал, шевелился и постепенно гас в синей глубине проспекта. Крахмальный скрежет каждого шага слышался так громко, что Дмитрий старался не вжимать в плотный снег подкованные каблуки тяжелых кирзовых сапог.

Сегодня после дежурства его отпустили домой — не часто теперь выпадала ему такая возможность, да и дома-то никого не было. Дмитрий жил на казарменном положении. В управлении, в подвальном этаже, в просторной комнате стояли койки, там в любое время суток всегда кто-нибудь спал, а по ночам половина коек пустовала. В центре комнаты потрескивала «буржуйка», за ней следил дежурный по топке — печка прогорала быстро и так же быстро остывала, пока ее разогреешь заново, все досыта наглотаются горького дыма. Но никто не сетует — на войне как на войне. А родной дом нет-нет да и вспомнится, и заночует душа...

Сестры Гладышева давно эвакуировались и живут в Сибири, там у них по вечерам светятся окна и есть еда — невозможно в это поверить. Мать осталась в Ленинграде, работает няней в госпитале и живет там. Отец тоже ночует на своем заводе, у них общежитие в теплой котельной. Но сегодня они придут домой — сегодня матери исполнилось пятьдесят лет.

Дмитрий уговаривал мать уехать в Сибирь с сестрами, но она рассердилась, сказала, чтобы он не лез не в свое дело.

— Едут те, кого приказом отправляют, — сказала она. — И еще некоторые перепугались. А я уже давно пуганая — привыкла. Пусть отец скажет, кто, когда и как забоялся...

Дима давно знал историю, как молодые мать и отец в восемнадцатом году пошли добровольцами защищать Питер и как на какой-то железнодорожной станции мать стреляла из винтовки, а отец кричал на нее, чтобы уходила. Она тогда носила первую дочку, ясно, что отец боялся, но, вспоминая об этом, мать всякий раз рассказывала так, будто отец тогда струсил, она нисколько: «Стреляю себе, и все тут...»

В общем, не уехали, остались, воюют...

Дмитрий свернул с Литейного на улицу Жуковского и остановился. Эта улица была совсем другой: зеленоватый свет луны круто падал на одну ее сторону, а другая была в синей тени.

Впереди, на зеленой искрящейся стене дома, что-то шевельнулось. Дмитрий не сразу понял, что это был дым, он выползал из трубы, выставленной в форточку, и стелился по стене вверх, быстро тая. Гладышев шел, подняв лицо вверх, и непрерывно смотрел на дым, на окно, из которого он выползал, как будто он мог увидеть, что делалось там, внутри дома. Он знал: там, за окном, живут и борются за жизнь. Может, пришел человек с дежурства на крыше, растопил «буржуйку», греется, хлеб поджаривает, воду кипятит и вспоминает мирную жизнь. А может, просто не спится человеку, боязно умереть во сне, вот он и затопил печку, чтобы жизнью запахло... А может, человек вырвался домой на одну ночь с фронта и

отогревает теперь свое родное жильё?..

А вдруг там, за окном, у печурки сидит и отогревается какая-нибудь сволочь? Эта мысль возникла сама собой. Дмитрию приходилось много думать об этом. Только вчера он участвовал в аресте одного скромного фотографа.

В немецком иллюстрированном журнале «Сигнал» появились снимки разбитых ленинградских домов. Сначала думали, что это фальшивки, но специалисты дали заключение, что снимки подлинные. Москва приказала найти фотографа. Постепенно подозрение сосредоточилось на трех людях. Среди них был фотограф Геннадий Иванович Соколов. Фотоателье, в котором он служил, давно было закрыто, а персонал разбрелся кто куда, большинство ушло на фронт. В делах ателье нашли справку, что Соколов мобилизован в армию, но выяснили, что он дезертировал и жил в чужой, покинутой жильцами квартире.

Его арестовали в момент, когда он фотографировал стоящие на Неве боевые корабли. Он бросил фотоаппарат, стал отстреливаться, пытался бежать, и как раз Дмитрий догнал его, выбил из его руки пистолет, прижал к ограде Летнего сада. А в десяти шагах на тротуаре ничком лежал уже мертвый старший лейтенант Гриша Бровка, первый учитель Дмитрия. Он выстрелил на мгновение позже фотографа...

Пойманный враг был только немного постарше Гладышева, жил с ним в одном городе, они ходили по одним и тем же улицам, может быть, однажды вместе смотрели в кино «Чапаева». Вспоминая об этом, Дмитрий снова и снова видел его глаза — бешеные от ненависти и страха.

— Кулацкий отпрыск, вот и вся механика, — сказал на «оперативке» Прокопенко. Конечно, это многое объясняло, но хотелось знать о враге гораздо больше, и главное — надо было понять, как ему удавалось столько времени обманывать всех, кто был рядом с ним.

Дмитрий уже миновал площадь Восстания и вошел в темное русло Староневского. Только сейчас он заметил, что луна погасла и зеленое чудо исчезло. Перед ним была заваленная снегом темная улица, по бокам черные скалы домов.

Почувствовав холод, он шел все быстрее. У перекрестка перешагнул через невысокий холмик, сделал несколько шагов и вернулся... Не первый раз он видел покойников на улицах и в квартирах, и сейчас он привычно и без особого волнения смотрел на лежащую женщину, уже запорошенную снегом. На ней был короткий полушубок, ноги в ватных брюках и залатанных валенках были поджаты. Он понимал, что сейчас надо было бежать куда-то, звать: «Товарищи! На улице лежит мертвая женщина!..» Но никто этого не делал.

Дмитрий наклонился, отвел с лица мертвой длинные волосы и потрогал лоб — это был промерзший, покрытый инеем камень. Взяв женщину под руки, он перетащил ее в туннель ворот — за ночь ее могло совсем засыпать снегом, а тут утром ее подберут бойцы санитарно-бытовой команды. Какое-то непонятное чувство заставило его прислонить ее спиной к стене, не хотелось оставлять ее лежащей. Он близко увидел ее лицо — казалось, женщина устало улыбалась, но непонятно было, старая она или молодая. Платок свалился, и длинные волосы рассыпались по плечам...

Мать открыла дверь и, подняв коптилку, смотрела на сына.

— Ты же весь белый, — тихо сказала она, снимая с него шапку и стряхивая иней. — На работе тебе ничего теплее дать не могут?

— Нельзя, надо, чтобы мы быстрее ходили... — Дима хотел улыбнуться, но щеки одеревенели, были как чужие, слезились, оттаивая, глаза. — Сейчас, мам... — Он стащил с себя тесное, надетое поверх ватника пальто.

— Ватник оставь, печка что-то не разгорается.

— Ну, здравствуй, мамуль. С днем рождения тебя... — Дима неловко ткнулся лицом в плечо матери, она прижала к себе его голову, погладила его лицо:

— Худющий...

— Давно не мылся.

— Ну и дурак. Поесть можешь забыть, а мыться никак! Утром не умылся, значит, уже не человек. Товарищей не уважаешь, на службу плюешь.

— Моюсь я, мама, моюсь, честное слово. — Дмитрий крепко обнял мать. Нет, нет, дома было как всегда — мама его ругала, воспитывала, заставляла мыться. Пахло печкой, и теплые шершавые руки матери — вот они, их можно прижать к щеке, погладить. Впрочем, мать не очень-то терпит нежности.

— Иди-ка к отцу... жар у него, — сказала она строго. — Я печку посмотрю...

Сильно похудевшее лицо отца заросло рыжеватой щетиной. Он отрывисто и хрипло дышал, нижняя губа у него дрожала. Дима наклонился и поцеловал его в висок.

— Ну, что, батя?

— Лихо, сынок. Будто в снегу лежу. Водочки бы выпить. И матери подарок... — Отец попытался улыбнуться.

— А что случилось-то? — Дима сел рядом с отцом.

— Что-что... Работают одни бабы. Ну, кран с рельсов сошел. Сами ставили. Тяжелый. Распарились... — отец говорил медленно, с остановками, глаза его очень блестели в свете неяркой керосиновой лампы, висевшей над его головой.

— А у тебя что? — спросил отец.

— Работаем, что ж еще...

Пришла мать, села в ногах у отца.

— Погляди, погляди, сынок, на героя, — с ходу сварливо начала она. — Кран руками подняли. И еще хвастает этим безобразием. Гляди, подарочек мне сделал — явился вон какой...

— Перестань ты меня перепиливать... — Отец закрыл устало глаза. — Простыл я, и все. Лучше накрыла бы чем еще.

Мать принесла из сундука не то ковер, не то половик — толстый, из деревенской шерсти.

— Горюшко ты мое на всю мою жизнь, — вдруг нежно сказала она, укрывая мужа. Она положила голову ему на грудь, и Дмитрию показалось, что она тихо всхлипнула.

— Ты что, мама? Мамочка... — сказал он, привалившись к ее плечу.

— Так-то лучше, — прошептал отец.

— Ой, печка-то... — торопливо сказала мать и быстро вышла.

В комнате было слышно, как трещала на кухне плита. Дима достал из кармана малюсенький сверток — норма сахара на два дня. Вдруг ему почудилось, что запахло чем-то знакомым, забытым. Отец беспокойно задвигался на подушке.

В дверях показалась мать. На ней было ее любимое платье в полоску — отец привез ей из Риги в прошлом году. Она несла на подносе три большие чашки, из них шел пар. И... неслыханный, ни с чем не сравнимый аромат заполнял комнату.

— Настоящий чай! — ахнул Дима.

Мать дала ему чашку и села к отцу.

— Ну, вот и собрались... как бывало... — бодро начала мать и вдруг заплакала, закрыв ладонью лицо.

— Мам... ну, мам... ну, что ты, право?.. Мам... — забормотал Дмитрий, опустив голову.

Отец вдруг сердито начал:

— Да что ты, ей-богу. Срам. Гитлер того и хотел. Вот и добился, чтобы мы тут плакали.

— Ты что это говоришь? — возмутилась мать, сразу перестав плакать. — Я просто девочек наших вспомнила.

— А девочек нечего оплакивать. Голода у них нет, войны нет, значит, все в порядке.

— Ты всегда к ним с прохладцей был... — начала мать свою старую обиду. — Тебе все сына надо было, а дочки тебе не с руки. Знаю я тебя. Не первый год.

Глаза у отца были закрыты, только чуть подрагивали мохнатые брови, а рот чуть улыбался — он своего достиг.

Дмитрий смотрел на них, пил чай, слушал, как они препираются, не мог сдержать улыбки и боялся, что это может снова рассердить мать.

Она с сердитым видом держала высокую чашку отца около его рта, а он, прикрыв глаза, прихлебывал чай и, вынув руку из-под одеяла, тихонько гладил руку жены.

Дмитрий вдруг с какой-то пронзительной остротой почувствовал, как он любит их, как они ему дороги, как ему больно видеть их похудевшими, усталыми, пришибленными. Глаза матери, голубые, в сеточке морщин, под пушистым венчиком ресниц, сейчас были влажные, глубоко запавшие, и было в них что-то незнакомое. «Война, конечно, война», — подумал Дмитрий. Она была во всем, что стало теперь их жизнью, — в обледенелом окне, слезившемся от тепла, в щелканье метронома по радио, в том, что они снова и снова, как о чем-то необыкновенном, говорили о еде.

— С чаем-то что вышло... — рассказывала мать. — Перед самой войной Лиза была у нас и сказала: положи в белье пачку чая для аромата. А прошлый раз стала простыню доставать, гляжу: пачка. — И она счастливо смеялась.

— Что-то, братцы, холодает, — сказал отец.

Мать бросилась на кухню:

— Вот дура, о деле забыла... Главный жар проворонила, — слышался оттуда сердитый голос.

— Ну, как? — спросил отец.

— Нормально... — ответил Дима.

— Ловите врагов-то?

— Конечно, ловим. Вот вчера взяли одного. Сволочь такая — печати негде ставить...

— У нас на заводе тоже давеча ночью ракетчика поймали. Оказалось, это Степан Кузовлев — член партии с семнадцатого года.

— Да брось ты!

— У него кресало для прикурки сделано из кремня величиной с кулак и било такое же. Он стоял на дежурстве возле забора и прикуривал, вот его и схватили.

— Ну, дела... — смеялся Дмитрий.

— Поди-ка помоги матери, — вдруг обеспокоенно сказал отец.

Мать стояла и смотрела в замерзшее окно, будто видела что-то сквозь лед, плечи ее вздрагивали. Дима обнял ее сзади и прижался плечом к ее спине.

— Ничего... ничего... ничего, — повторяла она тихо.

— Конечно, ничего, мамуля... — так же тихо шептал он ей в самое ухо.

— Ночевать-то дома будешь? — спросила она. — Тогда ложись, встать ведь рано...

Рано утром, когда над осажденным городом еще не рассеялась ночь, Гладышев вышел из дома. Было очень знобко, и он шагал быстрым, энергичным шагом. Город затопила туманная мгла, хотя мороз, кажется, сдал. Из серой мути навстречу Дмитрию выплывали один за другим дома и тут же снова исчезали во мгле за его спиной. Казалось, улице не будет конца...

Дмитрий вышел на Староневский и увидел, как от ворот, где он вчера оставил мертвую женщину, отъехал грузовик, а на тротуаре остались две женщины и ребенок, который кричал на всю улицу. Женщины о чем-то спорили. Гладышев пошел быстрее и через несколько минут был около них. Девочка перестала кричать и тихо выла без слез, глазенки ее смотрели неподвижно, как стеклянные.

— Бюрократы проклятые, — жаловалась женщина с изможденным, темным лицом. — Приезжали из бытовки, мать-покойницу забрали, а девочку оставили. Куда мы ее денем? Кто ее кормить будет?

— Даже с карточками ничего не выяснили, — слабым голосом сказала другая женщина. — И главное, еще говорят: если вы люди, позаботьтесь.

Девочка умолкла и со страхом смотрела на Гладышева. Вдруг она подбежала к нему, обхватила его колени:

— Дядя, дядя, дядя! Поедем к мамочке! — закричала она громко.

— Да, поедем... Дмитрий взял девочку за руку, и они пошли.

Девочка вскоре закапризничала, стала кричать, плакать, пришлось взять ее на руки. Было ей всего лет пять, но она показалась Дмитрию очень тяжелой. Сначала он уговаривал ее не плакать, но говорить было трудно, и он замолчал. Девочка перестала вырываться и только выла тоненьким голоском, уткнувшись в его плечо...

— Где подобрал? — без удивления спросил Прокопенко, когда Гладышев вошел в его кабинет с девочкой на руках. Все, кто его сегодня встречал, непременно задавали этот вопрос, люди словно хотели, чтобы девочка запомнила адрес, который все время повторял Гладышев. Может быть, потом, лет через десять, когда будет мир, она вдруг скажет однажды, что почему-то ей помнится адрес: Староневский, двадцать девять...

— Староневский... мать умерла, — ответил Гладышев.

— Неправда! — вдруг пронзительно закричала девочка и стала вырываться.

Прокопенко, буркнув Гладышеву: «Идиот», взял у него девочку и стал успокаивать

ее.

— Конечно, неправда, — говорил он. — Дядя не знает, а говорит, а я знаю, ты слушай меня. Договорились? Мы сейчас займемся с тобой делом и прежде всего разденемся... — Он раскрутил шерстяной платок, снял с нее пальто и меховую шапку. — Как тебя звать?

— Надя, — всхлипнув, ответила она. Личико у нее было синее, маленькое, большие голубые глаза с мокрыми ресницами, крохотный красный носик.

Прокопенко посадил ее на свой жесткий клеенчатый диван.

— Покормить бы... — нерешительно сказал Гладышев.

— Иди узнавай, где устраиваются такие дети, да шевелись, надо работать, службу еще не отменили! — приказал Прокопенко.

Иду по улице Дзержинского. Вдруг парадная дверь большого дома распахивается, и на улицу выбегает девушка в полушубке и солдатской шапке-ушанке. Она хватает меня за рукав и тащит в подъезд.

— Помогите, товарищ командир, — говорит она, таща меня по лестнице. — Справиться не можем, случай тяжелый. Вы не подумайте — мы с подружкой бытовички. Два покойника, а родственники не дают похоронить.

— Карточки? — спросил я.

— Да нет! Черт знает что! — ответила она.

Мы вошли в старинную, наверно, когда-то богатую ленинградскую квартиру, все потонуло в грязи, в пыли, затянуто паутиной. Зеркала в передней мутные, разбитые. В громадной комнате слева, в кресле на колесах, сидела старуха в меховом чепце. За ее спиной стояла женщина немного помоложе, одетая в длинный салоп, перехваченный кушаком, и в мужской бобровой шапке. На диване лежал кто-то, покрытый пледом, а на полу, у стены, лежала женщина, закрытая газетой.

— Ну вот вам командир, жалуйтесь, — сказала девушка.

Старшая, та, что сидела в кресле-коляске, спросила протяжным, скрипучим голосом, понимаю ли я по-французски. Услышав отрицательный ответ, она осуждающе помолчала, мелко кивая головой, и сказала:

— Я не могу допустить, чтобы мой брат — полковник и дворянин — был похоронен вместе с кухаркой. — Она глазами показала на лежавшую на полу женщину.

— Он полковник не наш, товарищ командир, он из царских и совсем старичок... — сказала девушка и приоткрыла плед, я увидел только белую бородку клинышком.

— Вы, я вижу, офицер, — продолжала старуха, не слушая девушку. — Тогда вы просто обязаны дать мне гарант, что брат будет похоронен достойно и, конечно, не вместе.

— Ленка, бери кухарку, — позвала подружку моя знакомая. — А мы с командиром возьмем дворянина. Быстренько, взяли!

Старуха что-то бормотала и крестилась, вытащив костлявую руку из муфты. Другая женщина не то вскрикивала, не то рыдала, и под эти звуки мы вынесли покойников из квартиры. На улице девчата уложили царского полковника и его кухарку на одни саночки и крепко скрутили их веревочкой.

— Спасибо, товарищ командир, — сказала девушка.

— И много вам приходится за день так?..

— Такой случай впервые. Прямо мозикане какие-то...

— Сколько на день приходится?

— Ну, это неровно. Был день — помнишь, Лен? — мы тогда девятнадцать человек свезли...

Мы познакомились. Варя Малахова — светлые глаза — она меня втянула в эту историю, и Лена Уварова — черненькая — ее подружка и напарница по санитарно-бытовому отряду. Я потащил вместе с ними саночки.

— А как красиво умирают люди, плакать хочется, да слез нет, — говорила Варя. — До войны я только одну такую смерть и знала — девушек-парашютисток Любы Берлин и Тамары Ивановой. Не помните? Шли на мировой рекорд и врезались в землю. Да... знаете, почему-то многие ленинградцы перед смертью пишут: у кого мы находим дневник, у кого — письмо, у кого — фотографию с прощальной надписью. У кого что... Передали бы по радио эти записи. Лен, ты еще не сдала? Слушайте, мы вам завтра принесем, и вы спишите. Оставить мы не можем, приказ есть — сдавать в райком.

На другой день они принесли мне сверток, в котором были две тетрадки и отдельные листки с записями. Делаю выписки:

«Прошу довести до сведения моей парторганизации при базовом складе Аптекоуправления, что дистрофия не прекратила моей деятельности как члена партии. Хотя я уже не могла выходить на работу, я несла дежурство по двору и в бомбоубежище нашего жилого дома. Всякую деятельность я прекратила 4 января с.г. Теперь силы окончательно оставили меня, я стала лежачей больной и фактически умираю.

Пусть вечно живет наша партия большевиков! Да здравствует наш великий вождь и полководец Сталин! Победа будет за нами — наше дело правое».

Подпись, скорей всего, Родионова (но, может быть, и Родимцева) Н.П. (или Н.И.).

«Я потерял карточки, винить в этом некого, а силы исходят. Будучи от рождения калекой, я не приносил своей Родине пользы, и это было для меня великим горем... С этим горем в душе я и умираю, благодаря всех, кто скрашивал своей заботой мою бесцельную жизнь.

Игорь Алешканов

1918 год рожд.».

«Будьте трижды прокляты, ироды, бандиты Гитлера! Люди добрые, отомстите за нас.

Любимая Родина не умрет никогда.

Санникова А.».

Глава двадцатая

На улице жуткий мороз, что-то около тридцати, а в квартире тоже. Стена около окна покрыта инеем, стекла блестят в узорах толстого льда.

Потапов жил теперь в квартире профессора Кожемякина, который еще в августе был эвакуирован с семьей и охотно предоставил свою квартиру НКВД. Здесь было очень много мебели, каких-то вещей, о назначении которых Потапов не имел представления. Он обосновался в кабинете хозяина — комната была меньше, чем другие, с высокими книжными шкафами по стенам. Окно Потапов забил ковром и одеялом — этого добра здесь было сколько угодно. Он соорудил на диване постель, в которую можно было залезть, как в нору, можно было как-то раздеться и спать без одежды.

Вернувшись после встречи с Грушко, Потапов, не снимая полушубка, ходил по кабинету. Настроение было плохое. Очень трудно жить под чужим именем. Но если бы такая жизнь давалась людям легко, не было бы недостатка в талантливых разведчиках. У себя такого таланта Потапов не замечал. Он все время думал о том, что его товарищи ведут ежедневный открытый бой с врагом, а он в это время гоняется за теньями.

Бруно, из-за которого Потапов был направлен в Гатчину, так и не появился. Теперь Потапов ждет здесь, он работает начальником цеха в тех мастерских, где директором был Бруно. Давыдченко вместе с ним вернулся в Ленинград. Сначала они встречались, и Давыдченко, казалось, был с ним вполне откровенен, обещал познакомить со своими друзьями, он называл их большими учеными людьми. Дней десять назад он позвал Потапова пойти к кому-то в гости, но сам не явился в условное место. И больше не появлялся.

Сегодня вместе с Грушко они тщательно обдумали создавшуюся ситуацию и пришли к выводу, что Потапов поступил правильно, отказавшись от мысли идти к Давыдченко домой.

Надо ждать. Если Давыдченко связан с враждебно настроенными людьми, они рано или поздно должны заинтересоваться Потаповым. Он спросил: «Сколько же можно ждать?» Грушко, помедлив, ответил: «Начальник управления вообще считает, что, раз ты вошел в роль, тебя надо держать в городе, твоя помощь может понадобиться и в других операциях...»

Потапов остановился, прислушиваясь, — ему показалось, что в стену стучали. Стук повторился. Стучали настойчиво — подождут немного и снова стучат. Так зовут на помощь. Потапов знал, что там, за стеной, квартира какого-то ученого, но никогда никого здесь не видел.

Он вышел на лестницу и толкнул соседнюю дверь — она была незаперта. Зажигая спичку за спичкой, прошел по длинному коридору и уперся в дверь. Открыв ее, он увидел качающееся пятно тусклой коптилки и что-то неясное в темном углу.

— Вы стучали? — спросил Потапов.

— Да... извините... — послышался из темноты шелестящий звук. — Проходите... садитесь... Я слышал... вы там ходите... ходите... Подумал, человек один... может, горе...

Потапов сделал несколько шагов и разглядел на широкой кровати под кучей одежды человека с длинной седой бородой, в меховой шапке.

Потапов опустился в старинное, глубоко просиженное кресло.

— А я решил — вы зовете на помощь, — сказал он.

— Тоже правильно... — сипло ответил старик. Он сделал попытку приподняться,

чтобы посмотреть на Потапова, но голова не поднималась. — Да, жили мы глупо... разобщенно. Кожемякины — вот все, что я знал... А ведь соседи... — прерывисто говорил он. Было видно, что сил у него нету, но он очень хочет говорить. — Вы кто же будете из Кожемякиных?

— Меня вы все равно знать не могли, — ответил Потапов. — Я племянник Дмитрия Андреевича. Они просили меня поселиться у них.

— Какие предусмотрительные люди, — пробормотал старик. — Ну, а я Безуглов, Тарас Борисович... орнитолог, что означает попросту птичник.

— Турганов Дмитрий Трофимович.

— А занятие ваше... извините за праздное любопытство...

— Заведую мастерской, шью белье для госпиталей.

— Хорошее занятие... хорошее...

— А вы тут один? — спросил Потапов.

— Как это один? Нас мно-о-о-го, — ответил старик и надолго замолчал. — А все же, чего ходите там? Я ведь не только птиц понимаю.

— Спасибо, профессор. Хожу просто так, не спится.

— Чем ходить, посидите лучше со мной. Хотите, я расскажу вам одну историю? Не бойтесь... коротенькую.

— А вам не трудно? — спросил Потапов.

— Нет... слушайте... только я не могу быстро... Сейчас... Пожалуйста... сделайте одолжение... поверните меня на бок... хочу вас видеть.

Потапов исполнил его просьбу, он был легкий, как ребенок.

— Спасибо... сейчас... голова закружилась... — Он закрыл глаза и полежал молча. — Слушайте... — начал он. — Я знал одного... ученого... Мы с ним вместе кончали университет... красавец... Алеша... Алексей Дормидонтович... Он биолог... Мы не дружили... но жена приглашала его в дом... я не возражал... интересны не только птицы... — Он открыл глаза, посмотрел на Потапова и снова закрыл. — Сейчас... дальше... Это был изумительный карьерист... Хитрый, как дьявол... И ему везло... Однажды... он сказал мне: каждый, кто хочет сделать себе имя в науке... должен прочитать... всего Ленина... Что скажешь против этого?.. Но надо было слышать... как это было сказано... Да... Забыл важное. Все, что он писал и говорил о биологии... не было лишено интереса. Он, как говорится, хорошо знал предмет... И вот... десять дней назад он был здесь у меня... сидел в этом кресле... Представьте себе — не эвакуировался. Сказал — не захотел... Ленинград... сказал... останется Ленинградом... что бы ни произошло. А я сказал... Ленинград назовут Гитлерштадт... Вы думаете, он закричал? Стал уверять, что я его не так понял?.. Отнюдь... Он сказал, что... биологическая школа у них... очень сильная... стал называть имена... Тогда я закричал... глупо... истерически. Чтобы убирался вон и так далее. Скажите... чего он от меня хотел?

— Ему нужны союзники, — ответил Потапов.

— Боже мой... боже мой... — тихо сказал профессор. Потапов смотрел на него и думал о том, что можно сделать, чтобы помочь этому старому человеку.

— Кто вам выкупает хлеб, профессор? — спросил Потапов.

— Девочка из нашего дома... Катя... Она мне и воду приносит... А знаете, у этого биолога... физиономия сытая... он не умрет...

— Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил Потапов.

— Да... — еле внятно сказал профессор. — Очень обяжете... пожалуйста... поверните меня обратно... и борода... сюда...

Потапов встал, наклонился над ним и повернул его легкое тело снова на спину.

Старик сказал что-то беззвучно — одними губами и затих.

Потапов посидел, подождал, мучительно соображая, что сейчас он мог бы для него сделать, но ничего не придумал.

Надо было идти к себе и тоже постараться уснуть.

Давыдченко явился утром, когда в замороженных окнах едва наметилась синева зимнего дня. Потапов провел его в кабинет.

— Что случилось? — спросил он.

— Дело есть, — ответил Давыдченко.

— Но зачем же в такую рань? Мне на работу надо.

— Куда?

— На работу.

— Бросьте... что еще за работа?

— Работаю на швейной фабрике. — Потапов встал. — Пошли...

— Вот это да! — сказал Давыдченко. — Вы что же, не могли остаться в стороне и так далее?

— А вам-то какое дело? — Потапов стал застегивать свою овчину и направился к дверям.

Давыдченко подошел, схватил за руку:

— Да бросьте вы!.. Сядьте, прошу вас. Есть серьезный разговор.

— Мне нельзя опаздывать.

— Да бросьте вы, Дмитрий Трофимович! У меня серьезное дело.

— У меня тоже.

— Значит, и нашим и вашим?

— По крайней мере, ясно, кто я и чем занимаюсь.

— Дмитрий Трофимович, вами интересуются большие люди. Они придумали великое дело. Создают организацию патриотов, хотят сохранить исторические и культурные ценности Ленинграда.

— Сохранить от немцев?

— А разве они не заинтересованы, чтобы все оставалось на месте?

— Вот это уже понятнее, — сказал Потапов. — Что требуется от меня?

— Участие, и все. Сам я больше ничего сказать не могу. С вами будут говорить другие. Послезавтра я жду вас в полдень на перекрестке Загородного и

Ломоносова. Знаете? И мы пойдём... Не хотел говорить... но по дружбе, Дмитрий Трофимович... К вам относятся очень серьезно. Вы же знаете немецкий?

— Ну и что?

— Если идти... туда... к ним...

— Ясно. И вы сказали, что у вас есть на примете такой дурак? — спросил Потапов.

— Ну, зачем вы так, Дмитрий Трофимович?

— Ладно. Поговорим — увидим. Я опаздываю, Михаил Михайлович. Пойдемте.

По лестнице поднимались девушки с носилками. Дверь в квартиру профессора была открыта.

На улице у подъезда стояли саночки...

Я только что пришел со свадьбы. Со свадьбы, черт побери! Где были и жених при крахмалке и невеста в белом платье. И были гости. И мы пили водку и кричали «горько!».

Варя Малахова из бытовой команды выходила замуж.

Свадьба в городе, где ежедневно от голода умирают люди. Пир во время чумы?

Нет! Торжество жизни над смертью!

Жених — младший лейтенант с зенитной батареи — пожелал на свадьбе быть в штатском, и девчата достали ему белую рубашку. Неважно, что рубашка была номера на три больше, жениху пришлось в январе закатать рукава как в июльскую жару. Справляли свадьбу в казарме, где жили девчата. Чистая, светлая комната, как в женском студенческом общежитии. Стол был сделан из двух половинок двери, положенных на козлы. Гостей было человек двадцать — девчата из бытовых команд и зенитчики. Все пришли со своим хлебом. Водка была зенитная.

Я сидел между матерью невесты и командиром батареи капитаном Савиным. «Пусть благодарят бога, что нелетная погода, а то я бы им дал свадьбу», — вдруг сказал капитан и засмеялся. Он вытащил из кармана фотографию жены, двух дочек и объяснил: «В Перми живут, там войны нет. Счастье. Верно?»

Мать невесты — травмажный вагоновожатый. Но трамвай теперь бездействует, и она работает в госпитале. «Дочка ты моя единственная, — сказала она нараспев. — Не такой я тебе свадьбы желала, чтоб вот так сидеть на кроватях и чтобы хлеб был самой сладкой едой. Но раз уж любовь к тебе пришла и украсила твою страшную жизнь среди покойников, совет тебе да любовь. Отцу я напишу, как все тут было, и он еще сильнее будет бить врагов. В народе говорят, что для рождения и смерти время не выбирают. И свадьбу тоже надо играть, когда любовь пришла. Будьте счастливыми, ребята мои».

«Ура!» — закричал капитан Савин. За ним все: «Ура!»

На наш крик со второго этажа прибежал старичок. «Что случилось? Что случилось? — спрашивал он. — У меня радио не работает. Войне конец?»

Узнав, в чем дело, он заплакал. Ему дали рюмку водки и целый черный сухарь. Водку он выпил за молодых, а сухарь унес с собой. И когда он ушел, мы долго молчали.

Жених — совсем еще мальчик, хотя и младший лейтенант, — собрался говорить. Он заметно опьянел, и капитан Савин смотрел на него тревожно. «Не испортил бы песни, сопляк», — тихо сказал он мне. Но жених ничего не испортил. Он сказал коротко: «Шел я на войну, думал, погибну, а я на ней счастье нашел. Вот

тебе и война». Он засмеялся и стал целовать жену, не ожидая, «горько».

Глава двадцать первая

Давыдченко назначил Потапову прийти через день, в полдень, на угол Загородного проспекта и улицы Ломоносова.

В одиннадцать Потапов был уже на месте — нужно посмотреть, откуда появится Давыдченко, как себя поведет, не будет ли его кто-нибудь сопровождать.

Потапов зашел в подъезд с застекленной дверью, оттуда прекрасно видел весь перекресток. Была оттепель, над городом размахнулось чистое, светлое небо. Редкие прохожие шли медленно, не глядя по сторонам. Около стены напротив стоял, прислонившись, старик — отдыхал, наверно, а около афишной тумбы стоял парень из отдела Прокопенко. Вчера Потапов звонил Грушко, чтобы на всякий случай прислали наблюдение.

На улице пустынно, тихо. Где-то в стороне проехала машина. Прошли два моряка. Потапов снова посмотрел на знакомого парня из отдела Прокопенко... Витя Ярцев, в баскетбол здорово играет... женился перед самой войной... «Эх, перекинуться бы с ним хотя бы словечком», — подумал Потапов и тяжело вздохнул.

За пятнадцать минут до назначенного срока появился Давыдченко. В этот момент послышался свистящий вой и где-то неподалеку ударил снаряд. Давыдченко, сильно пригнувшись, побежал по улице Ломоносова и нырнул в ворота. Второй снаряд разорвался где-то дальше. Парень из «наружки» медленно пошел к воротам, в которые забежал Давыдченко. Ярцев был одет как офицер-фронтовик — в обожженном полушубке, на поясе пистолет, на бедре — планшет, на голове — солдатский суконный треух. Он зашел в ворота и тотчас снова вышел, глядя в небо и прислушиваясь. Спустя минуту рядом с ним показался Давыдченко. Он спросил что-то, и Ярцев долго отвечал и показывал рукой на небо.

Несколько снарядов легли где-то совсем далеко, только чуть дрогнула земля и донесся долгий неясный грохот. Давыдченко сказал что-то фронтовику, тот покачал головой, показал на небо, рассмеялся и остался в воротах. Давыдченко двинулся к перекрестку, а минутой позже Потапов вышел ему навстречу.

— Давайте быстренько. — Давыдченко взял Потапова под руку и быстро зашагал к улице Марата.

Потом проходными дворами они вышли на Лиговский проспект, пересекли еще один запутанный двор и оказались на Тамбовской улице.

Из темного туннеля каменных ворот через разбитую дверь они вошли в старый дом. По расшатанным обледеневшим ступеням поднялись на второй этаж и вошли в темный коридор. Давыдченко взял Потапова за руку и повел, ощупью нашел нужную дверь и негромко постучал. Тотчас открыли. Они вошли в тесную переднюю, из-за перегородки, не доходящей до потолка, проникал слабый свет. Давыдченко шепнул что-то открывшему дверь мужчине и ушел. Мужчина скрылся за перегородку.

— Раздеваться не надо, проходите! — крикнул он оттуда.

Потапов вошел. В небольшой комнате горела жестяная керосиновая лампа с самодельным абажуром из книжного переплета. Лицо и грудь высокого человека, стоявшего у стола, были в тени, освещены лишь его сильные руки, опирающиеся на стол.

— Давненько жду вас, — негромко сказал человек надтреснутым мягким баском и вышел из тени.

Это был человек лет пятидесяти пяти с вытянутым книзу лицом и выдающимся вперед острым подбородком. Светлые глаза смотрели внимательно, холодно. Густые седеющие волосы над выпуклым лбом были гладко зачесаны назад. На нем

был хороший, несколько старомодный костюм из дорогого материала, широкие мятые лацканы оттопыривались, и он все время приглаживал их, брюки заправлены в грубые сапоги. Под пиджаком — военная гимнастерка без петлиц.

— Дмитрий Трофимович? Я тоже Дмитрий, но Сергеевич, — сказал он, протягивая руку. — Здравствуйте.

Потапов почувствовал сильную, жесткую руку.

— Давайте присядем, в ногах, говорят, правды нет, а мы оба нуждаемся именно в ней — не так ли? — мягко и неторопливо сказал Дмитрий Сергеевич.

Они сели к столу. Потапов внутренне собрался, но казалось, что он нервничает, — он и на самом деле волновался.

— Давыдченко рассказал мне про вас... — начал Дмитрий Сергеевич. — Мы в одинаковом положении — я тоже живу не под своим именем. Это нелегко...

— Да, да... — сказал Потапов и с готовностью добавил: — Главным образом в моральном отношении, но я перестал бояться, только когда перешел на чужой паспорт. И только после этого я стал учиться, получил диплом инженера, работу.

— Ваш научно-исследовательский институт эвакуирован? — все так же мягко и неторопливо спросил Дмитрий Сергеевич.

— Да. Полностью.

— А как же вам удалось остаться?

— Накануне эвакуации объявил, что ухожу в ополчение. Я ведь не из тех, кого в институте считали незаменимыми...

— Но вы же военнообязанный? — мягко перебил Дмитрий Сергеевич.

— У меня белый билет — эпилепсия.

— Всерьез?

— Да, я болел — это было давно, а теперь... умею болеть... — Из-за толстых стекол очков светлые глаза Потапова смотрели на собеседника спокойно и искренне. Потапов смотрел на него и старался понять, что тот сейчас думает, верит ли ему. Все в нем было неизменно: и мягкость речи, и холодная напряженность взгляда, а в эти минуты проверялось самое сложное звено легенды Потапова.

— Вы действительно купили дачу? — сочувственно спросил Дмитрий Сергеевич.

— Там я и познакомился с Давыдченко, — сказал со вздохом Потапов.

— Да, я знаю, — кивнул Дмитрий Сергеевич. — Кстати, какое он на вас производит впечатление?

Потапов поднял на него удивленный взгляд:

— Вы интересуетесь моим мнением о человеке, который пользуется у вас большим авторитетом, чем я?

— Когда собираешь кувшин по черепкам, каждому кусочку так трудно найти его единственно правильное место, — не сразу ответил Дмитрий Сергеевич. — Я спрашиваю не в смысле доверия. Я вообще не должен был задавать этот вопрос. Мне хочется только знать: когда вы уговаривали Давыдченко ехать из Гатчины в Ленинград, что вами руководило?

— Смесь трезвого рассудка и страха.

Потапов тщательно стряхнул со стола невидимую соринку, внимательно осмотрел свои пальцы и только тогда поднял взгляд.

— Зачем вы все это сделали? Я имею в виду все, все, начиная с отказа эвакуироваться? — спросил Дмитрий Сергеевич.

Потапов долго сидел, погруженный в свои мысли, не глядя на собеседника.

— А вам не хочется стать самим собой и однажды открыто съездить на могилу матери? — спросил он наконец.

Дмитрий Сергеевич пристально смотрел на него, но Потапов, кажется, не замечал его.

— Больше всего я хочу, чтобы вы поверили и не сочли меня дураком, — продолжал он, глядя на свои руки. — Вы спрашиваете: зачем? В ответ ничего определенного сказать не могу, а врать не буду. — Потапов помолчал и сказал с ожесточением: — Ясно только, что все это не мое и мне не нужно. Что взамен? Не знаю! Не знаю!

— Но шить белье для Красной Армии?

— А вы прикажете ничего не делать? А как тогда жить, Дмитрий Сергеевич? — ответил Потапов очень серьезно. — Белье, наконец, может пригодиться всем.

— Кому — всем?

— Всем, вы меня прекрасно понимаете... И понимаете, почему я легко пошел на первое же предложение Давыдченко. В этом, кстати, ответ на ваш вопрос — зачем.

— Положим, вы дали согласие не так уж легко.

— Видимо, Давыдченко пытался повисить свои акции — бог с ним, — да, я согласился сразу же. — Потапов казался очень возбужденным.

— Откровенность за откровенность, — сказал Дмитрий Сергеевич мягко. — Вас рекомендовал нам Давыдченко, а его уровень, знаете... Мне показалось подозрительным, как вы охотно, без всяких выяснений, согласились пойти с ним к незнакомым людям. Я запретил ему тогда встретиться с вами.

— Надеюсь, однако, что не по вашему совету он сказал через дверь, что его нет дома.

— Ду-у-у-рак! — вырвалось у Дмитрия Сергеевича.

— Теперь это уже неважно. Он изложил мне, однако, цель, которую вы перед собой ставите, она показалась мне некрупной.

— Да, — согласился Дмитрий Сергеевич. — Для начала мы хотим предложить им свою ограниченно-культурническую услугу — сохранение исторических и культурных ценностей нашего города. Вы понимаете, что речь идет о богатстве, равного которому нет во всем мире, они знают об этом.

— Но тогда зачем идти через фронт? Зачем вам сейчас связь с ними?

— Предоставится ли нам потом возможность обратить на себя их внимание — вот в чем вопрос. Вы подумайте только, что будет в тот момент здесь твориться...

— Пожалуй, вы правы, — подумав, согласился Потапов.

— У нас есть еще одна возможность установить связь с ними, но, чтобы подойти к ней, нужно рисковать, а не хотелось бы, слишком великое дело намечено нами. Без громких слов — историческое.

Потапов медленно наклонил голову, соглашаясь, но спросил:

— А не будут ли эти наши ценности объявлены попросту военным трофеем? Тогда мы станем для них помехой.

— Не подлежит сомнению культура и цивилизованность этой нации, — ответил Дмитрий Сергеевич. — Но, может быть, именно поэтому нужна связь с ними.

— Идти к ним с этим? Не знаю... не знаю... Если бы пришлось идти мне, я бы не решился. Они спросят: от кого вы собираетесь сберечь свои ценности? Что прикажете отвечать?

— От большевиков...

— А что они могут с ними сделать? Вывезти они уже не могут, а когда речь подойдет к финалу, и думать об этом не станут. «Значит, вы хотите сохранить свои ценности от нас?» — спросят они. Что прикажете отвечать? К какой стенке становиться?

— Мне нравится, что вы переводите это на себя, — сказал Дмитрий Сергеевич.

— Давыдченко сказал, что мне и отводится именно эта роль.

— Стыдно признаться, Дмитрий Трофимович, но из лиц, которым мы можем довериться, ни один не знает немецкого языка.

— Знание языка не может лишить разума, — проворчал Потапов.

— Ни одного безрассудного шага мы делать не собираемся, — сказал Дмитрий Сергеевич. — Но в принципе вы могли бы?

— В принципе — нет, абстрактно... пожалуй...

Дмитрий Сергеевич предложил встретиться через несколько дней.

Когда Потапов вышел, уже смеркалось. В темном дворе к нему подошел Давыдченко.

— Куда вы? — спросил он тревожно.

— Домой, конечно. До свидания, Михаил Михайлович, я очень спешу. — Потапов быстро зашагал к выходу на улицу.

— До свидания... — растерянно прозвучало у него за спиной.

Утром обнаружил, что верхнее стекло в окне моего номера разморозилось и даже виден край крыши. Еще с вечера чувствовалось, что будет оттепель. Кто-то говорил — не баловать ноги валенками, а я почти два месяца не надевал сапоги. Решил надеть. Но что за чертовщина? Без портянки, только на шерстяной носок и то не лезут. А были на три номера больше. Посмотрел — нога не моя, огромная, вся распухла. Ткнул пальцем подъем, осталась глубокая ямка. Долго сидел, согнувшись, разглядывая ноги, дышать стало тяжело. Выпрямился — закружилась голова...

До этого утра блокада для меня была разве что непроходящим желанием поесть. Я научился делить на три части свои 125 граммов и две части — утром и вечером — съедаю под кипятком, а третий ломтик — днем в комендатуре, где получаю тарелку дрожжевого супа. Я много хожу, много работаю, а дистрофия, она, оказывается, в валенке пряталась. Ничего, конечно, особенного, но все-таки надо к этому привыкнуть.

Долго сидел, собирался вниз разжиться кипятком. Открылась дверь, вошел милиционер, пожилой, довольно высокого роста; раньше он был, наверно, полный, но сейчас все на нем обвисло: и кожа на серых щеках, и шинель.

Он плюхнулся на стул и отрывисто, со свистом в груди сказал:

— Очень прошу вас... пойдите со мной понятым... тут один не наш человек... помер, значит... Надо оформить.

Покойник был на третьем этаже, и поднимались мы туда долго, с остановками, дышали, как два старых паровоза.

Я его сразу узнал, видел его несколько раз в гостинице. Кто-то сказал, что он эстонец, капитан судна, потонувшего по пути из Таллинна в Ленинград. Крупный, красивый, лет пятидесяти, он ходил в черной элегантной шинели с форменными нашивками на рукавах. Лежал он такой же большой, широкоплечий, но неправдоподобно плоский. Он знал, что умирает, — лежал строго навзничь, и руки были скрещены на груди. Шинель с нашивками покрывала его.

Мы стали делать опись имущества.

— Одни очки в коробочке и одни очки — так... — диктовал мне милиционер и, пока я писал, говорил: — Мы к иностранным людям всегда большее почтение испытываем. Стал бы я какие-то очки записывать, если б дело шло о нашем человеке? А почему? Я скажу — это от давнего нашего раболепства. Не выветрилось. Пишите: кошелек с деньгами. Кожаный. Бумажные деньги неизвестной ценности и названия — одиннадцать штук, а также серебряная и медная мелочь... Скольких я своих вот так же оформил. Главная забота — сургучу достать, чтобы жилплощадь опечатать. Даст бог, в этой войне гордости поднаберемся. А? Пишите... Чемодан небольшого размера. Кожаный. С нательным бельем свежим и ношеным. Будем считать? Давайте не будем, пусть за единицу у нас пойдет чемодан... У меня жена семь дней как померла... Нет, сегодня уже восемь. Она всегда обвиняла меня, что я службу люблю больше, чем ее. И вот, надо же — умерла действительно без меня — я в облаве был, беспризорных ребят на чердаках да по пустым квартирам ловили... Пишите — нож финский с ножнами к нему. Ручка отделана серебром, а по лезвию какая-то надпись. Красивая штука — поглядите... На днях захожу по службе на квартиру к одному знаменитому артисту. Он составил посреди комнаты на пол свой художественный фарфор и накрыл ковром, от бомбежки, говорит. Я подумал, он рехнулся... А то мы мародера поймали — ходил по квартирам и вещи на еду выменивал. Что, гад, не придумывал — в брошенной аптеке украл облатки для пилюль, они из желатина, так и на них выменивал. Комнату свою до потолка вещами завалил. Что он с ними собирался делать, ума не приложу... Пишите: часы карманные с цепочкой, возможно золотой, и с ключиком для завода... Да... Мне про вас внизу сказали, что вы пишете, — это что же, служба у вас такая? Вот, думаю, как раз понятой что надо — опись будет подробная... Людей теперь так не считают, как мы с вами эти часы с цепочками... Да... Свез я, значит, жену на сборный пункт за Охту. Хочу, чтобы ее в список какой-нибудь занесли. Говорят: у вас будет справка из домоуправления или из загса, и больше, говорят, вам ничего не надо. Так то, говорю, справка о смерти, а мне надо — где ее похоронили. Сыновья с войны вернуться, спросят — что я им скажу? Так и не дали... Пишите: шинель черная из шерсти, форменная, одна...

Глава двадцать вторая

Этой метельной ночью Аксель отправил через фронт Жухина и Браславского.

Жухин шел второй раз и чувствовал себя уверенно, но он и в первый раз не испытывал особенного страха. Вряд ли ему совсем незнаком страх, но он настолько привык рисковать, что это было его нормальным состоянием. На его личной карточке, в графе «Особые примечания», стояло: «Для поручений икс». Говоря попросту, это означало «для темных дел».

В 1918 году, оказавшись во Франции, безусый юнкер Анатолий Жухин сразу же начал с уголовщины — ограбил ювелира. Пришлось бежать в Германию. Здесь он почувствовал себя свободнее — в побежденной стране царил хаос. Молодой Жухин решил поступить в полицию. Он выдавал себя за «вечного» безработного, коротавшего время на бирже труда, а собирал сведения о настроениях лиц не немецкой национальности. Последние годы он числился в гестапо и по его поручению выполнил немало темных дел. На крупные дела его не брали — гитлеровцы не доверяли такие дела людям не немецкой национальности.

Когда Аксель формировал свою группу, он попросил у гестапо человека «для поручений икс». Прислали Жухина. После первого разговора Аксель определил цену этому человеку и в дальнейшем относился к нему холодно, если не брезгливо, но одновременно знал, что в его группе Жухин, может быть, самый надежный. Первый раз он ходил через фронт с переносным контейнером, набитым минами. На другой же день радист Палчинский сообщил, что принял на хранение доставленные Жухиным мины. Еще через два дня Жухин вернулся. Принес документы и личное оружие советского офицера, подвернувшегося ему под руку на советской стороне. Без всякой рисовки говорил: «Не самое трудное дело». О Ленинграде сказал: «Ничего, большой, но разобрать легко». Попытка Акселя выяснить у него что-нибудь существенное об атмосфере города ни к чему не привела.

На этот раз Жухин должен взять у радиста мину и попытаться в порядке эксперимента взорвать механизм развода одного из мостов через Неву. В тактическом плане создания «пятой колонны» возможность разведения ленинградских мостов рассматривалась как серьезная помеха.

По полям гуляла метель, а снег после дневной оттепели покрылся коркой — иди по прямой куда хочешь, как по паркету.

Жухин шел по ручному компасу, опасаясь только одного: как бы не свалиться в какую-нибудь яму или — не дай бог — в окоп. Военные разведчики из немецкой танковой части, провожавшие его, заверили, что здесь у русских стык двух воинских частей, и если он будет идти по компасу, благополучно минует и немецкие и русские окопы. Все шло по плану — прикрытый метелью, он спокойно вышел в тыл русских позиций. Стащил с себя маскхалат и искал кустик, где его спрятать. И вдруг земля ушла у него из-под ног — он свалился в глубокий ход сообщения между землянками и позицией зенитной батареи. Переждав немного и убедившись, что его не заметили, он снова накинул на плечи маскхалат и осторожно пошел в сторону орудий, решив, что в такую метель зенитчикам возле орудий делать нечего. Там он остановился и стал присматриваться, где выход с батареи. Справа, где лежала груда ящиков, он заметил просвет и направился туда.

Возле ящиков прятался от метели часовой. Он уже давно заметил Жухина. Сначала предположил, что идет кто-то из боевого расчета, но скоро понял: это не так. Солдат был молодой, необстрелянный. Опытный давно бы уж окликнул человека и положенным способом вызвал бы свое караульное начальство, а этот все приглядывался. Заметив часового, Жухин, не думая ни мгновения, ринулся мимо ящиков с другой от солдата стороны. Солдат вскинул винтовку и выстрелил.

Пуля попала Жухину в шею. Он еще пробежал сгоряча шагов десять и упал ничком на остробугристый наст.

Из землянок выскочили зенитчики. Им не очень хотелось, покинув тепло, бегать по метели, но часовой возбужденно кричал:

— Я говорю — гад был. Искать надо! Гад был!

— Погоди голосить, — остановил его командир батареи. — Куда побежал твой гад? Туда? Идем посмотрим...

Жухин был без сознания и страшно хрипел. Приехавший вскоре уполномоченный особого отдела, осмотрев экипировку и снаряжение раненого, сказал:

— Оттуда. Кто его ранил?

— Часовой Ахметдинов.

— Где он?

Ахметдинов рассказал, как было дело, потом уполномоченный особого отдела нашел место, где Жухин свалился в ход сообщения.

— Ясная картина, — сказал он. — Из-за метели он шел вслепую, кувырнулся сюда, стал искать выход и напоролся на часового...

Из санчасти прибыла лошадь с санями. Жухин стал бредить — выкрикивал какие-то слова по-французски, а ругался по-русски. Когда его стали поднимать, он затих. И умер по дороге к санчасти.

Его неудачный переход через фронт нашел отражение в четырех строках оперативной сводки: «При переходе линии фронта был тяжело ранен и умер неизвестный с фиктивными документами на старшину инженерных войск Золотухина В.Б. Обращает на себя внимание, что при убитом, кроме денег в банкнотах сторублевого достоинства на сумму 50 тысяч рублей, не было никакого оружия или иного оснащения». Против этого места в сводке начальник Управления госбезопасности Кубаткин написал для памяти: «Не шел ли он с той же миссией, что и Есипов?»

Максим Михайлович Браславский в землянке командира батальона ждал своего часа, чтобы перейти фронт. Хозяин землянки угощал его горячим кофе, коньяком и пытался вызвать на разговор — ему просто любопытно было: что это за люди, идущие на такое рискованное дело? Но Браславский отвечал ему односложно, недовольно, немец мешал ему сосредоточиться и уйти в себя.

В группе Акселя Максим Михайлович Браславский снискал славу великого молчальника.

Из всей русской группы Браславский признавал одного полковника Мигунова, потому что тот был из семьи крупного помещика и знатного дворянина. Сам Браславский был сыном высокообразованного военного, довольно богатого дворянина. Еще перед первой мировой войной отец Браславского предусмотрительно перевел свое состояние в швейцарские банки, и когда в восемнадцатом году вся семья оказалась во Франции, они не испытывали нужды. Максим Браславский получил во Франции высшее военное образование. От отца вместе с кровью в него вошла священная жажда мести большевикам «за поруганную Россию, за убиенного монарха и его близких».

Когда умер отец, Максим Браславский переехал в Германию. Он считал, что во всем мире реальную антисоветскую силу представляет только один человек — Адольф Гитлер. Вскоре Максим стал работником русского отдела абвера. Одним из первых он был откомандирован к Акселю и принимал участие в подборе остальных участников группы, благодаря чему знал всю подноготную каждого. Не то чтобы он им не верил или считал их людьми бесполезными, но он видел в них прежде всего деляг, которые сойдут с круга, как только доберутся в России до своих имений и коммерческих домов. Себе же он отводил роль возвышенную и видел

себя в очень далекой исторической перспективе. С детских лет ему помнятся объяснения отца к известной картине Репина, на которой изображены члены государственного совета царской России. «Это мозг России, — говорил отец. — А каждый из изображенных здесь — это ее высокий ум и державная опора». И когда затем отец давал характеристику каждому деятелю, юный Максим слушал его с затаенным дыханием. Он воображал себя то одним из этих важных сановников, то другим. Это была и игра, и что-то большее, чем игра. Во всяком случае, Максим Михайлович Браславский видел вполне реальную возможность осуществления своих замыслов. Не только на своих русских соратников, но и на самого Акселя он смотрел как на случайных спутников, которых он оставит при первой же возможности.

Держался Браславский независимо, с подчеркнутым достоинством — никакой показной почтительности перед начальством. Даже Аксель, разговаривая с ним, следил за собой, чтобы не дать основания собеседнику удивленно шевельнуть густыми бровями или откровенно улыбнуться уголками сильного рта, запечатанного по бокам глубокими морщинами. У него было красивое лицо с высоким лбом, тонкие, аристократические руки, спокойные, умные глаза. В абвере о нем говорили: «Далеко бы пошел... если б был немцем».

Аксель прекрасно разгадал честолюбие Браславского и не только не осуждал его за это, а в разговорах с ним с глазу на глаз всячески его подогревал, высказывая свое уважение к его образованности и благородному воспитанию. Во взятом Ленинграде Аксель видел его начальником русской полиции. Он сказал ему об этом и сегодня, во время последнего разговора перед отправкой в Ленинград. И говорил, что только ему он может поручить совершенно самостоятельный рейд без связи с главным резидентом в городе. Аксель, конечно, не сказал ему, что точно с таким же заданием ушел в Ленинград и Есипов, ушел и как сквозь землю провалился...

В назначенный час Браславский сухо попрощался с командиром батальона и в сопровождении приданного ему разведчика отправился через линию фронта.

К утру он уже был в Ленинграде и шел по проспекту Стачек к Автовской улице, где находился дом, в котором он должен был поселиться. Это был один из адресов, подобранных в свое время резидентом Кумлевым.

Странно выглядел город. Было позднее утро, а Браславский не видел на улице ни одного человека. Название громкое — проспект! Это была плохо накатанная и безлюдная дорога, ведущая к городу. Справа, на взгорке, как-то обособленно друг от друга стояли деревянные домики пригорода, слева до неуловимого горизонта стелилась белая равнина...

Навстречу промчался одинокий грузовик с фанерным домиком вместо кузова. Браславский, сторонясь, шагнул в снег, машина обдала его теплом и запахом хлеба.

Город начинался с кладбища, обнесенного тяжелым кирпичным забором. Браславский помнил, что оно называется Красненьким — когда разрабатывался маршрут, кто-то из абверовцев острил: «У большевиков все красненькое». Миновав кладбище, Браславский взял несколько влево, а затем вскоре резко вправо — там и начиналась Автовская улица. И это тоже еще не был Ленинград, а пригородный поселок Автово, но теперь город был уже рядом, недалеко впереди в туманном мареве зимнего утра чернели трубы Кировского завода и угадывались контуры городских домов. Но пока Браславский все еще видел улицу, похожую на деревенскую — снова деревянные домики с палисадниками, снова сонное безлюдье окраины.

Навстречу Браславскому шла женщина — она шла медленно, торжественно и вместе с тем испуганно, будто очень боялась оступиться. На ней было пальто с лисьим воротником, перехваченное веревочкой. На голове мужская шапка-ушанка, туго завязанная под подбородком, отчего ее землистое лицо показалось

Браславскому маленьким, а глаза на нем — неправдоподобно большими. Когда они сблизились, женщина посмотрела на Браславского и быстро отвела взгляд.

Дом под номером девять оказался маленьким, деревянным, покосившимся. Около дома когда-то были ворота, но теперь от них остался только каменный столб. Вдоль стены по глубокому снегу протоптан одинокий след, недавно кто-то вышел из дома. Браславский прошел по этому следу и очутился перед открытой дверью, за которой было темно. Он постучал в стену, послушал — никто не отзывался. Осторожно войдя в темные сенцы, он начал рукой шарить по стене. Нашупал дверную ручку и потянул ее на себя — дверь легко открылась.

— Здравствуйте, — громко сказал он.

Тишина. Дверь в следующую комнату была открыта — там стояла железная печка-буржуйка, труба от нее тянулась в форточку. Все окна заморожены, покрыты толстым, волнистым слоем льда. В комнате пахло кислотой, под ногами хрустела зола. Кровать с грудой тряпья была придвинута к печке. Браславский, расстегнувший было свою ватную куртку, снова застегнулся на все пуговицы.

Он сел на скамейку у стены, ожидая, когда хозяйка вернется. Незаметно для себя он задремал — сказала прошлая ночь без сна.

Проснулся он около полудня — руки и ноги окаменели от холода. Он вскочил и начал, размахивая руками, бегать по комнате из угла в угол. Бегал, пока не стало тепло. Тогда захотелось есть. В специальном кармане куртки спрятаны плитки витаминизированного шоколада, но он решил неприкосновенный запас не трогать, а найти что-нибудь в доме. Он обшарил все углы, шкафчики, стол, тумбочку, даже поднял матрац, но во всем доме не нашел абсолютно ничего, что можно было съесть. Только в маленькой деревянной мельничке обнаружил несколько черных зернышек перца. Достав из потайного кармана плитку шоколада, он съел половину. Когда он, шурша фольгой, раскрыл плитку, из-под кровати вылезли две мыши и стали бегать около его ног. Он с отвращением отбросил мышь, и она шлепнулась в темном углу. Другая как ни в чем не бывало продолжала бегать возле его ног.

Хозяйка дома не появлялась. Надо было решать, что делать. Сразу идти к Кумлеву нельзя. Аксель ни за что не признает это его положение безвыходным, он все время твердил, что документы у него настолько надежные, что он может спокойно устраиваться в гостиницу или требовать своего устройства у военных и гражданских властей.

По документам Браславский — эвакуированный из Риги директор русской библиотеки Березин — русский, из эмигрантов. В Ленинграде немало эвакуировавшихся из Прибалтики, и Аксель был прав, говоря, что документы у Браславского надежны своей обыкновенностью. Но, будучи человеком «военной косточки», Браславский вообще боялся маскарада и в глубине души считал его для себя унижительным.

Браславский не знал, как поступить. Уже шестой час он находился в замороженном домике на Автовской улице, а хозяйки все не было. Наметились скорые зимние сумерки. Еще раньше Браславский хотел затопить печку, но в доме он не нашел ничего, что могло бы заменить дрова. В доме не было ни стула, ни стола, были сожжены даже плинтусы карниза. Он попробовал было оторвать тяжелую лавку, но она точно вросла в стену.

Уходить было бессмысленно, до комендантского часа он никуда не успеет попасть. Браславский посмотрел на кровать, заваленную грязным тряпьем, — невозможно было представить, что туда можно лечь. Да и как заснуть в таком холоде? Он то и дело вскакивал с лавки, начинал быстро ходить вокруг печки, приседать, махать руками.

Он повернулся к дверям и вздрогнул — там стояла женщина. Она смотрела на него

устало, без всякого удивления или любопытства.

— Надежда Сергеевна? — спросил он.

Женщина, не отвечая, прошла к печке и потрогала ее рукой, потом села на кровать.

— Вы Надежда Сергеевна? — спросил Браславский, повысив голос.

Она кивнула головой. Эта была та самая женщина, которую он встретил утром на улице.

— Я к вам от Игоря Николаевича... — сказал он условную фразу. — Можно у вас переночевать?

— Есть нечего, — вздохнула женщина. — Я карточку потеряла. Шла в магазин, держала ее в руках, вот так... — Она показала сжатый кулак... — Был сильный ветер... подхватил мне пальто, платье, и я сделала рукой... вот так... — Она показала. — А потом смотрю... — Она смотрела на свою пустую ладонь, — а карточки и нет. Сегодня уже третий день нет... Только снег ем.

Она говорила ровным голосом, как будто не о себе.

— Я могу дать вам шоколад, — сказал Браславский.

— Что? Что? — она быстро подняла лицо и непонимающе смотрела на него.

Браславский достал из кармана половину плитки и протянул ей. Она не брала и смотрела на шоколад со страхом, с губы у нее потекла тоненькая струйка слюны.

— Возьмите... возьмите, — приказал Браславский и сунул шоколад ей в руку.

Надежда Сергеевна взяла шоколад, поднесла его к глазам и вдруг вцепилась в него зубами, не сорвав обертки. Ее лицо исказилось от боли, и она разжала губы — они были в крови.

Браславский смотрел на женщину с ужасом.

Надежда Сергеевна съела шоколад и только малюсенький кусочек, оглянувшись на Браславского, спрятала под тряпье. И вдруг деловито спросила:

— Вы надолго у меня остановитесь?

— Еще не знаю, возможно, что завтра уеду.

— Ну что ж, хоть один день да мой, — сказала она и непонятно чему рассмеялась. — Вот только кровати лишней у меня нет. Была мужняя, но я ее в печке стопила, тем паче что муж мой все равно на войне убит.

— Я как-нибудь устроюсь, — сказал Браславский, совершенно не представляя себе, как это он устроится, если по полу бегают мыши.

— Печку можно протопить, — сказала женщина. — Но для этого надо слазить на чердак, — я одна боялась...

Браславский влез на чердак и сбросил оттуда целую грудку вещей: разломанный ящик со старой обувью, комплекты журнала «Нива» за годы первой мировой войны, рулон обоев, книги, моток веревок...

Раскалившаяся печка немного нагрела комнату. Женщина, задыхаясь, принесла с улицы ведро снега и поставила его на печку. Потом они молча пили жидкость зеленоватого цвета, пахнущую аптекой.

— Как это у вас шоколад сохранился? — вдруг спросила Надежда Сергеевна.

— Береженого бог бережет, — ответил Браславский.

Женщина изумленно, испуганно смотрела на него, но больше не разговаривала. Она залезла под тряпье на кровати, Браславский, не раздеваясь, устроился бочком на узкой лавке у стены, подложив под голову комплект «Нивы». Все происходившее с ним в этот день так его утомило, что он сразу уснул.

Проснулся внезапно — кто-то шарил рукой у него на груди. Браславский вскочил, как подброшенный пружиной, ударился головой обо что-то мягкое, отлетевшее от него в сторону, и выхватил из кармана пистолет. Черная тень метнулась к кровати и зашуршала там тряпьем. Он понял: хозяйка искала шоколад...

«Очевидно, рехнулась», — подумал он и снова лег на лавку. Но заснуть он больше не смог — уже брезжил робкий рассвет...

Когда в комнате немного посветлело, женщина вылезла из-под тряпья. Молча, медленно двигаясь, она растопила печку и пошла на улицу за снегом. Браславский встал, проделал быструю, энергичную гимнастику, разогрелся немного и стал собираться.

— Вы когда придете? — спросила Надежда Сергеевна.

— Не знаю. Получите... — он протянул ей две сотенные бумажки.

— К чему они... — тихо спросила она. — Вы приходите...

В десять часов утра Браславский вошел в темный вестибюль гостиницы «Астория». За стеклянной перегородкой догорала свеча, но там никого не было. Браславский подождал. Пришла женщина в полшубке.

— Я хотел бы остановиться в вашем отеле.

— Прибалт? Из Риги? — спросила женщина.

Браславский вздрогнул, но ничего не сказал.

— Только люди оттуда называют нас отелем, — сказала женщина и протянула в окошечко руку. — Давайте какой-нибудь документ.

Браславский отдал ей новенький советский паспорт и справку, которая была «дана директору рижской библиотеки Березину Н.Н. в том, что он работает в этой должности с января 1941 года».

Справка была действительна по 31 декабря 1941 года, а уже было четвертое января 1942 года. Когда женщина просматривала справку, Браславский сказал:

— Я бы с удовольствием продлил справку, но боюсь ехать для этого в Ригу.

— Да, не стоит... — улыбнулась женщина, и только сейчас Браславский разглядел, что это была совсем еще девчонка, и притом очень красивенькая, с большими темно-синими глазами, с милой улыбкой.

— На каком этаже хотите жить? — спросила она.

— Мне все равно.

Он получил номер на бельэтаже с окном, выходящим во двор, на какие-то гостиничные крыши. Странная вещь — трубы отопления были ледяные, а в номере было совсем не так холодно, как в доме на Автовской улице.

Оставив в номере свой рюкзачок, Браславский ушел в город. Этот первый свой день в Ленинграде он целиком посвящал наблюдению жизни. К вечеру он вернулся в гостиницу. За стеклянной перегородкой дежурила все та же девушка.

— Есть кипяточек, — сказала она, подавая Браславскому ключ. — У вас посудина имеется? Ладно, я дам вам кружку. Держите. Вернете завтра моей сменнице.

Браславский поблагодарил ее и уже отошел от окошечка, как услышал, что его зовут.

— Извините! Чуть не забыла. Тут у нас полно ваших земляков, я им сказала ваш номер. Так что не удивляйтесь...

Поднимаясь по лестнице, Браславский лихорадочно соображал, как поступить. Первая мысль — немедленно уйти из отеля и не возвращаться. Но это было бы подозрительно, и та же дежурная могла донести в полицию. Можно было запереть дверь и не отзываться на стук. Но это тоже подозрительно — не может беженец, находясь на чужбине, отказаться от встречи с земляком.

Браславский так и не успел решить, как ему поступить, — дверь открылась, и в номер вошла женщина лет сорока в каракулевом манто, из-под которого было видно яркое кимоно. В одной руке у нее была горящая свеча, другой она вела маленькую девочку. Она прикрыла дверь и подняла свечу над головой.

— Кунгс Берзиньш? — спросила она.

Браславский ответил, что он действительно Березин и что он предпочел бы говорить по-русски, так как латышского он так и не освоил.

— Можно и по-русски, — согласилась женщина. — Разрешите присесть...

— Бога ради, извините меня. — Браславский придвинул кресло и взял из ее рук свечу.

Она села, девочка прижалась к ее ногам.

— Я тоже русская. Но мой муж латыш. Его фамилия Озериньш. Вы не знали его?

— Очень знакомая фамилия, — пробормотал Браславский, наморщив лоб.

— Но это неважно. Скажите, пожалуйста, когда вы выехали из Риги?

— Двадцать шестого июня утром, — ответил Браславский.

— Поездом?

— Нет, семья моя выехала двумя днями раньше поездом, а я оказался в автоколонне университета.

— Значит, вы не поездом, — тихо сказала женщина. — Тогда вы ничего не знаете. Извините, пожалуйста... — Она встала и взяла свечу: — Я так волновалась... Еще раз — извините меня. Но вы должны понять — я очутилась здесь одна... с девочкой... без средств... В общем, вы понимаете. До свидания.

Девочка сделала книксен и побежала за матерью.

— Здесь живет одна русская учительница, или она работник библиотеки, но тоже из Риги, она знает про вас, — сказала женщина в дверях.

Браславский припомнил весь разговор и не нашел в нем ни одной ошибки. Но на сегодня хватит.

Он запер дверь на ключ, выпил кипяток, закусывая шоколадом, разделся и залез в холодную постель.

Проснулся поздно и не сразу сообразил, где находится. Он видел замороженное окно, с которого пушистый иней расползался по стене. Тряхнул головой и выскочил из-под одеяла. Холод обхватил его и, казалось, стиснул в своих объятиях.

Он делал резкие движения руками, стал прыгать, но привычное тепло не приходило. Он быстро оделся — стало чуть теплее. Съел кусок шоколада, хотел запить его оставшейся в кружке водой, но она замерзла. Вытряс из кружки ледяной кружок и, разломив его на куски, стал сосать лед. И только тогда озноб перестал его трясти...

Рижская библиотекарьша, о которой ему сказала женщина, ждала его в вестибюле гостиницы и, как только он отдал дежурной кружку, схватила его за руку и потащила куда-то в темень вестибюля, приговаривая:

— Вы мне нужны... так нужны... пожалуйста...

Она втащила его в зал, где раньше было кафе, и они сели к одинокому столу, на котором колонками возвышались никому не нужные тарелки.

— Вас послал бог... право слово, бог, — сказала женщина, поправляя свои растрепавшиеся седые волосы и жадно вглядываясь в лицо Браславского. — Вы знаете? Я тоже заведующая библиотекой. Ваша какая? Какой номер? На Марьянской? На Суворова? На Московском форштадте?

— В чем дело? Чем я могу быть полезен? — холодно спросил Браславский.

— У меня к вам только один вопрос: как вы распорядились фондом? — спросила женщина.

— То есть как... распорядился? — спросил Браславский, чтобы выиграть минуту времени и в надежде, что она сама пояснит свой вопрос.

— Очень просто — что вы с ним сделали? Сожгли? Спрятали? Что? Что?

— Я его просто бросил, — ответил Браславский. — Когда мне было думать о фонде, если я уезжал двадцать шестого? Да и не так-то просто сжечь или спрятать такое количество книг.

— Ну, вот! Именно! — радостно воскликнула женщина. Она вскочила, схватила Браславского за руку и потащила: — Идемте! Вы скажете этому человеку, что я ничего с фондом сделать не могла!

— Подождите! — Браславский высвободил руку. — Объясните наконец, что вам от меня надо?

— Боже мой! Мой рижский начальник обвиняет меня в том, что я отдала библиотечный фонд в руки врага. Понимаете? Пойдемте! Умоляю вас! Вы только скажете ему! Идемте... — она снова стала хватать Браславского за руку, но он быстро пошел прочь.

— Как вы смеете? Как вам не стыдно! — кричала ему вслед седая библиотекарьша.

Из Москвы прилетел Гриша Нилов. Явился к нам в «Асторию» в морской форме. Красив он в кителе необыкновенно. Оказывается, он работает теперь во флотской газете. У меня собралось несколько московских журналистов. Гриша — румяный, веселый, подвижный среди нас, медлительных блокадников, — привез множество новостей, и одну совершенно невероятную — в гостинице «Москва» можно запросто достать водки и мировой закуски.

— Что ж ты, едрена феня, не привез нам хоть коробку шпрот? — спросил кто-то.

Гриша внимательно посмотрел на нас и вдруг стал очень серьезным. Вывалил на стол из своего вещмешка две буханки хлеба, кусок сала, несколько плиток шоколада, кусок копченой колбасы и колечко краковской. Краковскую, впрочем, он смущенно запихнул в мешок:

— Это мне поручено отвезти одной ленинградке.

Вечером мы пошли на Васильевский остров. Идти далеко, я его все время за рукав хватаю — сбавь скорость. По дороге он признался, что никто ему колбасу не поручал отвезти, а несем мы ее одной славной-преславной девушке, которую он знал еще до войны. И это — Гриша! Первый сердцеед в нашей радиодеревне! Нашли дом и квартиру. Звоним, стучим, кричим. Старый каменный дом стоит как мертвый памятник петровской эпохи. Вдруг дверь со скрипом открылась, и мы увидели что-то живое, завернутое в ватное одеяло. Гриша назвал имя девушки.

— Да господь с вами, родимые... — еле слышно сказал женский голос. — Господь с вами. Она еще летом медсестрой пошла, а в ноябре похоронную на нее принесли. Вы родственники ей будете?

Гриша достал колбасу и отдал женщине.

Я с трудом догнал его.

Вечером он уехал в Кронштадт, а я — в мою дивизию. Я вез томик переписки Чехова и Книппер Соломенникову, он в нашу последнюю встречу вдруг попросил достать.

Добрался до передовой только ночью. Заночевал у зенитчиков. Утром в штабе дивизии узнал: четыре дня назад капитан возвращался на НП командира полка, попал под минометный обстрел, был тяжело ранен и к кощу дня скончался... Так и осталась у меня на память эта книжка с моей надписью: «С.С.Соломенникову — с благодарностью за прояснение вопроса, что такое война. Ленинград».

Глава двадцать третья

Мать разбудила Горина:

— Миша... Мишенька... Вставай... пришли... Господи, я так и знала, — причитала она.

— Кто пришел? Кто? Кто? — спросонья повторял Горин. Он сел на кровати и стал тереть руками лохматую голову и лоб.

В комнату вошли следователь Самарин и старшина из войск внутренней охраны.

— У нас мало времени, пожалуйста, поскорее одевайтесь, а мы начнем обыск. Приступайте, старшина...

Горин наконец широко открыл глаза.

— Прошу ордер на обыск, — сказал он.

Самарин предъявил ордер.

— Что же вы собираетесь искать? — спросил Горин. — Может, я вам помогу, и вы сэкономите время?

— Вы знаете гражданку Слобонякину? — спросил Самарин.

— Понятия не имею.

— Вчера вы получили от нее обручальное кольцо.

— Ах, это? Да, — сказал Горин. Он не сделал ни малейшей попытки встать с кровати и продолжал сидеть: — Но пусть эта гражданка расскажет, как она меня умоляла сделать что-нибудь для ее больного мужа. Я пожалел ее. Налицо, конечно, факт преступления или, точнее сказать, факт нарушения установленного порядка, но надо еще выяснить, кто кого склонил к этому...

— Откуда у вас продукты? — спросил Самарин.

— У меня мамаша запасливая, — ответил Горин.

Мать подняла руки, хотела что-то сказать и закрыла рот руками.

Вошел старшина с двумя банками крабов в руках.

— Там считать надо... целый склад, — сказал он.

— Одевайтесь, Горин.

Несколькими часами раньше в управление пришла пожилая женщина и потребовала, чтобы ее принял главный начальник. Когда ее провели к майору Грушко, она положила на стол банку крабов и брусочек свиного сала.

— Одну банку отдала мужу, — объяснила она и стала рассказывать.

...До недавнего времени она работала в бухгалтерии торгового порта. Ее муж в первые дни войны ушел добровольцем, вскоре был тяжело ранен и вернулся инвалидом. Когда начался сильный голод, она ходила по рынкам и меняла вещи на хлеб. Знакомая дала ей адрес, где за золотые вещи можно было получить продукты. Теперь она пришла в НКВД сообщить, что человек, которому она отдала свое обручальное кольцо, является юрисконсультom торгового порта...

Горина доставили на Литейный и начали допрос, который продолжался весь день.

— Давайте, Горин, говорить правду: откуда продовольствие? — снова и снова

спрашивал Самарин.

— Хорошо, скажу правду... В доме были кой-какие ценности, и в сентябре я выменял на них продукты.

— Совсем нелепо, Горин. А теперь, значит, вы снова меняли продукты на ценности?

Горин долго думал и потом тихо сказал:

— Продуктами меня снабдил некий Давыдченко.

— Так... Кто же это?

— Я его знаю плохо, познакомился с ним у моего приятеля Смальцова... есть такой известный портной...

— Кто такой Давыдченко?

— В прошлом, кажется, нэпман...

Самарин записал показания Горина, дал ему прочитать и расписаться.

— На сегодня хватит, Горин. Не слишком ли много у вас вариантов добычи продовольствия?

Горин очень надеялся, что ссылка на Давыдченко выручит его или по крайней мере он выиграет время, пока будут искать Давыдченко в замороженном городе. Один раз этот Давыдченко уже выручил — Горин назвал его фамилию Кумлеву, когда от него потребовали кандидатов в вооруженные отряды. И тогда сошло...

Когда следователь Самарин докладывал Грушко первые результаты следствия и назвал фамилию Давыдченко, майор хлопнул своей ладонью по столу:

— Стоп! Знаем Давыдченко, он из зоны Потапова. Это очень интересно.

Разобрали вновь возникшую ситуацию, «проиграли» несколько вариантов возможного развития событий и приняли решение задержать Давыдченко, не объясняя ему, однако, что это не арест. Тут многое было интересно: как он поведет себя на допросе? Не станет ли выдавать своих сообщников из группы, которой занимался Потапов? Что он расскажет о той компании, где с ним познакомился Горин? И наконец, как он поведет себя, когда его отпустят домой?

Оперативники вели Давыдченко на Литейный пешком, и у него было время обдумать, как защищаться. Шел артиллерийский обстрел, снаряды рвались совсем близко, и после каждого удара он оглядывался — не собираются ли конвойные укрыться? Но те молча показывали ему рукой — вперед, вперед. На Литейном они догнали женщину, которая тащила на фанерном листе покойника, завернутого в простыню. Давыдченко старался не смотреть, то ускорял шаг, то замедлял его, но скрип фанерного листа по снегу оставался рядом, он видел ноги покойника в штопаных шерстяных носках. И это мешало ему сосредоточиться...

После первых общих вопросов у него попросили предъявить продовольственную и хлебную карточки.

— Есть ли у вас дополнительные источники продовольствия? — спросил молоденький следователь.

— Нет, ничего нету, — ответил Давыдченко.

— А вы кого-нибудь снабжали продовольствием? Например, консервированными крабами?

— Никогда никого, — твердо ответил Давыдченко.

Молоденький чекист приказал по телефону привести в его кабинет Горина. Давыдченко немного успокоился. Горина он видел последний раз у Смальцова. А там ничего особенного не было — пили водку под крабы и трепались.

Горин вошел, поздоровался с Давыдченко, они опознали друг друга.

После формальных, полагающихся на очной ставке вопросов следователь зачитал показания Горина о том, что он получил продовольствие от Давыдченко.

— Что вы можете сказать по этому поводу? — спросил следователь.

— Все это неправда от первого до последнего слова, — ответил Давыдченко, возмущенно глядя на Горина.

— Вы настаиваете на своих показаниях? — спросил следователь у Горина.

— Нет, — глухо ответил он.

Давыдченко увели и вскоре отпустили, даже извинились перед ним на прощанье.

Следователь продолжал допрашивать Горина.

— Хорошо, мы запишем в протокол, что вы не знаете, откуда взялись продукты. Но вам легче от этого не станет, — терпеливо разъяснял следователь то, что юрист Горин прекрасно понимал и сам.

— Спекуляция продовольствием в осажденном городе — одно из самых тяжелых уголовных преступлений, — продолжал следователь. — Вы в нем изобличены и сознались. Вас ждет суровое наказание. Но вы еще больше увеличиваете свою вину, не желая выдать сообщников.

— Могут меня расстрелять? — спросил Горин. Черты его красивого лица страшно заострились, на висках появились синие желваки.

— Что решит военный трибунал, я не знаю, — ответил следователь. — На фронте за мародерство расстреливают...

— В городе подобные прецеденты были?

— Были...

Допросы были прерваны на четыре дня из-за болезни Горина. Он ослаб, не мог подняться с лежака, стал впадать в апатию. Следователь выхлопотал для него дополнительно к пайку тарелку дрожжевого супа, но врач сказал, что это не голод, болезнь Горина — нервы, ее быстро не вылечить, нужно время.

Горин сильно изменился. Землистое лицо, щеки заросли черной щетиной, темные круги под опухшими глазами и глубокие складки у рта.

Следователь пришел в больницу неожиданно.

— Если я сообщу очень важное, могу ли я рассчитывать хоть на малейшее снисхождение? — спросил Горин.

— Чистосердечное признание, вы это знаете не хуже меня, всегда учитывается судом, — ответил следователь.

— Консервированные крабы я получил от человека, который, по моим предположениям, является немецким агентом.

— Повторите... — сказал следователь, не скрывая своего изумления.

Горин повторил и назвал имя агента — Павел Генрихович. Фамилии он не знал.

В дальнейшем Горин стойко держался версии, что с Павлом Генриховичем он встречался раньше только за картежным столом и ничего о нем не знал. Перед началом войны за этим Павлом Генриховичем оставался большой картежный долг, который он недавно отдал консервами, при этом Павел Генрихович пытался склонить его к шпионской работе, но Горин уклонился и обещал подумать.

— Как же вы собирались сообщить ему о результатах своих раздумий? — спросил Грушко.

— Он сказал, что найдет меня сам, — ответил Горин.

В показаниях Горина наметилось наконец нечто, ведущее к правде. В частности, Павел Генрихович. Опыт говорил, что преступник, пытаясь выкрутиться, может придумать все, что угодно, иногда удивительно правдоподобно, но выдумывать человека им, как правило, не удается. После некоторых специальных допросов Горина был составлен словесный портрет человека по имени Павел Генрихович.

Дверь без стука распахнулась, и я увидел высокого военного. Он окинул быстрым взглядом весь мой маленький номер, в котором не было ни порядка, ни чистоты, — уборщица была здесь последний раз месяца два назад.

— Ну и берлога! — весело сказал он. — Давай знакомиться, я из «Комсомолки». Маркевич, Николай, для знакомых — Коля. Слушай, мне сказали, будто ты каждый день говоришь с Москвой. Можешь ты подключить меня к своему разговору и соединить в Москве с одним номером? Прямо скажу: дело не служебное.

— Не могу. Я работаю по радиотелефону.

— Что это значит?

— Мои разговоры могут слушать все, кому не лень. Немцы в первую очередь.

— Э-э-э-э, не подходит. Аминь. — Маркевич сел на кровать, растянул шинель и спросил: — Ты как ешь свою хлебную пайку? Всю сразу или по частям?

— Делю на три части. Получается по ломтику — вроде бы иллюзия трехразового питания, — ответил я.

— А я ем сразу все. По крайней мере не иллюзия, а хоть раз, да реально, как-никак сто двадцать пять граммов. Ты как к Гёте относишься?

— К какому Гёте?

— Да господи, — Иоганн Вольфганг Гёте! — Маркевич встал и заходил — два шага в одну сторону, два — в другую.

— Откровенно сказать, я плохо его знаю. Разве что «Фауст»...

— Отлично, парень. Ты дико образованный тип. Скажи мне, однако, кто заставил нас вести философский разговор о том, как лучше съесть эту проклятую хлебную пайку? Не понимаешь? Фрицы нас заставили. Фрицы. А кто Гёте? Тоже фриц. Значит, и он виноват? Чушь! Верно? Знаешь, что я придумал? Гитлер уничтожил всех настоящих немцев и вместо них откормил на собственническом и националистическом совершенно новом, неслыханном племени зверей и идиотов, умеющих стрелять. А? Ничего теориейка? — Маркевич громко захохотал.

Так я познакомился с Николаем Маркевичем.

Захожу в булочную взять хлеб на день. Свет не горит. Через замороженное окно пробивается серый метельный день. Приглядевшись, вижу молчаливую очередь — человек десять. Подхожу, становлюсь и слышу:

— Здорово, пещерный зверь.

Маркевич!

Получили хлеб, вышли на улицу. Маркевич говорит:

— Будь свидетелем — Гитлер заплатит мне за эту командировочку.

И мы расстались.

Спустя несколько дней мы вместе получали у коменданта талоны на дрожжевой суп. По комнате, где выдавали талоны, ходил мальчик лет пяти, лицо с кулачок, синее. Откуда он здесь взялся, не знаю. Он ходил среди военных и заглядывал им в глаза, но ничего не просил. Мордашка у него была грязная, а в глазах жуткая тоска.

Мальчик подошел к нам.

— Ты же знаешь мою теорию — я ем утром, сразу весь, — сказал Маркевич.

Я вынул из кармана ломтик и дал мальчику.

Потом мы молча шли по Невскому.

— С завтрашнего дня буду делать, как ты, — буду делить хлеб на три кусочка, — сказал Маркевич.

Мы расстались на углу Садовой — он пошел в Публичную библиотеку.

— Пойду Гёте почитаю! — крикнул он, обернувшись.

Вскоре он погиб...

Глава двадцать четвертая

Кумлев встал по будильнику, как всегда, в семь утра. Зажег электрический фонарик и, не одеваясь, делал гимнастику двадцать минут. Он знал триста упражнений по системе Мюллера из книги, которую купил еще в пятнадцатом году. Он начал тогда заниматься гимнастикой и был твердо убежден, что крепостью своего здоровья обязан именно этому.

Комната не отапливается. Еще с осени три окна его большой комнаты наглухо закрыты светомаскировкой, и дневного света здесь не бывает. Перед сном он на час открывает фрамугу — он решил приучить себя жить и работать при любом холоде. Здесь он только спит, а утром, после гимнастики, съев под глоток спирта кусочек сала и хлеба, уходит на весь день — встречается с агентами, наблюдает жизнь города, пишет радиодонесения в Центр на квартире у радиста. В середине дня полтора часа отведено на посещение продовольственной базы на Чугунной улице. Там теплый дом, сытный обед с рюмкой водки, возможность вымыться горячей водой. Поход на Выборгскую сторону был нужен не только для еды. Когда идешь ровным, размеренным шагом по городу, очень много видишь, и, кроме того, это полезная физическая нагрузка — Мюллер советует ходить как можно больше... Напряженный режим жизни помогает Кумлеву всегда находиться в форме и ощущать себя активно действующим.

Медленное зимнее утро еще не развернулось, и улица, по которой неторопливо шел Кумлев, тонула в синем полумраке. В природе была какая-то неподвижность, наверно к перемене. Вчера вечером небо, серое, лохматое, прижималось к крышам, казалось, от него веяло стужей. А сегодня оно поднялось. Воздух недвижим. Деревья за ночь покрыл толстый иней, Кумлев видел их будто на негативе. И все вокруг белое — заваленная снегом улица, иней на стенах домов.

Кумлеву предстояло свидание с Гориным. Он бы давно прекратил эти бессмысленные и опасные теперь встречи, но Горина вербовал сам Аксель.

На прошлой встрече Горин вдруг потребовал добавить ему продуктов. А когда Кумлев напомнил, что всего пять дней назад им была получена месячная норма, Горин, несколько не смутившись, предложил ему принять участие в выгоднейшем обмене: продукты — на ценности, золото, камни. И сегодня, как ни в чем не бывало, он явится на свидание — грязный, опухший от пьянства — и будет жаловаться...

Кумлев повернул с Невского на канал Грибоедова. У занесенного подъезда он обошел мертвого человека в светлом драповом пальто. Мужчина лежал на боку, положив под голову одну руку в толстой перчатке, другую засунув в карман. Лицо — синяя маска, глаза приоткрыты. Кумлев с любопытством рассмотрел его, смотреть на мертвых ему доставляло удовольствие, он любил об этом думать, подсчитывать, сколько их за день, любил слушать, когда об этом говорили другие.

Кумлев подошел к церкви Спаса на крови. Горина не было. Он постоял, рассматривая на стенах росписи, покрытые инеем, потом прошелся до Невского и обратно. Горина по-прежнему не было. Время, отпущенное на это свидание, уже истекло.

Низко, над самыми крышами, с ревом пронесся истребитель. Кумлев вздрогнул, поднял голову, но ничего уже не было видно, только с потревоженных деревьев бесшумно сыпался иней.

Кумлев решительным шагом перешел по мосту на другую сторону канала и ушел.

Идя по Невскому, он незаметно для себя замедлил шаг. С Гориным покончено! Если он не взят, Кумлев примет меры сам. Давно нужно было его убрать. Кто сможет заподозрить, что это сделал он? Во время войны снаряды падают везде... Он вспомнил о Клигиной. Если Горина взяли, то он ее, конечно, выдаст, и оба они опишут его внешность... Хотя изменился он сильно, отросли борода, усы, скулы

обтянуты, бледный.

С момента, когда Горин сообщил ему, что Клигина способна на предательство и Кумлев решил ее убрать, прошло уже немало времени, а приговор в исполнение так и не приведен. Кумлев два раза приходил к Нине Викторовне домой и не заставал. Ее болтливая соседка липла с расспросами: да кто он, да что ему нужно, да когда он придет еще? Времени мало, и он возложил исполнение приговора на голод. Но сейчас, после исчезновения Горина, он должен быть уверен, что Клигиной нет в живых!

В конце этого же дня, рассчитывая потратить на это не больше часа, он подходил к дому Клигиной. Дверь в ее квартиру была раскрыта, и тихо — ни звука. Пошел по коридору, подсвечивая фонариком. Дверь в комнату Клигиной тоже была открыта. Кумлев выключил фонарик и вошел. Остановился, привыкая к темноте, — слабый свет проникал сквозь щель в занавешенном окне.

— Кто... там? — тихо, но явственно донеслось из черного угла. Кумлев не узнал голоса и подошел ближе. Снова зажег фонарик. Огромные черные глаза смотрели на него без всякого выражения. И как будто у нее пропало лицо — череп, обтянутый кожей.

— Что же это вы не дали знать? — участливо спросил Кумлев. Он расстегнул пальто и сел возле тахты. — Нехорошо, Нина Викторовна. Я бы сразу пришел. Вы что, болеете... или так?

Нина Викторовна только чуть-чуть повернула к нему голову, глаза не меняли выражения.

— Совсем, я вижу, ослабли... — продолжал Кумлев. Он вынул из кармана сверточек, развернул бумагу и положил на стол рядом с изголовьем кусочек сала.

Клигина вдруг резко повернула голову и посмотрела на сало. Оно было близко-близко от ее лица, и она чувствовала запах.

— Ну, как же это вы допустили до такого? — сокрушался Кумлев. — Это ж моя обязанность — помочь вам. Как можно было...

Клигина не могла оторвать взгляд от сала и частыми глотками слюны пыталась смыть во рту ощущение ожога. Она вдруг легко приподнялась, схватила сало, вцепилась в него зубами, начала быстро отрывать кусочки и глотать.

— Вы жуйте, Нина Викторовна, жуйте, так очень вредно, — сказал Кумлев, с любопытством глядя на нее. Но Клигина его не слышала и продолжала глотать, пока не съела все. Она устало откинулась на подушку — в глазах ее появилось подобие улыбки.

Было похоже, что она заснула, — он слышал ее спокойное дыхание. Кумлев подождал еще... Потом нащупал в кармане финку и начал осторожно высвобождать из тряпки лезвие.

В полумраке он видел белое лицо, слышал дыхание — спокойное, ритмичное, так дышат люди во сне, — яд почему-то не действовал.

Он вытащил финку и смотрел, решая, куда ударить. И вдруг она перестала дышать. Потом шумно втянула воздух, будто захлебнулась им, тело ее шевельнулось, выпрямилось и замерло.

Кумлев подождал еще минут пять, закрыл ее голову одеялом и вышел...

К вечеру заметно потеплело, шел редкий летучий снежок, он приятно хрустел под ногами. Надо было спешить — надвигался комендантский час. Мимо громады

Александровского театра, все подъезды которого были заметены снегом, по строгой улице Росси он вышел к Гороховой.

Справа от Адмиралтейства слышался приближавшийся гул. Кумлев остановился. Гул был все ближе. Мимо, обдав теплом и гарью, промчались один за другим три мощных танка.

В сумерках, в сетке снега они пронеслись, как чудовища, и исчезли во мгле, оставив после себя грозный стихающий рокот.

Кумлев стоял, смотрел им вслед и думал.

Когда началась война, самые честолюбивые его мечты становились реальностью. Каждое сообщение с фронта о стремительном наступлении немецких войск было для него трубным сигналом — наступал час вознаграждения за его долготерпение и выдержку! За его непоколебимую веру в то, что такой час в его жизни настанет!

И он терпеливо ждал... ждет... Но что же произошло потом? Что сейчас происходит? Что? Если для своего спокойствия он должен был сегодня сам марать руки, убивать никому не нужную женщину?

Он думал об этом и дома, сидя за столом, положив перед собой зажженный электрический фонарик. Нужно было точно сказать себе: что произошло? Ничего страшного — просто Ленинград не удалось взять с ходу, и сейчас идет тяжелая битва за город. Все должно быть брошено в атаку на этот город! Все!

А Кумлеву уже давно кажется, что Аксель там, в Новгороде, не понимает, не знает обстановки в Ленинграде и занимается не тем, чем надо, шлет своих представителей, которые все время что-то и кого-то проверяют, в том числе и его, Кумлева. Вместо этого они должны действовать. Позавчера пришла шифровка: Аксель предлагает составлять списки лиц, которых нужно будет ликвидировать в первую очередь. Зачем эта работа? Не уходя от Палчинского, Кумлев сразу же отправил ответ: «Готовить списки бессмысленно — обвинение в причастности к вооруженной борьбе против немецкой армии может быть с полным основанием предъявлено всему населению города, без учета пола и возраста. Присылайте организатора главного дела. Обстановка достаточно ясна, надо действовать...»

Ответная шифровка Акселя пришла тоже сразу: «Ваша обязанность — выполнять приказы».

Кумлев не учитывал эту радиограмму, как полагалось, а спрятал в надежное место. Она может быть доказательством, что для активизации дела он предпринимал все, что мог.

Пожилый боец с карабином дулом вниз за плечами вел по 2-й Советской улице пленного немца. Боец был маленький, в коротенькой шинельке, тоненькие кривые ноги, обтянутые обмотками, трех туго завязан под подбородком, смешная, в нее борода торчала вперед.

Я шел за ними от самой Херсонской улицы, мне было интересно, как немец смотрит на Ленинград — попал в него наконец! Немец здоровенный, лет 35, в короткой темно-зеленой куртке на каком-то рыжем меху и в соломенных ботах. Голова по-бабьи обвязана шарфом. Он шел, как положено, сцепив руки за спиной, и глядел себе под ноги. Город его, кажется, не интересовал.

На углу Советского проспекта они остановились. Пленный стоял посредине улицы, а конвоир побежал к очереди, черневшей у входа в продовольственный магазин. Он что-то спросил у женщин и возвращался к немцу. Вдруг я увидел, что вслед за ним бегут женщины из очереди.

Самосуд возник молниеносно. Женщины подбежали к гитлеровцу, что-то кричали ему в лицо и пытались ударить. Он уворачивался как мог, но все-таки

ему доставалось.

Конвойный бегал вокруг, тоже что-то кричал, совал вперед свой карабин, но женщины не обращали на него никакого внимания. Одна женщина била гитлеровца бутылкой по голове. Я подбежал, оттащил ее от пленного, но тут же сам получил по затылку. Даже смешно стало.

Подъехала машина с тремя военными. Они выскочили, побежали к толпе.

— А ну, хватит! — рявкнул один из них так, что эхо раскатилось вокруг.

Женщины остановились, перестали кричать и начали расходиться. Лица у них были испуганные и смущенные. Командиры отругали конвойного, забрали его и пленного в свою машину и уехали.

Я подошел к женщинам. Они стояли кучкой в туннеле ворот. Молчали. Точно стыдились друг друга. Увидев меня, одна из них сказала негромко:

— А что они... наших детей... гады...

Глава двадцать пятая

Потапов пришел на конспиративную квартиру немного раньше назначенного срока. Зажег коптилку. Холод. Вокруг зыбкого пламени дрожало золотое сияние. Из рта вырывался клубами густой пар и мгновенно оседал инеем.

Сейчас Грушко должен принести решение руководства о дальнейшем ходе операции. Потапов предложил два варианта: первый — поход через фронт осуществить в действительности и втянуть в «игру» немцев, второй — поход только симулировать.

Холод схватывал, как на улице, и Потапов, не останавливаясь, ходил по квартире. Обычные вещи этой обычной ленинградской квартиры напоминали ему о собственном доме, но думать об этом сейчас было нельзя.

Если решат, что надо идти через фронт, может быть, это даже лучше, это конкретное дело. «Умереть не страшно, — говорил себе Потапов. — Страшно ожидание, бездеятельность... — Он вдруг остановился: — Как это не страшно? Неправда, страшно! Очень страшно умереть в одиночку от пули в затылок в подвале гестапо».

Щелкнул замок. Вошли майор Грушко и заместитель начальника управления Стрельцов. Грушко тяжело дышал, лицо у него было серое.

— Унизительная слабость, — сказал Стрельцов, вытирая лоб и опускаясь на стул.

— Вы лучше не садитесь, холод... — предупредил Потапов.

— Я сейчас... минуту, — ответил Стрельцов, но не встал. Грушко сидел у стола.

— Переход фронта будем симулировать, — как всегда, неторопливо начал Стрельцов. — Настоящий переход означал бы, что мы сами втягиваем их в более тяжелое преступление. Более того, нам вообще придется оберегать их от связи с немцами.

— То есть как? — спросил Потапов.

— Мы не можем содействовать этой связи, дабы не помогать осуществлению их преступных планов.

— Ну, знаете, до этого я бы не додумался. Это я еще должен их оберегать? — вспыхнул вдруг Потапов.

— Отставить. Эмоции потом, — пробасил Грушко и спросил: — Со вторым каналом их связи ничего не прояснилось?

— Ничего. Вставай, чего расселся... — Потапов подошел к Грушко, взял его за плечи, и тот, тяжело поднявшись, стал топтаться на месте.

— Так выясняйте, Потапов, — сказал Стрельцов, подходя. — Мы уже взяли несколько очень крепких типов. Все русские. Большой запас наших денег. Как бы один такой не вышел на вашу группу.

— А может, не ждать этого? — спросил Потапов.

— Нет. Сначала расколем их до дна, — ответил Стрельцов и продолжал: — В общем — симуляция. Все делайте, как наметили. Приятель-фронтвик и так далее. Значит, фамилия этого фронтвика: Зайцев Николай Георгиевич, начальник штаба 401-го стрелкового полка. Запомнили? Они, конечно, будут проверять! Во время «похода» будете находиться здесь. Договоритесь с Грушко о питании. Мы за это время изготовим необходимые немецкие документы.

— Разве нельзя побыть на Литейном? — спросил Потапов.

— Нельзя. Дальше... — Стрельцов снова ходил по комнате, скрипя кожаным регланом. — Вы даете группе согласие идти, но поднимаете один вопрос: солидно ли идти к немцам с намеченной ими целью? Во-первых, за этим не видно политической позиции. Во-вторых, разве немцы не мечтают захватить все ленинградские ценности? Если руководители группы других целей не выставят — хорошо, и тогда вы им уступите. Но я почти уверен — выставят! Какое у вас впечатление? — Стрельцов остановился рядом с Потаповым.

— Могут и не выставить, — ответил Потапов. — По-моему, они не хотят проиграть, когда придут немцы, но сейчас играть рискованно, боятся.

— Повторяю, Потапов, выясните их второй канал!

— Как ведет себя Давыдченко? — спросил Грушко.

— О том, что его брали на Литейный, не сказал никому. Завтра мы с ним встречаемся — поведет меня на их главную квартиру. Он у них что-то вроде связного.

— Но как он все-таки оказался возле них?

— Я понял, что это связано с тем судебным процессом о пожаре на корабле, когда его спасли.

— Любопытно, как они все в конечном счете оказываются близко друг от друга, — сказал Стрельцов. — Горин имел контакт с Давыдченко, этот — с теми, а кто-то еще зацепится за других. В общем, вам, Потапов, работы хватит, вы напрасно психуете. Не зря вы потрудились над своей внешностью.

— Да, личность — плюнуть хочется, — угрюмо пошутил Грушко.

— Главный экзамен завтра, — сказал Потапов. — Еще неизвестно, что скажут и что подумают там о моей личности.

Давыдченко был непривычно молчалив, только всю дорогу поторапливал Потапова.

Они встретились на Петроградской стороне, возле Ботанического сада, и пошли к Кировскому проспекту. За мечетью обошли несколько узких улиц и наконец вошли с черного хода в дом, который, по расчетам Потапова, должен выходить фасадом на Петровскую набережную.

По темной крутой лестнице они поднялись на второй этаж и вошли в переднюю. Высокие лепные потолки. Дубовые панели. На вешалке — шубы. В квартире было тепло, пахло хорошим табаком.

Сняв свой засаленный полушубок, Потапов стал тщательно протирать отпотевшие очки.

— Туда, туда идите. — Серьезный и подтянутый Давыдченко показал на высокую резную дверь.

Потапов вошел в просторную комнату. Вдоль стен — шкафы, за стеклами — золоченые корешки, лохматые срезы старинных книг.

Дмитрий Сергеевич вышел из другой двери и крепко пожал руку Потапова.

— Прощу извинить, что не встретил, заговорились... — сказал он мягко и пригласил Потапова сесть. — Ну, как дела? — спросил он, устраиваясь в кресле напротив.

— Дел никаких, — ответил Потапов. — Но в городе был и останавливался у меня мой сокурсник по институту, теперь начальник штаба полка, стоящего на передовой.

— Вы рассчитываете на его помощь?

— Помогать он, конечно, не собирается, но он пригласил меня к себе на фронт подкормиться, и этим можно воспользоваться.

— Великолепно! — воскликнул Дмитрий Сергеевич. — Мы как раз сейчас говорили об этом труднейшем моменте...

— Но я советовал бы использовать ваш второй канал, — сказал Потапов.

— Наш руководитель проявил огромный интерес к вам и к нашим переговорам, — ответил Дмитрий Сергеевич.

— Я его увижу?

— К сожалению, он болен. Вопрос о походе поручено решить нам...

В комнату вошли двое. Высокий, стройный мужчина лет пятидесяти, с ухоженной бородкой и усами на красивом большом лице.

— Алексей Дормидонтович, — представился он Потапову, протягивая руку с длинными пальцами. Он пододвинул себе кресло и осторожно опустился в него.

— Алексей Дормидонтович, профессор, хозяин этой квартиры, — представил его Дмитрий Сергеевич.

Второй был постарше, с круглым и добродушным лицом, в грубошерстном свитере и валенках, обшитых кожей.

— Анатолий Павлович, — хрипло сказал он, не подавая руки. — Гриппую, от меня лучше быть на расстоянии.

«Да, мир-то действительно тесен», — думал Потапов, сидя напротив профессора, сподвижника и врага Безуглова.

— Дмитрий Трофимович пришел к нам с великолепной новостью, — начал Дмитрий Сергеевич. — У него появилась возможность совершенно открыто попасть на фронт. Его друг — командир полка — пригласил его к себе подкормиться...

— Начальник штаба полка, — уточнил Потапов и добавил с усмешкой: — Возможности открыто попасть на фронт не лишен никто...

Хозяин квартиры внимательно смотрел на Потапова, и этот человек с заросшим лицом, в стоптанных валенках, с непонятными глазами за толстыми стеклами не вызывал у него ни симпатии, ни доверия.

— Скажите, пожалуйста, — обратился к нему Потапов, — вы не знали орнитолога Безуглова?

— Я знаю его, — удивленно ответил Алексей Дормидонтович.

— Он умер, и это тот случай, когда вы должны быть благодарны смерти, — бесстрастно сообщил Потапов.

— Не понимаю... — поднял вверх лицо профессор.

— Безуглов — мы с ним соседи — рассказал мне недавно о вас и как вы приходили к нему. А он мог рассказать это кому угодно.

— Ерунда, я не знал ученого более аполитичного, чем Безуглов. Вы только его сосед, а я рядом с ним работал десятилетия, — сдержанно сказал профессор.

— Алексею Дормидонтовичу было поручено привлечь Безуглова, — негромко сказал Анатолий Павлович и надолго закашлялся. — Нам было очень выгодно

иметь его, у него чистое имя...

— Когда в этих условиях ищешь союзников, без риска нельзя. Разве мы не рискуем, доверяясь сейчас вам? — спросил профессор.

— Конечно, рискуете, — согласился Потапов. — Как рискую, впрочем, и я тоже.

Потапов понимал, что его маневр с орнитологом ничего не дал, только, может быть, вызвал еще большую неприязнь к нему хозяина квартиры. Но сделать это было необходимо, и дальше ему следовало придерживаться заранее намеченного плана.

— Чтобы все сразу стало ясно, скажу: с той целью, которая мне известна, я через фронт не пойду. Я еще хочу жить, — сказал Потапов, и все надолго замолчали.

— Ну, вот видите, мы должны еще дальше идти на риск и должны доверять вам еще больше, — обратился к Потапову профессор. — Да, мы считаем, что там следует говорить о цели более широкой.

— Что значит «говорить»? Я должен иметь четко сформулированный документ, — сказал Потапов.

— Можно все сказать и устно, — небрежно, как о чем-то несущественном, заметил профессор.

— Немцы — люди дела, — тоже между прочим сказал Потапов.

— Мы вам дадим документ... своеобразную доверенность на переговоры, — сказал Алексей Дормидонтович.

Спустя два дня Давыдченко принес ему письмо для немецкого командования. Оно было коротким:

«Податель сего представляет группу патриотов из среды научной интеллигенции, озабоченных будущим, связанным с новым порядком, который несет с собой победоносная немецкая армия, о лояльности к которой заявляется настоящим документом.

По понятным соображениям, наши подписи здесь отсутствуют, но податель сего уполномочен охарактеризовать состав нашей группы и ответить на любой вопрос...»

На другой день Потапов поселился в конспиративной квартире и стал ждать.

Давыдченко каждый день в самое разное время наведывался на квартиру Потапова. Потом пошел в мастерские и узнал, что заведующий швейным цехом поехал в командировку по прифронтовым госпиталям.

Снова — на Ладого. Зима. Ладога, белая, безбрежная, сверкает под низким солнцем. А я вижу ее свинцово-черной. Вижу осевший на корму корабль на темных волнах и слышу непрерывный крик женщин и детей.

После страшной осенней трагедии я стал думать о том, что не надо больше эвакуировать из Ленинграда женщин и детей. Было немало разговоров и споров об этом, но в Смольном по данному вопросу позиция железная. Я слышал, как Кузнецов говорил по телефону: «Поймите, если мы вывезем из-под прямой угрозы хотя бы сотню тысяч человек, это будет означать сто тысяч наверняка спасенных. А здесь каждый из них завтра может стать жертвой обстрела и бомбежки! Или послезавтра умереть от голода!» Он горячился и волновался, — наверное, с Москвой говорил.

Снова — на Ладого...

Несмотря на то, что день ясный, летный, машины с хлебом — оттуда и с

людьми — туда идут непрерывно. Наши «ястребки» челночат над озером, охраняя Дорогу жизни. Зашел на окраине Осиновца в обогревательный пункт, а точнее, в жарко натопленную избу. Битком — ребятня школьного возраста и несколько женщин. Девушка-военфельдшер объясняет им, как себя вести в машине: «Сидеть надо, тесно прижавшись друг к другу, и лучше всего — повернуться вперед боком... Руки всунуть в рукава — вот так... Никаких остановок на ледовой трассе не будет — ни по малым, ни по большим делам — надо терпеть... На случай бомбежки или обстрела движение также не останавливается, паники не поднимать». Ребята слушали ее серьезно, молча, как взрослые, — этих ленинградских ребят уже ничем не испугаешь...

А на контрольно-пропускном пункте идет строжайшая проверка груза, прибывшего оттуда, — военные считают, пересчитывают мешки, ящики. Шоферы помогают считать — случаи воровства очень редки, исключительны, но стало обыкновением, когда из-за мешка муки шоферы готовы были пожертвовать жизнью. Жертвовать жизнью, чтобы спасти жизнь других...

Переехал в Кобону. Груды, пирамиды продовольствия. Для ленинградцев! Все это истекающая кровью Родина подвезла сюда, к самой линии огня. Для ленинградцев! Здесь сейчас строится 50-километровая железнодорожная линия, чтобы подвозить продовольствие еще ближе к берегу. Тогда шоферы смогут делать больше рейсов. Здесь, на этом берегу Большой земли, царит всеобщее нервное напряжение, заставляющее людей работать сверх всяких сил. Они понимают тяжелое положение населения Ленинграда и готовы сделать для города Ленина все возможное и даже невозможное.

Узнал, что танковые части из Ленинграда перебрасываются по Ладожскому озеру через кольцо блокады и отправляются дальше на юг. Это показалось мне невероятным, тревожным.

Грелся в землянке вместе с майором-танкистом. «А что мы там сидели без толку? — сказал он. — Силенок для прорыва мало, а держать оборону можно и без нас. Ленинграду мы и там поможем — ведь где ни положил гитлеровца, Ленинграду — радость...»

Вот начало корреспонденции: «Ленинград. Он всегда был и остается городом-воином. В ряду других наших городов и фронтов он ведет общий бой с врагом. Его подвиг подчинен великим планам этой великой войны!..»

Завтра буду писать.

Глава двадцать шестая

От Литейного до улицы Пестеля совсем недалеко, но Грушко шел долго, несколько раз останавливался и чертовски устал. Было солнечно. Потеплело. На обледенелых тротуарах возле стен подтаивали лунки. С солнечной стороны дома, покрытые инеем, были золотые, а в тени — синие. В этой светлой тишине улиц привычно и буднично стучал в репродукторах метроном. «Может быть налет», — машинально подумал Грушко. Он шаркал тяжелыми ногами, дышал как-то со звуком, спотыкался на ледяных буграх, чертыхался и снова шел.

Сегодня утром на допросе Горин назвал новое имя — Нина Викторовна Клигина. Сказал, что это его старая знакомая и что однажды видел ее вместе с тем самым Павлом Генриховичем, который, по его мнению, является немецким агентом.

В домоуправлении никого не было. На двери висела бумажка, сообщавшая, что паспортистка живет в этом подъезде на четвертом этаже.

Нужно было подниматься. Грушко сел на подоконнике между первым и вторым этажом и долго сидел, собираясь с силами. У него непрерывно болела голова и что-то непонятное происходило с глазами — вдруг словно мутной волной размывало. Вот и сейчас... Он закрыл глаза и посидел несколько минут. Потом стал подниматься. Стоял на каждом этаже, сидел на каждом окне.

На двери было написано мелом: «Входите — открыто». Паспортистка — девочка с прозрачным, восковым лицом — долго читала документ Грушко и только после этого стала разговаривать. Да, она Клигину хорошо знала. Нет, не лично — просто знала, что у них в доме живет красивая киноартистка. Действительно, очень красивая. Но злая — однажды она послала ее к черту, и непонятно за что, девушка только спросила, в каких она фильмах снималась...

Паспортистка достала толстую домовую книгу, полистала и сообщила:

— Клигина умерла три дня назад, теперь вся квартира пустая.

— Мне нужно осмотреть ее комнату, — сказал Грушко.

Она стала рыться в ящиках стола и подала ключ:

— Даю без расписки, сразу верните.

Грушко попросил разрешения оставить ключ где-нибудь внизу.

— Нет, нельзя, — категорически ответила она. — Тогда ждите меня, через час я буду в домоуправлении. Да, вещи не трогайте, надо оформить по акту, если что...

Грушко медленно спустился, прошел по снежной тропинке. Сердце тупо болело. В третьем подъезде он долго стоял, тяжело дышал, закрыв глаза, потом поднялся на второй этаж.

Двери всех комнат большой квартиры были открыты, и в коридоре было довольно светло. Грушко пошел вперед — к кухне. Смотрел в открытые двери комнат и вошел в ту, где на стенах было много фотографий из популярных кинофильмов, а над тахтой — большой портрет знаменитого артиста. «Смотри, Тенин», — машинально подумал Грушко, оглядывая комнату.

Черная бумажная занавеска отогнулась в углу, и серый свет освещал комнату. Она была просторная, мало вещей. Огромная тахта. Напротив — зеркало в овальной раме, в углу — шкаф и небольшой стол у окна.

Нужно было начинать обыск. Грушко сел на стул около тахты, чтобы собраться с силами, — сесть было гораздо легче, чем встать. Он открыл шкаф — пахло духами, закачались пестрые платья — и сразу закрыл: ясно до жути вспомнил свой дом. Ни разу после отъезда жены он не был дома...

Снова открыл. Осмотрел одежду, даже карманы, полку, ящик внизу. Затем стал методически прочесывать всю комнату шаг за шагом. На этажерке лежала стопка журналов и «Старые знакомые» Германа — перелистал.

Все было осмотрено. Осталась одна тахта. Пришлось перетрясти постель. Потом он подошел к стене, просунул ногу за тахту, уперся руками в стену, и она вдруг легко поехала по темному паркету. Пыль, старые туфли, тряпки, коробки. И в самом углу, на полу, там, где было изголовье, лежала клеенчатая тетрадка, свернутая в трубку и перевязанная бинтом.

Он подошел к окну, дернул бумажную занавеску, и она упала со страшным хрустящим шумом. Стало светло. Открыл тетрадь. Первая ее половина была чистая, а с середины начинались записи карандашом. Он прочитал наугад:

«Слабость навалилась внезапно. Утром обнаружила, что ноги не держат. Я кричала, но Лидия Степановна не слышала. Может, она уже умерла. Хорошо еще, что есть лед на окнах, отковыриваю и сосу. Силы уходят. Только бы успеть записать самое главное.

Я предала Родину...»

Паспортистка сидела в домоуправлении. Она смотрела на него подозрительно и строго. Грушко не выдержал, улыбнулся:

- Все оставил, как было, не волнуйтесь...
- Если я не буду волноваться, как будет-то? Люди-то вернутся...
- С того света?
- Из каждой комнаты живой найдется, вот увидите.
- Вашими бы устами...

Назад было идти легче. Всегда, когда идешь домой или сделав дело, идти легче. Почему это? А девушка эта славная — голодная сидит тут и волнуется, что вернутся домой живые люди, а у нее что-нибудь окажется не в порядке. Грушко пожалел, что у него не нашлось для нее добрых слов.

Вернувшись в управление, он сразу стал читать клеенчатую тетрадь.

«Я предала свою Родину, сделала это легко и без переживаний. В предатели меня рекомендовал адвокат Горин, грязный и продажный человек. Все случилось потому, что я жила, совершенно не думая о том, где живу и для чего. Бывало мне грустно, бывало весело, счастья не было никогда. Разве в самом, самом детстве. А чем я его заслужила? Родилась красивая — вот и все мои права...»

Горина снова доставили на допрос. Он привычно сел на стул посередине комнаты и выжидательно смотрел на майора.

- Расскажите, Горин, о ваших шпионских связях.
- Тут я не могу быть вам полезен.
- Я вынужден напомнить вам, юристу, что уклонение от правдивых показаний следствию не убавляет вашей вины.
- И тем не менее...
- Когда вы порвали с Клигиной?
- Подобные победы и отступления я в памяти не фиксировал. Во всяком случае, давно.

— Кто вас с ней познакомил?

— Такое разве вспомнишь?

— А кого с ней познакомили вы?

— Наверняка знаю, кого-нибудь знакомил, такой товар обычно передается из рук в руки... Кого именно?.. Извините...

— Отвечайте правду: зачем вы были недавно у Клигиной?

— Даже если это было... так сказать...

Грушко закрыл рукою глаза, в висках громко стучало, перед глазами плавали мутные круги.

— Я предъявляю вам, Горин, обвинение в попытке обмануть следствие.

— Я говорю правду.

— Сейчас я вызову на очную ставку Клигину.

Горин откинул назад длинные слипшиеся волосы и сел прямо.

— Вы надеялись, что Павел Генрихович ее прикончил после вашей разведки? Отвечайте!

Горин молчал.

— Почему вы рекомендовали Клигину агенту иностранной разведки?

— А почему вы ее показания слепо берете на веру?

— Потому, что в отличие от вас она показывает правду.

— Правда женщины такого сорта...

— Вы рекомендовали ее иностранной разведке именно за это?

— За что?

— За этот ее... сорт? Смотрите сюда. Узнаете почерк?

— Да. Это почерк Клигиной.

— Читайте вслух вот это место... Ну?

— «...Недавно приходил Мишка Горин. Паразит! Горевал, что мы с ним влезли в грязное дело, и звал бежать на фронт...»

— Хватит. Вы только за этим приходили к ней? Ну, хорошо, на очной ставке мы все уточним. Последний вопрос: ваше предложение Клигиной бежать было искренним?

— Да.

— Когда вы были завербованы?

Горин понял, что упираться бессмысленно, и рассказал все.

Договорился с Всеволодом Вишневым о его радиовыступлении на Москву. Сегодня весь вечер у меня в гостинице готовили текст. Интересный он и сильный человек. Поразительно его умение не формально, а через сердце любую цепь любых событий замыкать на себя.

Работа над текстом происходила так: Вишневский шагал по номеру и с пафосом диктовал, а я записывал. Вот эта запись:

«Родина милая, слушай! Слушай! Я говорю из осажденного Ленинграда. Но еще неизвестно, кто тут теперь осажден: Ленинград или немецкая группировка „Север“. Но об этом позже...

Ленинградский фронт намертво врублен в святую здешнюю землю. Товарищ Верховный, можете не беспокоиться: этот фронт приняли на свои богатырские плечи солдаты и моряки-балтийцы. О чем может идти речь? Больше ни шагу назад не будет сделано — это клятва сердцем и кровью. А вперед — готовы. Готовы, товарищ-Верховный. Планируйте, назначайте день и час.

Все с нами было. Все. Пятились от самой Литвы, через всю Прибалтику. Хватались за родную землю руками, ногти срывали, зубами впивались, кровью исходили, но... Кто был в Таллинне, тот знает, когда мы отходили, когда позволяли себе, простившись с павшими, отойти назад. Я был там. Могу сказать одно: близок час, когда пойдем вперед мы, а врагу придет удел пятиться. Нет, не пятиться, а в диком ужасе бежать, потому что им и присниться не может наша преданность, наша выдержка, наше упорство, наше уменье стоять насмерть. На днях я участвовал в допросе сильно прославленного в Германии танкиста. Гауптман. По-нашему это капитан. Голубые глаза чистопородного арийца. В кармане фотографии, сделанные им в Париже и Варшаве. Интересно, как он в плен угодил, такой породистый и прославленный. Его танк поджег бронейщик Костя Федоров. С первого выстрела поджег. Экономно. Наш прославленный гауптман выскочил из танка и бежать. Но тут, на его беду, сидели в дозоре моряки из гвардейской морской пехоты. Один из них — старшина первой статьи Гуркин, как рысь, бросился на гауптмана, и песне конец. Сидит наш гауптман в кабинете, в одном ленинградском дворце, и отвечает на вопросы, и на всех на нас смотрит с выражением: не бейте меня, я на все готов. А между прочим, на шее у него — крест доблести высшего разряда. Спрашиваю у него: каким вам видится завтрашний день войны? Отвечает сразу: страшным. Почему? Пружину, говорит, мы согнули до предела, теперь держим, а силы тают. Пружина развернется — и тогда... Замолчал гауптман. Спрашиваю: что тогда? Молчит. Потом отвечает: тогда начнется наше отступление. Я ему уточнил: тогда, говорю, начнется не отступление ваше, начнется ваш конец. Вот и спрашивается, кто же теперь в осаде: мы или они?

Так и будет, дорогие товарищи. Москва прекрасный пример уже показала. Мы тут готовы добавить. Готовы сказать свое слово от имени Ленинградского фронта, от революционной Балтики. В контрудар мы вложим священную память обо всем, что мы пережили. В нашем ударе будет имя каждого солдата и матроса, которые пали в черные дни отступления. В нашем ударе будет страдание каждой пяди родной земли, попавшей в проклятый полон! В этом ударе будет вся наша неизбежная любовь к ленинской Отчизне! Вся наша ненависть к фашизму! Запомните это, господа гауптманы и фельдмаршалы! Дело, в общем, обстоит так: вы эту войну начали, мы ее продолжим, мы ее кончим в Берлине, в самом вашем логове! Ждите!

Мы тут недавно вместе со всей нашей страной встречали Новый год. Ну выпили, конечно, как положено и сколько положено. И говорили тосты. Каждый тост был как клятва:

— За полный разгром врага!

— За великую нашу победу!»

Вишневский остановился посередине номера и сказал:

— Амба. Все. Что скажешь?

Но я не успел сказать. В этот момент один за другим три мощных разрыва так потрянули гостиницу, что со стола свалилась кружка.

— Не получается ли слишком шапкозакидательски? — осторожно сказал я.

— Чушь! — моментально воспламенился Вишневский. — Закидать шапками — это одно, это угроза идиотов. А верить, свято верить в победу — это другое. И верить надо не только про себя, а и вслух, чтобы все знали об этом и кому положено радовались, а кому положено — страшились. Понял?

Снова грохнуло несколько разрывов.

— Пусть они стреляют, пусть... — продолжал Вишневский. — А мы текст оставим без изменений. Если хочешь знать, они для того и стреляют, чтобы мы свои тексты под сурдиночку брали. Все.

Снова разрыв.

— Это они траурный салют самим себе производят, — сказал Вишневский. — Только смертники могут себе позволить стрелять по городу Ленина! Да, они свое уже спели! Теперь пойдут наши песни! Наши!

Глава двадцать седьмая

Было тихое морозное утро. Солнце оранжевым пятном висело низко над городом, тени от этого солнца не было. В морозной тишине с равными паузами трескуче рвались снаряды, они падали где-то совсем недалеко.

Браславский шел, прижимаясь к домам, и вдруг увидел, что с другой стороны Невского женщина машет ему рукой и кричит что-то. Он повернулся и увидел на стене надпись: «Граждане, во время артобстрела эта сторона улицы наиболее опасна». Браславский кивнул женщине и заставил себя неторопливо перейти через Невский, туда, где стояла женщина.

— Жизнь вам недорого? — спросила она.

— Замечтался... спасибо... — угрюмо отозвался Браславский.

Он шел и думал, что ему мешают какие-то вопиющие мелочи. Голодная, безумная баба на явочной квартире. Общительные рижане в отеле. Все эти досадные мелочи мешали его возвышенному самоощущению, которое было вначале. Да, он находится в Петрограде, да, он делает свое важное дело...

В тот момент, когда он прошел мимо улицы Желябова, над его головой с треском и воем кто-то разорвал серое полотняное небо, он ясно увидел, как стена дома на другой стороне Невского медленно вогнулась внутрь и стала бесшумно рушиться, ломая колонны. В тот же момент непонятная упругая сила приподняла Браславского над землей, перевернула на спину и швырнула в туннель ворот.

Когда он открыл глаза, первое, что он увидел, был кусок кирпича, который, как волчок, вертелся с ворчанием у его ног. Потом осколок перестал вертеться и начал быстро погружаться — снег вокруг него таял. Браславский с ужасом смотрел: мысль, что этот камень мог его прикончить, тупо стучала в голове. Он понимал, что надо хотя бы отодвинуться, отползти, но не мог двинуться и оторвать взгляда от камня. И как это бывает во сне, не мог пошевелиться, чтобы отдалиться от опасности.

И почему такая страшная тишина? Он повел головой и вскрикнул от боли.

Он сидел на снегу посередине двора, куда его швырнуло воздушной волной. Медленно падала сверху желтая пыль, и снег на глазах желтел. А через полукружие ворот Браславский видел, как в клубах дыма и пыли на Невском мелькали люди. Но почему такая страшная тишина?

Он встал на четвереньки и попробовал подняться на ноги. Не смог. Повалился лицом в снег и долго лежал неподвижно — все тело было сковано болью. Потом подполз к стене и, держась за нее, попытался встать — ноги не держали, он рухнул на колени, упершись головой в стену. Так он вставал и падал несколько раз и наконец удержался на ногах, плотно прислонившись к стене. В это время включился мир звуков. С Невского долетели голоса, там кто-то громко ругался. Два раза подряд тряхнуло землю — снова где-то упали снаряды.

Оторваться от стены Браславский не мог — тотчас подкашивались ноги. Странно работало сознание — оно только фиксировало его боли — их было тысячи, везде, во всем теле. Пальцы правой руки не шевелились, словно омертвели. Браславский внимательно разглядывал их, хотел пошевелить, но они не двигались. Попробовал шевельнуть головой — острая боль проткнула шею, немножко вправо повернуть можно, а влево точно запор поставлен.

Мимо него пробежала девочка, она боязливо посмотрела и шмыгнула в ворота. Вскоре она привела с улицы двух женщин с носилками.

— Вы ранены? — спросила одна из них. Другая в это время, приставив носилки к стене, стала бесцеремонно ощупывать Браславского. Каждое ее прикосновение

вызывало у него дикую боль, но он понимал, что надо делать.

— Нет... нет... — глухо бормотал он, чувствуя, что губы не слушаются. — Не надо... Я посижу... Пройдет... Нет... Нет...

Женщины тихо советовались между собой. Браславский, собрав все силы, сказал отчетливо:

— Не надо... скоро пройдет...

Женщины ушли. Девочка стояла около него и смотрела взрослыми глазами.

— Дядя, вам помочь идти? — спросила она, заглядывая ему в глаза. Было ей лет десять — двенадцать.

— Не надо... Иди... Я сам...

Девочка потопталась на желтом снегу и пошла в дом. Браславский, скользя спиной по стене, опустился на снег и потерял сознание от страшного приступа боли.

Он очнулся от холода. Голова была ясная. Снова стал подниматься, держась за стену. Показалось, что боль уменьшилась, но тело не хотело разгибаться. Когда он попытался выпрямиться, вернулась прежняя, непереносимая боль. Он переждал приступ.

Пока он возился у стены и ему удалось наконец встать, уже начались быстрые зимние сумерки. Браславский совершенно ясно понимал, что сильно контужен, что находится в опасности, что, если отсюда не уйдет, он попросту скоро замерзнет. Он помнил адрес, куда направлялся, — Сенная площадь, два. Это совсем близко. И помнил имя: Михаил Михайлович Давыдченко... Надо идти... Надо идти...

Теперь устойчивой оставалась только боль в позвоночнике, она вспыхивала там, как только он пытался опереться на ногу. Приучив себя к этой боли, он медленно-медленно пошел, держась за стену.

Делая маленькие осторожные шажки, Браславский двинулся наконец по Невскому, то и дело останавливаясь и, прислонясь к стене, отдыхал. Редкие прохожие не обращали на него никакого внимания — так ходили тогда все...

Более двух часов понадобилось ему, чтобы добраться до дома, где жил Давыдченко, и надо было еще подняться на второй этаж.

Давыдченко долго стоял у двери, прислушиваясь к шорохам на лестнице. После визита в НКВД он все еще не мог прийти в себя и всего боялся.

Шорохи на лестничной площадке прекратились, но тотчас в дверь кто-то постучал слабыми и очень редкими ударами. Давыдченко затаил дыхание. Стук повторился, и Давыдченко показалось, что за дверью кто-то стонал.

— Кто там? — спросил он через дверь.

— Мне нужен... Михаил Михайлович... — странно замедленно ответил глухой незнакомый голос.

— Это я, в чем дело?

— Я от вашей сестры... Полины... Михайловны...

Такой пароль выдумал Горин, когда передавал Кумлеву фамилию и адрес Давыдченко. Но сам-то Давыдченко этого не знал.

— У меня нет сестер, говорите, кто вы? — спросил Давыдченко. Человек на лестнице снова застонал.

Давыдченко долго стоял у двери, прислушиваясь к шорохам на лестнице. Человек то царапался в дверь, то стонал, потом стало тихо. Давыдченко подождал еще немного и вернулся в постель, довольный собой...

Утром, выходя из квартиры, Давыдченко увидел на лестнице мертвого человека. Он лежал на ступеньках головой вниз, ничком, зацепившись ногой за перила. Давыдченко перевернул его на спину и долго вглядывался в лицо. Нет, он его не знал. Проверил карманы. В одном нашел удостоверение на имя Березина — директора русской библиотеки в Риге. Из внутренних карманов куртки он вынул две толстые пачки денег. В странном кармане, который был на спине куртки, нашел три плитки шоколада с незнакомыми этикетками. Все это Давыдченко снес в милицию и заявил о покойнике — от греха подальше...

Они лежат на улице, уже запорошенные снежком, и возле них тропинки делают обходную петлю. Живые научились проходить мимо и не смотреть.

Везут, везут. Еле бредут, шатаются, но тянут страшную поклажу. На санках, на досках, листах фанеры. Одна женщина везла в полированном деревянном футляре башенных часов, и лицо мужчины, обросшее черными волосами, было за стеклом циферблата...

А живые живут. Кто может — работает. Кто не может — старается не умереть. Охраняют свои дома — для того, чтобы в них жить. Для чего же еще?

Вчера ко мне опять приходили девчата из «бытовки» Лена Уварова и Варя Малахова. Впрочем, Варя уже жена. Смеется: «Мужа вижу визуально, но с дистанции».

«Все возим да возим, ничего нового... — говорит Лена. — Вот созывали нас на совещание о весне. Когда все оттаает, представляете, что будет?»

Говорили про всякую всячину. Про бога и, если он есть, его должны судить за то, что он допустил на земле. Про Чарли Чаплина. «Вот комик — умереть можно», — сказала Варя. Вдруг Лена спросила: «Вы в стихах понимаете?» — и дала мне школьную синюю тетрадку: «Почитайте...» И обе, как по команде, встали и ушли.

Лена, оказывается, пишет стихи. В тетрадке было четыре стихотворения. Выписываю одно.

МОГИЛЫ ВЗРЫВОМ РОЮТ

Я столько мертвых на руках держала, Я столько их на кладбище свезла, Что если б я о каждом зарыдала, Я б от нехватки слез, наверно, умерла. Но слабость нам с подружкой непонятна, И молча мы таскаем мертвецов. Мы только их считаем аккуратно, Чтоб в счет врагу поставить их в конце концов. Однажды в логово врага ворвутся Живые наши с мертвыми в одном строю, От ненависти стены их взорвутся, И лишь тогда все мертвые поселятся в раю. Когда война победой завершится, Все люди для любви сердца раскроют. И нам с подружкой такая песня снится... А утром снова... могилы взрывом роют.

Лена Уварова

Глава двадцать восьмая

Вечером на конспиративной квартире шло оперативное совещание: обсуждали план завершения операции. Стрельцов, Потапов, Грушко и Прокопенко сидели за столом, на котором, сильно коптя, горели две стеариновые трофейные плошки. Когда начинали громко говорить и спорить, пламя металось и грозило погаснуть, и тогда Грушко прикрывал его своей большой ладонью. Но в комнате снова наступала тишина, и становилось слышно, как потрескивают плошки.

Сейчас нужно было точно сформулировать, что расскажет завтра Потапов в группе «патриотов-интеллигентов». Он и Грушко подготовили благополучный вариант: немцы приветствуют группу и хотят с нею связаться. Но Стрельцов был не согласен.

— В ответ они захотят усилить свою деятельность, и получится, что мы их на это провоцируем. Нельзя это, — сказал он.

— Но они же ничего сделать не успеют, — возразил Потапов.

В наступившей тишине где-то далеко и приглушенно рванул снаряд.

— Весь день бьют по площади Труда, — тихо сказал Прокопенко. — Просто непонятно, что они там нашли.

— Обстрел по-прежнему слепой, — ответил Грушко.

— Значит, что же мне рассказывать? — спросил Потапов. — Как меня немцы выгнали, забыв на всякий случай расстрелять?

— Оставьте, Потапов, шутки, — сказал Стрельцов. — Нужна золотая середина, нужен такой поворот, чтобы у них руки опустились.

— А что, если Потапову вообще не удалось перейти фронт? — предложил Прокопенко.

— Об этом надо было думать раньше, — возразил Потапов. — У них возникнет простой вопрос: где я столько времени болтался?

Все задумались.

— С полным минусом прийти нельзя, нам ведь нужно получить их второй канал связи, — продолжал Стрельцов.

— Получив минус от Потапова, они как раз и обратятся ко второму каналу, — подал голос Грушко.

— Но они сделают это уже без участия не оправдавшего их надежд Потапова, — сказал Стрельцов.

— Узнаем на допросе, — ответил Грушко.

— А если не узнаем?

В наступившей тишине слышно было поскрипывание кожаного пальто Стрельцова и снова — далекие глухие разрывы.

— Я все-таки не понимаю... — сказал Потапов. — Почему мы их оберегаем даже от мысли действовать? Разве их письмо немцам и то, что они меня послали с ним через фронт, — это не действие?

— И тем не менее это еще не действие, — ответил Стрельцов. — Это только готовность действовать, а важно то, что последует после этого. Я думаю, что нам надо исходить из приготовленного нами немецкого письма. Немцы и приветствуют

и в то же время никаких векселей не дают и ничего не просят. Таким образом, шаг сделан впустую, но то, что сделал Потапов, заслуживает если не благодарности, то хотя бы уважения к его храбрости. Продумайте свой рассказ по этой схеме, — сказал Стрельцов Потапову и обратился к Прокопенко: — У вас все готово?

— Вся группа по-прежнему под нашим наблюдением, и мои ребята завтра «приведут» их на встречу с Потаповым, — ответил жестяным тенорком Прокопенко. — У нас на «оперативке» возник один вопрос: вдруг кто-нибудь из них покинет встречу до конца? Братъ?

Вопрос оказался не таким простым.

— Мне кажется так... — нарушил молчание Стрельцов. — Если будет уходить главный — не братъ. Второй канал у него. Но только смотрите не потеряйте его. Остальных братъ.

— По-моему, я рисковал напрасно, на той стороне к нашей инициативе отнеслись недоверчиво, настороженно, а в итоге — равнодушно... — так Потапов начал свой рассказ о походе через фронт.

Вся группа собралась снова на квартире профессора, но на этот раз присутствовал руководитель — Кузьма Кузьмич Надеин.

Пока Потапов отсиживался на конспиративной квартире, за всеми участниками группы велось строжайшее наблюдение, и все, что было возможно, о каждом узнали. Самой опасной фигурой оказался Надеин. Он жил под фамилией Уразов, но группе вообще не была известна его фамилия, а только имя — Кузьма Кузьмич. Еще в начале двадцатых годов, работая на севере, Надеин был одним из активных участников борьбы троцкистов против ленинского курса партии на союз пролетариата и крестьянства. Позже он перебрался в Ленинград и 7 ноября 1927 года был одним из организаторов троцкистской демонстрации против партии. Когда троцкистская оппозиция была разгромлена, Надеин скрылся, и где он в это время находился, пока установить не удалось. В Ленинграде он снова появился в 1935 году, но под фамилией Уразов. Он устроился на скромную должность в областном отделе народного образования и начал сколачивать контрреволюционную организацию. Его люди совершили поджог нового корабля. Их осудили, но Надеин остался в тени и вывел из-под удара своего связного Давыдченко.

Сегодня он пришел после всех и сел в нишу возле печки. Сквозь замороженные окна комнату заливал золотистый свет яркого зимнего солнца. День с самого утра был очень ясный, и было опасение, что начнутся налеты немецкой авиации, и тогда встреча могла бы сорваться. Однако налетов почему-то не было, и в ожидании начала совещания только об этом и говорили.

Но как только Кузьма Кузьмич пришел, все замолчали и с напряженным вниманием стали слушать рассказ Потапова. Лишь Анатолий Павлович сидел с выражением какой-то непонятной иронии на лице. Он оказался самой неясной фигурой из всей группы. В царское время он был офицером, но после революции не служил ни в белой, ни в Красной Армии, работал то дорожным мастером, то завхозом в больнице, в последнее время был экскурсоводом в Петергофе. Старшим экскурсоводом там же, в Петергофе, служил Дмитрий Сергеевич Замятин.

Этот в прошлом входил в подпольную организацию савинковцев, но каким-то образом ускользнул от скамьи подсудимых, на которую в 1925 году попала вся эта довольно большая действовавшая в Ленинграде контрреволюционная организация эсеров...

Наступил момент, когда Потапов закончил рассказ, вынул из кармана немецкое письмо и вручил его сидевшему напротив Алексею Дормидонтовичу. Но тот, не вскрывая, передал его Надеину.

Кузьма Кузьмич бегло просмотрел письмо.

«Господа, — говорилось в нем. — В сложившейся обстановке крайне важно собрать воедино все силы, способные содействовать укреплению нового порядка. В связи с этим мы приветствуем вас и выражаем надежду на ваше сотрудничество. Полковник Крафт».

Надеин отдал письмо Алексею Дормидонтовичу, вышел из ниши и, стоя посередине комнаты, сказал резким, отчетливым голосом:

— Вы сказали, что немцы вам до конца не поверили, но как же они после этого отпустили вас?

— На этот вопрос могут ответить только они, — ответил Потапов, разглядывая Надеина. Это был мужчина лет пятидесяти, с крупной головой, покрытой седым ежиком густых волос. На нем были синяя суконная гимнастерка с накладными карманами, галифе и высокие охотничьи сапоги. Выслушав ответ Потапова, он сказал:

— Да... несомненно... всю правду мы могли бы узнать только от них. — Он прошел к двери и оттуда сказал: — Прошу меня извинить, мне очень некогда...

В передней глухо стукнула дверь, и в комнате установилась тягостная тишина. Потапов взглянул на часы — до появления оперативной группы оставалось минут двадцать.

— Я огорчен не меньше, чем все вы... — начал он.

— Скажите, пожалуйста... — перебил его Анатолий Павлович. — Как выглядит наша земля... по ту сторону?

— Боже мой, разве это важно?! — воскликнул Алексей Дормидонтович, он был очень встревожен уходом руководителя.

— И еще один вопрос... — продолжал Анатолий Павлович. — Они все же собираются брать Ленинград?

— Полковник Крафт, вручая мне письмо, сказал: «До скорой встречи».

— Благодарю вас, — церемонно поклонился Анатолий Павлович. Потапов смотрел на него и старался понять: почему он полез в эту группу? Это еще предстояло выяснить.

Сегодня провожал на Смольнинский аэродром Лилю и Бориса. Начали наконец эвакуировать их театр.

Я сижу все в том же номере, а они уже ходят... по Москве! Трудно представить, что люди живут как-то иначе, чем мы здесь. Слабость. Голова... Да, отлет друзей.

Список улетающих утверждает Смольный. Норма груза на человека — закон. Один пожилой, как потом я узнал, известный ученый-химик, привез много лишнего груза и еще собаку, исхудавшего сеттера. Молоденький военный, сын этого химика, все уговаривал отца оставить собаку и часть вещей. Но тот упрямо повторял: «Нет, Рекса возьму и чемодан с бельем. Остальное — бросай, если хочешь...»

Среди пассажиров больше женщин и ребят. Были две беременные, их провожала женщина в шинели, врач наверно.

Ждали долго. Уже и разговаривать не могли. Я все думал о своих, отсюда они казались ближе, прямо рукой подать...

Прилетел самолет. Стали грузиться. Женщина-врач объясняла летчику, что

делать, если в воздухе роды. Летчик смущался: «Знаю, уже было это».

Руководитель посадки велел химику убрать собаку из самолета. Химик стал ее вытаскивать. Она будто понимает — вырвалась, забилась за ящики и рычит.

Принесли больного мальчика — плачет. Собака рычит, лает... Летчик сказал: «Оставьте собаку, взлетим».

Стали прощаться. Лиля заплакала. Борис неpronцаем.

Я рад за них, так рад!

Промчались с ревом истребители сопровождения. Самолет, переваливаясь, выкатился на взлетную дорожку.

Глава двадцать девятая

С начала декабря Кумлев жил на Чугунной улице Выборгской стороны.

Эта короткая улица шла вдоль железной дороги и отсюда, наверное, получила свое название. В былые мирные времена сюда загоняли товарные вагоны с грузом для ближайших заводов, и тогда здесь посвистывали маленькие паровозики, расталкивавшие вагоны, лязгали клыки сцепки и гудели рожки сцепщиков. В небольших деревянных домах, возле которых лежал рельсовый путь, жили люди, которые обслуживали эту ветку и работали на ближайших заводах. Но сейчас почти все дома были пусты, дощатая обшивка ободрана, не уцелело ни одно деревцо из тех, что когда-то шумели листвой в уютных палисадничках. Не спаслись от прожорливых печек даже вагоны, забытые на рельсах, от них остались одни железные скелеты с колесами, заметенными снегом.

Несколько дней назад сюда, к Кумлеву, перебрались из города Мигунов и Чепцов — жить в городе, не обращая на себя внимания, стало невозможно. Кумлев понял по-своему — опасно... Здесь место было надежнее. Дом стоял наискосок от мрачного здания больницы, недалеко от завода, на котором продолжалась какая-то работа. На этой окраинной улице люди встречались чаще, чем на иных проспектах в центре города, и появление на улице незнакомых людей никому не бросалось в глаза. У Кумлева была уверенность на проживание в доме родственника, карточки он получает по месту прописки — все в порядке. Гости имели надежные документы, но все-таки тревожно, когда все трое ночуют под одной крышей. Само ожидание без дела становилось тягостным, наводило тоску. Иссякли бесконечные разговоры о стратегии и тактике, за которыми Кумлев видел только желание его собеседников оправдать собственную пассивность.

Короткий день уже начался.

«Неужели и он пройдет бесцельно?» — думал Кумлев.

Он сидел за самодельным столом, положив перед собой большие узловатые руки. Лицо неподвижное, как всегда, но желвак, вздрагивавший у виска, выдавал раздражение — нервы у него тоже сдавали. Темные глаза из глубоких глазниц немигающе смотрели то на одного, то на другого из его сообщников. Чепцов сидел за столом напротив и сосредоточенно доедал крабов, выскребая ножом из коробки последние кусочки. Мигунов позавтракал раньше и теперь возился с печкой, сказав, что обожает это с детства.

Утро было морозное, ясное; низкое солнце смотрело в два маленьких замерзших окошка, наполняя комнату мягким светом. Мигунов разогнал печку вовсю, она гудела от бешеного огня — дров Кумлеву не жалко, этим добром он забил весь чердак. Но запас продовольствия таял на глазах, и впереди — никаких возможностей. Абсолютно ничего. Не пришлось бы таскать консервы через фронт.

— Я должен все-таки сказать, — нарушил молчание Кумлев, — что наш запас продуктов не бесконечен.

Чепцов поставил наконец свою коробку на стол.

— Это не очень тактично, Павел Генрихович, — сказал он. — Может быть, вы считаете, что я в этом виноват?

— Вы меня не поняли, — неторопливо, с неподвижным лицом ответил Кумлев. — Я все время думаю о деле. Нельзя затягивать все это...

— Предлагаете нам троим идти в атаку на Смольный? — спросил Чепцов, взглянув на Мигунова и приглашая его включиться в разговор. Но Мигунов молчал, ему осточертел этот бесконечный спор.

— Я согласен: сейчас нет ситуации для вооруженного выступления, — продолжал

Кумлев. — Но у нас есть взрывчатка, мины, нас трое здоровых, сильных мужчин, мы можем сделать очень многое — например, оставить город совершенно без воды и света, взорвать мосты! Мы должны сделать это, а потом вы уйдете через фронт. Уверен, гарантирую: вас встретят там, как героев.

— Мне нужна не слава, а разумное дело, — вяло ответил Чепцов.

Полковник Мигунов сидел перед печкой на поваленном табурете и задумчиво смотрел на беснующееся пламя. Он был согласен с Кумлевым — жажда мести большевикам звала его к действию, и он готов был сделать то, что предлагал Кумлев. Но он слишком долго служит немцам, чтобы не знать их болезненную нетерпимость ко всему, что не указано в плане, инструкции или каком-нибудь еще официальном документе.

— Я только против самодеятельности, — произнес Мигунов, не отрывая взгляда от пламени. — Надо послать полковнику Акселю подробную радиogramму. Обрисовать обстановку и предложить диверсионный вариант.

— Да нет же! Нет! — громко воскликнул Чепцов, и Мигунов повернул к нему худое, смуглое лицо. — Вы удивляете меня, — продолжал Чепцов, сбавив тон. — Это все нереально, надо же отдавать себе отчет во всем, что здесь происходит... — Чепцов больше всего боялся, что сумасшедшую, как он считал, идею резидента могут поддержать, и тогда — крышка, тогда вряд ли удастся выскочить отсюда. Он давно уже пришел к мысли, что к своим коммерческим домам, к своей бане благоразумнее идти не впереди немецкой армии, а позади нее.

— Неужели вы не понимаете, — огорченно сказал он Мигунову, — что война, вся война в целом, вступила в совершенно новый этап? Заново будет пересмотрена вся ее стратегия, и в том числе стратегия наших действий! В такой момент наш долг быть в распоряжении командования. Никакие радиogramмы не заменят живого свидетельства. Нам надо возвращаться!..

Однако Кумлев и Мигунов сели к столу составлять текст, и Чепцову пришлось присоединиться.

Радиogramма 23/17 000М:

«Обстановка, создававшаяся в городе, исключает возможность выполнения главной задачи. К этому выводу мы пришли все единодушно: на основании созданных обстоятельств в городе сейчас невозможно найти необходимое количество физических полноценных и преданных нам людей. Запаса продовольствия, соответствующего этой задаче, нет. Реальная сила — это нас трое и радист. Повторяем: продовольствие на исходе. Учитывая технические ресурсы, которыми мы располагаем, можем сделать многое по второму разделу, на что просим ваше согласие. В случае необходимости один из нас может явиться для подробного доклада. Ждем немедленного ответа».

Кумлев надел военный полушубок, опоясался широким ремнем, глубоко надвинул ушанку и, неловко ступая неразношенными валенками, вышел из дома. Его тень мелькнула в замороженных окнах, глухо стукнула калитка, и наступила глубокая тишина.

— Прямо осатанел, один хочет город свалить, — сказал Чепцов, подходя к окну. Он увидел в оттаявшую щелку удалявшегося Кумлева, темное здание больницы, а чуть правее — снежный простор, там недалеко был фронт, а за ним — безопасность тыла. Он не трус, но он устал быть здесь все время лицом к лицу со смертью.

— А его, знаете, можно понять. Он просидел тут всю жизнь, и для него теперь каждый день отсрочки — великое несчастье, — примирительно сказал Мигунов.

— Войну начинали не ради него...

— Но и не ради нас с вами... — Мигунов считал себя принадлежащим к русской

эмиграции более высокого морального ранга. Чепцов с его меркантильными вожделениями — это низший класс. Мигунову ясно, что сейчас он продумал убедительный для себя довод: скрыться за спину армии очень удобно. Но, в конце концов, Чепцов сейчас ровно ничего не значит.

— Почему они умирают, но не восстают? Почему? Я все время думаю, — тихо, точно самого себя, спросил Мигунов. — История знает голодные бунты.

— Да, да, да! И пока армия не повалит город, он будет сопротивляться! Это совершенно ясно! Может быть, этого не понимают в Берлине?

Мигунову не хотелось спорить, он помешал в печке, полной раскаленных углей, и направился к широкой кровати в углу.

— Вы приписываете резиденту тонкие переживания, заждался он, видите ли... — остановил его Чепцов. — Но не по вине ли таких вот заждавшихся, как наш резидент, Германия оказалась дезинформированной в отношении прочности красной России? Не по его ли вине мы сидим здесь и недоумеваем, почему город умирает, но не восстает?

Чепцов в чем-то был прав, но Мигунов промолчал.

Кумлев был уверен, что Аксель немедленно одобрит предложение о диверсионном ударе, — это означало, что все события сейчас резко ускорятся, обстановка станет еще острее, и он к этому должен быть готов. И он готов. Но сегодня ему предстояло сделать одно очень важное для себя дело.

Ценности Маклецова — вот о чем он сейчас думал, выбираясь по снежной тропинке на улицу. Он знал, что небольшой чемоданчик, стоящий под кроватью Маклецова, скрывает в себе целое богатство. Маклецов последнее время болел. Что бы ни произошло, как бы ни повернулись события, это всегда богатство, это не должно пропасть.

На Литейном горел дом. Пламя бушевало в окнах на втором этаже, но никто не обращал на это никакого внимания. Редкие прохожие, бледные, изможденные, медленно брели мимо, не поворачивая головы. Кумлев остановился, стал смотреть, ждал, что люди все-таки остановятся, хоть один человек. Но никто не остановился, и он пошел дальше. Навстречу ему с улицы Некрасова вылетела красная пожарная машина, на ходу выпрыгивали пожарные...

Мороз. Сугробы во всю улицу. Забеленные трамваи в снегу. Люди волочат санки с дровами, со скарбом. Навстречу Кумлеву, в сторону моста, везли покойников. Он увидел на санках гроб из фанеры и штамп «1-й сорт» и не мог сдержать усмешку.

В начале улицы Некрасова, около парадного, лежали близко друг от друга трое мертвых — двое мужчин и женщина. Один из мужчин был в пальто и шапке, а другие — раздетые, их, видно, вынесли из дома — бытовая команда подберет...

В комнате Маклецова был такой же мороз, как на улице. Окна не занавешены, наружное стекло внизу разбито, и между рамами намело снега. На столе — кусок сала. Это Кумлев принес неделю назад. Маклецов лежал на постели под грудой одежды. Кумлев подошел, поздоровался. Маклецов пытался что-то сказать, но разобрать было невозможно. Он, видно, и не узнал гостя. «Как может человек так измениться за неделю!» — думал Кумлев, с интересом разглядывая его. Лицо Маклецова стало маленьким, ссохлось, глаза совсем провалились в черные ямы. Он дышал очень часто и неслышно, чуть вздрагивая крючковатым носом. Кумлев несколько раз позвал по имени, но Маклецов не слышал, казалось, что он не дышит. Кумлев осветил фонариком под кровать — чемодан лежал у стены. Он лег на пол и достал его. В это время Маклецов пошевелил головой, что-то забормотал и вдруг стал вытаращивать глаза в глубоких глазницах, они там, глубоко, как будто вылезли из орбит. И замер. Не дышал больше.

Кумлев подождал немного. Мертвая тишина. Он вытер чемодан краем одеяла. Сало положил в карман. Запер дверь снаружи, сунул ключ в щелку под дверь в комнату и вышел.

Чемоданчик был не особенно тяжелый, но Кумлеву было жарко, изо рта валил горячий пар, он развязал ушанку.

В этот момент его увидел Гладышев. Он по приказу Прокопенко шел выяснить, что с Маклецовым.

— Лоб потрите, белый весь, — крикнул Дмитрий обмерзшему фронтовику.

Кумлев ничего не понял, но покивал на всякий случай.

Гладышев сделал еще несколько шагов и вдруг остановился как вкопанный: «Я знаю этого человека! Знаю!» Он стоял, не оборачиваясь, и, казалось, спиной чувствовал, как удаляется человек со страшным, покрытым инеем лицом. Рука Гладышева рванулась к карману гимнастерки, он вытащил порядком потрепанный квадратик картона со словесным портретом немецкого резидента.

Да, это он! Гладышев на мгновение обернулся, посмотрел на удалявшегося, встал боком, скосив глаза вслед Кумлеву, и соображал, что делать... Несколько мгновений он судорожно думал и пошел, почти побежал вслед. Первая мысль — нагнать и схватить. Но он прекрасно знал, что это проще всего...

Расстояние между ними немного сократилось, и надо было умерить шаг. Гладышев твердо знал, что он не должен упускать из виду врага, должен установить, куда он пойдет.

Легко сказать. А если по дороге мост и на нем ни души, и отстать на целый мост нельзя?

Время от времени Кумлев останавливался, ставил чемодан на землю и осматривался. Дмитрий очень точно прилачился: как только резидент начинал наклоняться, чтобы поставить чемодан, — в ворота, в подъезд, за выступ.

Они прошли по набережной Васильевского острова — тоже трудное место для Дмитрия. Он вспомнил, как однажды шел вдоль Невы за немцем, который его обнаружил и сумел скрыться.

Кумлев свернул на 9-ю линию. Гладышев был далеко позади, когда Кумлев вошел в ворота дома № 54. Гладышев ускорил шаг, но он не имел права туда входить сразу за объектом наблюдения. Последний мог завернуть в подъезд или в ворота лишь затем, чтобы установить, есть ли за ним слежка. Мысль, что он упускает врага, лишила Гладышева осторожности, и он поспешил за Кумлевым.

Во дворе никого не было. Но следы валенок по нетронутому снегу вели в первый от ворот подъезд. Ступая в чужие следы, Гладышев вернулся на улицу. Позвонить было неоткуда. Уходить нельзя — даже на две-три минуты.

Нужно найти позицию и смотреть.

Наискось от ворот стоял заметный снегом трамвайный вагон. Это была неплохая позиция. Но со двора мог быть другой выход, и тогда можно ждать тут до скончания века. Враг мог покинуть дом и через другую дверь, черный ход или даже через окно. И в этом случае он, Гладышев, будет, как последний дурак, сидеть возле пустого дома. А все-таки шансы есть... Только обязательно надо подать сигнал в управление. Но на улице — ни единой живой души. Да и не каждого попросишь звонить...

Дмитрий протоптал за сугробом тропинку в один шаг длиной и старался ни минуты не стоять на месте. Но мороз схватил как-то сразу лицо и ноги. Гладышев поплотнее завязал под подбородком клапаны ушанки, сбил иней с воротника и

долго тер варежкой окаменевшее лицо, колотил по носу и щекам. Он все быстрее переступал ногами, почти бежал, но ноги уже зашлись. Он остановился и стал быстро шевелить пальцами ног, в это время снова схватило лицо... Но никто не шел мимо...

Кумлев сидел в теплой кухне у Палчинского и отходил от холода и усталости. Включенная рация стояла на столе — радиограмма передана уже полчаса назад; ждали ответа.

Кумлев разделся, снял валенки, лицо красное, с белыми пятнами — натер гусиным салом. Палчинский, в тонком шерстяном свитере и домашних туфлях, кипятил на плите чайник, собирал на стол чашки.

— Пора, — сказал Кумлев.

Радист отстучал ключом, Центр ответил условным сигналом «слушаю» — ответа не было.

— Где сложены мины? — спросил Кумлев.

Они оделись и перешли в большую комнату. Кумлев светил фонариком. Палчинский приподнял покрывало — под кроватью лежал знакомый Кумлеву чемодан с минами, который еще осенью принес через фронт Жухин.

— Вот еще, — сказал Кумлев, запихивая под кровать чемодан Маклецова. — Это очень сложное устройство, но вздумайте открывать.

Палчинский осторожно опустил покрывало.

— Ничего, будем технику изучать, пригодится, — сказал Кумлев, освещая углы, старинную мебель, окно, забитое фанерой.

Вернулись на кухню. Палчинский снова отстучал вызов. Ответа все не было.

— Да, у меня ЧП, Павел Генрихович, — сказал Палчинский, наливая кипяток в большие чашки. — Вчера под вечер приходит, значит... Лет ему пятьдесят. Одет добротно. Я не хотел впускать, но он нахально так вошел. Представляется: Кузьма Кузьмич, мол. Все, говорит, о вас знаю. Я спрашиваю: что такое, в чем дело? А он говорит: вы Пилюгина знаете?

— Кто это Пилюгин? Где он сейчас? — спросил Кумлев.

— Он был в Кронштадте, как и я, сменным радистом и знал, конечно, что я работал для восставших. Мы вместе работали. Только это он и знает. Встречались иногда на улице, здоровались...

— Ну, дальше... дальше...

— Значит, я спрашиваю: чего он от меня хочет? Он говорит: очень мало — у него есть радиоловительский передатчик, и нужно отстучать радиограмму... Только одну радиограмму немцам, и все. И за это мне — большой куш. Если я откажусь, он идет на Литейный... Я сказал, что за свое прошлое не тревожусь — власти давно про это знают и простили. Но обещал, что подумаю о его предложении. Назначил прийти завтра в час дня.

— Дурак! Зачем вы полезли? — сорвался, закричал Кумлев.

Бледное, плоское лицо радиста покрылось красными пятнами.

— Я бы попросил, — начал он, но Кумлев уже взял себя в руки, он встал и прошелся по линолеуму в толстых носках. — Неужели вы не понимаете, что теперь вас надо отсюда переселять?

— А что я мог сделать? Чем я-то виноват? — сказал Палчинский.

— Пора, — сказал Кумлев.

Радист надел наушники, отстукал вызов, и Кумлев понял по его глазам, что есть ответ. Радист быстро записал что-то и подал бумагу Кумлеву.

«Ответ будет завтра», — прочитал он...

Глава тридцатая

Образовалась цепочка людей, крепко взаимно связанных. Гладышев мерз на улице, ожидая, когда из дома Палчинского выйдет Кумлев. Кумлев ждал ответа Акселя. Аксель же в занесенном снегом, обугленном Новгороде ждал решения Берлина — проблема, возникшая внезапно, оказалась очень сложной.

Прочитав радиogramму из Ленинграда, Аксель в первую минуту готов был немедленно дать согласие на их предложение о диверсиях. Но спохватился: «Прежде чем решать, проверь, кому, кроме тебя, может нравиться или не нравиться твое решение», — учил Канарис. Из уст в уста передавали одну поучительную историю. Канарис предложил однажды принять какое-то важное решение, и быстрые подхалимы сразу объявили его гениальным. Но после этого Канарис снова проанализировал свое предложение по формуле «кому еще оно может понравиться» и путем сложных рассуждений пришел к выводу, что решение может очень понравиться... противнику, против которого было направлено.

Кому же может понравиться крупная диверсия в Ленинграде? Фюреру? Он, конечно, будет приветствовать любой диверсионный удар по городу, который он обещал сровнять с землей. Высшему армейскому командованию? Разумеется, да. Всякий дополнительный удар по объекту, являющемуся целью армии, — помощь армии. Против может быть только служба безопасности СД — этим поперек горла все, что делается под маркой абвера. Однако и они по большому счету войны должны принять диверсионную атаку на Ленинград под знаком плюс.

Далее... Как отнесутся к этому русские? Вопрос может показаться нелепым, но... Мигунов недавно сообщил из Ленинграда, что Ленинградское радио очень умело использует драматическую обстановку в городе, накаляя до предела антинемецкие настроения. В связи с этим он даже предложил тогда перенести захват радиостанций из второй в первую очередь для «пятой колонны».

Командующий группой войск «Север» генерал-фельдмаршал фон Лееб снят по причине болезни. Но докатился слух, что Гитлер после отставки фон Лееба швырял в него карандаши и назвал его глупой бабой, которая залезла в генеральские штаны. Аксель был у командующего всего неделю назад, и он был абсолютно здоров, изошренно издевался над Акселем за то, что абвер не торопится выполнить свое обещание помогать армии в Ленинграде. Он требовал действий, а не разговоров. Если бы он сейчас оставался на своем посту, он безоговорочно одобрил бы диверсионный удар по Ленинграду.

Как посмотрит на это новый командующий — неизвестно, генерал-полковника Кюхлера Аксель совершенно не знал...

Можно было рассуждать и анализировать ситуацию с диверсиями сколько угодно, но Бисмарк учит: всякая дисциплина начинается с сознания своей подчиненности более высокому начальнику. Аксель перебросил ленинградское предложение в Ригу, полковнику Лебеншютцу, и в Берлин, на Тирпицуфер, в главную квартиру абвера. И ждал ответа...

От дома, где Аксель жил в Новгороде, до забора из колючей проволоки у него была протоптана «своя тропинка в России»... Он надел шинель, подбитую волчьим мехом, теплую шапку, пуховые перчатки, боты на меху и вышел из дома.

Пока шел по саду, мороз не чувствовался. Но стоило выйти на холмик, где открывался белоснежный простор с далекой черной полоской леса, казалось, мороз со всей этой безбрежной равнины набросился на него. И ничто не спасало — захватывало дыхание, щипало лицо. Путаюсь в длиннополой шинели, Аксель сбежал с пригорка и через сад вышел на городскую улицу. Здесь ветра не было, и он спокойно прошелся до перекрестка. Дальше он никогда не ходил, не советовали работники гестапо. Месяц назад в самом центре города утром подобрали офицера 18-й армии с ножом в горле. Вчера стреляли в коменданта города, когда он ночью ехал на квартиру.

Акселя догнал посыльный с узла связи:

— Вас срочно просит к телефону Рига...

Это, конечно, молодчина Лебеншютц — он всегда славился тем, что умел быстро поворачиваться, в офицерской школе его не зря звали Молнией.

Аксель взял трубку, назваля и услышал знакомый голос Лебеншютца.

— Ты извини меня, но из твоей радиограммы я не совсем понял, чего ты от меня хочешь? — не здороваясь, начал Лебеншютц, и в его голосе Аксель почувствовал какую-то напряженность.

— Мне нужен совет. Я ведь подчинен тебе, — ответил Аксель.

— Признание важное, но запоздалое. Я вижу: московская мода докатилась и до тебя.

— Какая еще мода? Что ты говоришь?

— Ах, ты не знаешь? — иронически сказал Лебеншютц. — В названном районе стало модным, когда речь заходит об ответственности, искать товарищей, чтобы разделить с ними эту ответственность.

— Слушай, Карл, мне нужна не твоя ответственность, а твоя санкция.

— Об этом я и говорю, — ответил Лебеншютц.

— Я не понимаю тебя...

— Гораздо важнее, что тебя не поняли русские. На них тебе и следует пожаловаться адмиралу.

— Спасибо за совет. Оставляю за собой последнюю надежду, что ты пьян. — Аксель с остервенением швырнул трубку...

Дмитрий Гладышев стоял в замороженном трамвайном вагоне — решил, что там будет все же теплее. Действительно, обжигающий ветер туда не проникал, и какое-то время он чувствовал большое облегчение. Но теплее все же не было. Все металлическое и даже деревянное, казалось, вобрало и сконденсировало в себе невозможный холод, только прикоснись, и тебя пронизет искра холода.

Дмитрий очистил ножом кусочек стекла — через него хорошо были видны ворота и через них — часть двора, где подъезд. Стекло все время затягивало ледяной коркой, и надо было его беспрестанно расчищать. И все-таки в трамвае лучше. Можно шагать, даже бегать вдоль вагона. Но сколько сил у голодного человека, чтобы без конца заниматься такой гимнастикой? Дима ходил, смотрел в дырочку, бегал, приседал и, колотя нога об ногу, снова прикивал к ледяному стеклу.

Прошел час.

Дмитрий перебрал в голове все способы, какими он мог сообщить о себе Прокопенко, но ничего не придумал.

Мороз... На глазах уменьшается дырочка в ледяном окне...

И там мороз... Он не хотел думать об этом, но ясно, как в жизни, видел внутренним взором поленницу из мертвых, и невольно пронеслось в голове то, что было позавчера... Прокопенко разбудил его в шесть утра, сказал, что надо ехать к отцу на завод — сейчас будет машина. Он ничего не объяснил, но Дмитрий понял — что-то с отцом...

Ехали час, а показалось — целый день. В проходной пропустили по служебному пропуску, сказали, что в литейном цехе его ждет секретарь парткома.

Очутившись на заводском дворе, Дмитрий остановился в изумлении: завод работал, завод жил. Слышался гул работающих цехов.

Огромная дверь здания, мимо которого шел Дмитрий, вдруг с визгом отодвинулась, и стало видно неправдоподобно синее пространство цеха и в нем повсюду россыпи голубых молний электросварки. Ремесленники с криком выкатили из цеха тележку со снарядными стаканами. Ребята облепили тележку, она промчалась по рельсам поперек двора и въехала в открытую дверь другого цеха.

В литейном цехе Дмитрия встретил секретарь парткома — пожилой человек в военной форме, но без знаков различия на петлицах.

— Плох твой отец, — сказал он. — Но запретил мать беспокоить. А она вчера тут была, умоляет перевезти его домой. Мое мнение — просьбу матери надо выполнить. Мы дадим машину, людей...

Дмитрий шел за секретарем парткома по бесконечным коридорам и лестничным переходам. Секретаря то и дело останавливали какие-то люди, но он бросал на ходу: «Я занят», и они шли дальше.

Когда они спускались по лестнице, он вдруг остановился.

— Я с твоим отцом тридцать лет рядом, — сказал он, чуть раскрывая бледные тонкие губы. — Все с ним пройдено... Придет час... мы имя его... — Голос у него осекся, он как-то беспомощно втянул голову в плечи и, тяжело ступая, пошел вниз.

В комнате, куда они наконец пришли, было тепло и сильно пахло лекарствами. Отец лежал на раскладушке — маленький, незнакомый. Его будто съезжившееся, в сетке морщин, лицо заросло серой щетиной. Глаза были закрыты потемневшими веками, маленькие, узловатые, темные руки недвижно лежали поверх одеяла, вытянутые вдоль тела.

— Без сознания... — сказала какая-то женщина в белом халате.

Дмитрий наклонился.

— Папа... папа... — негромко позвал он.

Отец лежал неподвижно.

— Отец, это я... — громче сказал Дмитрий.

И вдруг веки старика чуть приоткрылись, и он внятно сказал:

— Домой...

Дмитрий держал его на руках, как ребенка — в ватнике и одеяле он был до ужаса легкий. Помощь — два мальчишки-ремесленника сидели рядом с шофером. Один все оглядывался назад, будто и вправду хотел помочь Дмитрию, и потом тыкал лбом в спину другого, сидевшего у него на коленях.

Больница матери была на пути к дому. Она ничего не спрашивала, села рядом с сыном.

Они внесли отца в дом, мать раскутала, уложила его в постель. Растопила книгами плиту, поставила чайник, достала из комода пакетик с сушеной малиной и заварила.

Дмитрий держал отцу голову, а она с ложечки стала поить его. Он не разжимал

рот, губы его были неподвижны.

Вдруг Дмитрий почувствовал, что он хочет повернуть голову к матери, и помог ему. Отец открыл глаза и отчетливо сказал:

— Оль... Ты ребят...

Это были его последние слова...

Мать не заплакала, не закричала, она посидела около него на постели, точно не сознавая, что произошло. Потом молча, спокойно и неторопливо стала делать все, что положено в таких случаях с умершим: положила на глаза пятаки, обмыла и стала одевать. Дима достал из шкафа новый черный костюм с орденом Ленина на лацкане. Они положили его на стол и потом сидели возле весь вечер и всю ночь. И за все это время не сказали ни слова друг другу.

А утром все так же молча завернули его в простыню, положили на саночки, легкого, странно плоского, и повезли.

На городской окраине стоял барак с сорванной крышей — точно четыре кирпичные стены. Вокруг в несколько рядов лежали мертвые ленинградцы. Здесь они терпеливо ждали, когда придут саперы и начнут аммоналом взрывать для них гигантские могилы.

Они положили отца поближе к стенке... Было это все или не было?..

Дмитрий тащил за собой пустые саночки и все еще не мог охватить сознанием то, что произошло... Но санки бились о ноги... И он только что был там... Сознание не хотело принимать, что там был оставлен отец, и было как бы два сознания: одно холодное и чужое, оно помнило все до мелочей, и другое — свое, от него болело сердце и оно пугливо шарахалось от правды...

Это было всего два дня назад...

Дима как будто очнулся...

Засунув руку в перчатке за пазуху пальто, в шапке с завязанными ушами, с поднятым воротником и замотанным сверху шарфом, он стоял на коленях внутри вагона, на скамье. Одно время ему казалось, что в таком положении ноги должны мерзнуть меньше, но очень скоро он понял, что это не так. Просто теперь ноги начинали коченеть с колен и немая боль медленно расплывалась по всей ноге, — упустишь минуту и потом, разгибая ногу, хоть криком кричи. Он смотрел в дырочку, непрерывно шевелил плечами и отстукивал болтавшимися в воздухе валенками. С ногами что-то происходило — будто на них не было накручено по две шерстяные портянки на толстый шерстяной носок. Он чувствовал ногами холод так, будто ноги были голые. Несколько раз они так зашлись, что, казалось, не было терпения перенести это; но он шевелил ногами, шевелил энергично, безостановочно, и тогда боль чуть отступила, но ноги становились тяжелыми, прямо чугунными.

Надо было походить немного. Он посмотрел в дырочку, встал, и если бы не схватился за сиденье, то упал бы на рифленый пол вагона. Ноги не держали. Он взмахнул руками, схватился за верхние ремни и стоял, покачиваясь, мыча от боли, — раскаленные иглы вонзались в подошвы его ног и входили все глубже и глубже, они уже пронизывали кости щиколотки...

Он смотрел прямо перед собой, и вдруг ему показалось, что в ледяной дырочке что-то мелькнуло. Повиснув на ремнях, он приблизил лицо к окну — тот человек шел по двору к улице неторопливо и спокойно, не испытывая, видимо, никакой тревоги. Дмитрий очень ясно видел всю его рослую фигуру в полушубке, в высоких валенках, видел в обрамлении меховой ушанки треугольник лица, от которого равномерно отделялись облачка пара. И вдруг что-то ударило в голову, стало жарко, и закружилась голова. Но Дмитрий шагнул к выходу из трамвая. Он тут же

упал на колени и застонал. Теперь ему казалось, что он ступил ногой на раскаленную плиту, боль была непереносимой.

И все-таки он выбрался на улицу, оттолкнулся от трамвая и пошел, переваливаясь и шатаясь из стороны в сторону на чугунных ногах и скрипя зубами от боли.

Резидент уходил все дальше. Дмитрий хотел прибавить шагу, но упал на колени, лицом в снег. Он с трудом приподнялся на руках и пополз на четвереньках. Ноги волочились, как чужие. Вся тяжесть тела легла на руки. Перчатки слетели, но странное дело — руки холода не чувствовали.

Темная фигура уже растаяла в быстро густевших сумерках, а Гладышев все еще полз. Сознание его начало мутиться, но он прополз еще метров десять, пока силы не оставили его и он упал на бок. Сознание то возвращалось к нему, то пропадало. Вдруг он ясно услышал звук мотора. Открыв глаза, он увидел машину и вылезавшего из нее военного в длинной шинели.

Гладышев изо всех сил закричал. Он кричал, но голоса своего не слышал. Он кричал: «Товарищ! Товарищ!», а получилось у него только глухое «о-а-а-а», «о-а-а-а-а». Но военный услышал этот странный крик, обернулся и подошел.

— Что с вами? — он подхватил Дмитрия и, приподняв, прислонил его спиной к стенке.

Из машины вылез шофер, тоже подошел.

— Доходяга, видать... — тихо сказал он, Дмитрий явственно это услышал, затряс головой, и в этот момент сознание его заработало ясно и быстро.

— Враг... враг... скорее... — довольно разборчиво проговорил он.

— Где враг? Ах, там? Ну, ничего, ничего, мы с ним справимся, — сказал военный, как говорят врачи с больным ребенком.

Гладышев стал судорожными движениями расстегивать пальто. Пальцы не слушались. Он заложил кулак под пуговицу и из последних сил рванул руку. Пуговицы отлетели в сторону. Гладышев стал рвать клапан на кармане гимнастерки, но на это сил у него уже не хватило, он только тыкал рукой в карман.

— Здесь... документ... — с трудом сказал он.

Военный наклонился, отстегнул клапан кармана и вынул из него служебное удостоверение Дмитрия. Он посмотрел, прочитал и показал книжечку шоферу.

— Тут что-то случилось, — сказал шофер. — Давай-ка свезем его на Литейный, мало ли что.

Дмитрий хотел им сказать, что надо гнаться за врагом, но они больше его не слушали, подхватили и стали втаскивать в «эмку». Когда шофер взялся за ноги, Дмитрий вскрикнул от дикой боли и снова потерял сознание.

Очнувшись, Дмитрий близко-близко увидел над собой лицо начальника отдела Прокопенко и зажмурился. Это невероятно! Все эти страшные часы он думал только о том, что ему надо связаться с Прокопенко. Только бы с ним связаться!.. Гладышев открыл глаза — Прокопенко не пропал.

Кто-то сзади за головой сказал:

— Он открыл глаза.

Прокопенко нагнулся еще ниже. Гладышев видел его встревоженные глаза.

— Что с тобой? Что случилось? — услышал он знакомый голос.

Из глаз Дмитрия хлынули слезы — горячие, соленые.

— Я упустил... — с трудом сказал он.

— Кого?

— Того... словесный портрет... резидент...

— Не ошибаешься?

— Нет... Точно... Упустил... Сам не знаю...

— Где он ушел?

— Он был на девятой линии... Васильевский... дом пятьдесят четыре... ворота и сразу слева выступ дома... подъезд... Он был там.

— Пятьдесят четыре?

— Да... точно...

Прокопенко исчез. Гладышев увидел лицо пожилой женщины в белой шапочке.

— Так не больно? А так? — мягко спрашивала она Дмитрия. — А здесь?

Гладышев отрицательно повел головой. Он не видел и не чувствовал, что в это время она стискивала руками ступни его ног.

— Надо торопиться. Зовите санитаров... — сказала кому-то женщина.

— Куда вы его? — издали спросил голос Прокопенко.

— В госпиталь... — женщина сказала что-то еще, но Дмитрий не разобрал слов.

Над ним снова появилось лицо Прокопенко:

— Ты, Гладышев, не волнуйся, все будет в порядке. Я сам пригляжу...

В это время Дмитрия подняли. Санитары положили его на носилки и понесли. Откуда-то сбоку опять появился Прокопенко, он сказал:

— Туда, на Васильевский, сейчас едем...

Глава тридцать первая

Операции, подобные этим, начинаются издалека и, как правило, развертываются медленно. Ну, Потапов мерз в чужой квартире. Гладышев ходил за Маклецовым, потом за Чепцовым — ничего увлекательного. Грушко возится с Горинным, допрашивает его который день подряд с утра до вечера, пытаясь заставить его говорить правду. Прокопенко и его сотрудники ходят за теми, кто вызвал подозрение. Нередко бывает, что ходят зря. Что тут героического? Начальник управления и его замы читают протоколы допросов, сотни страниц в сутки, присутствуют на допросах, допрашивают сами, проводят совещания, выслушивают доклады о ходе операций, их десятки, таких операций, и одну надо ускорить, а другую прикрыть, как бесцельную, выезжают на фронт, сами докладывают о своих делах в Смольном, там их то ругают, то поддерживают. И так день за днем: повседневная кропотливая работа.

В самой тихой, в самой медленной операции все же однажды наступает момент, когда события точно срываются с места и счет времени ведется на минуты. В нашей истории такой момент наступил, когда Гладышев назвал Прокопенко адрес на Васильевском острове.

Не прошло и часа, как дом пятьдесят четыре на 9-й линии был заблокирован оперативной бригадой под руководством Прокопенко...

Радист Палчинский сразу же выдал Кумлева и сказал, что он должен прийти сюда утром. Но адрес Кумлева на Чугунной улице он на первом допросе не выдал.

Кумлева решили брать утром, когда он придет за ответом на свою радиogramму в Центр.

Прокопенко помчался в госпиталь, узнать, что с Гладышевым. Огромный госпиталь переполнен. Дмитрий лежал в коридоре среди других. Непрерывно слышались крики и стоны раненых. Дмитрий понимал, что ноги отморожены. В детстве это было один раз, когда он с ребятами был в лыжном походе. Ну, мама оттерла снегом, и делу конец. Но сейчас что-то совсем не похоже, ничего не болит, он просто не чувствует своих ног. Только что его осматривали снова. Несколько человек в белых халатах спорили, кричали даже, но Дмитрий не понял о чем. Он задремал и проснулся от голоса Прокопенко:

— Как дела?

Лицо Прокопенко было близко-близко.

— Одного там, на Васильевском, уже взяли, к утру возьмем главного. Так что ты не волнуйся, все идет как надо. Ты молодец! И тебя мы тут в обиду не дадим.

Прокопенко пропал.

По коридору шел высокий седой мужчина в развевающемся белом халате, и за ним — группа врачей. Седая женщина в белой шапочке говорила ему что-то на ходу. Высокий человек остановился, откинул одеяло и наклонился над ногами Дмитрия.

— Почему о нем не доложили раньше? — спросил он, с трудом выпрямляясь и держась за поясницу.

— Я думала... мы советовались... — начала седая женщина.

— Меня не интересует, что вы думали, с кем советовались! В операционную!

Дмитрия переложили на каталку и повезли. На повороте из-за угла вышел Прокопенко.

— Ребята, стойте минуточку, — сказал он санитарам. — Дмитрий, ты меня слышишь?

Дмитрий кивнул, изо всех сил удерживая слезы, опять прихлынувшие к глазам и горлу.

— Еду брать главного. Понял? Возьмем. Это твоя заслуга, Дмитрий. Только твоя! Понял? И все будет хорошо. Не волнуйся. Пойдешь на курсы, станешь следователем, а не захочешь, вернешься к своей любимой истории. Все ребята тебе привет передают. Мы приедем...

Пока Прокопенко был в госпитале, в засаду на 9-ю линию приехали Грушко и лейтенант Марков. Они заняли свое место в подъезде последнего дома на 9-й линии.

Мороз к ночи еще сильнее.

Примчался Прокопенко:

— Как дела?

— Все спокойно. Ждем... — ответил Грушко. — Холод собачий!

— Собачий? Скажешь тоже, — высоким, звонким голосом сказал Прокопенко — он говорил таким голосом, когда был очень взволнован или сердился. — Сейчас моему парню в госпитале ноги отнимают. Он, можно сказать, решил операцию — эту явку накрыл. Черт! Надо же, чтобы так повезло и так не повезло! Парень-то золото. Ну, что ты сделаешь?.. — Прокопенко тяжело вздохнул. — Приду к нему утром, что я ему скажу? Он всего три дня назад отца свез... Начальство говорит — боевой орден дадим. Что же мне ему говорить? Про орден? Да?

Грушко молча ходил по лестничной площадке.

— Как его фамилия? — спросил Марков.

— Гладышев. Дмитрий Гладышев.

— А-а-а-а, белообрсенький такой, в партию его недавно принимали?

— Да, да. Кажется, светает — полное внимание...

Кумлев показался на другом конце 9-й линии в восемь сорок две. И тотчас навстречу ему пошел майор Грушко.

Они встретились как раз против ворот, около дома радиста. В это же мгновение из ворот вышли Потапов и Самарин.

Операция завершилась...

Глава тридцать вторая

Фронт вокруг Ленинграда был неподвижен, но круглосуточный бой за город продолжался. Пружина обороны города была сжата до предела. В одном месте — около завода пишущих машин — фронтом стала ленинградская улица. Осенью, когда сюда прорвались вражеские войска, в главной гитлеровской газете «Фелькишер беобахтер» был напечатан снимок этого места с подписью: «Наши героические солдаты взяли Ленинград за горло».

Они собрались задушить Ленинград, но город перехватил разбойничьи руки и стиснул их с железной, беспощадной силой. В середине января 1942 года фронт под Ленинградом посетил заместитель начальника отдела «Абвер-2» германской военной разведки и контрразведки полковник Эрвин Штольце. Результатом его поездки была служебная записка на имя начальника «Абвер-3» генерал-лейтенанта Бентивиньи. Среди причин «воцарившегося в войсках под Ленинградом духа апатии к высоким идеалам войны на Востоке» полковник указал и на такую: «Давняя близость города к солдатам передовых линий психологически стала вредной. Ошибкой прежнего командования была его санкция создавать военные кладбища в непосредственной близости от фронта. Сидеть в снегу, в холоде, имея за спиной доступное кладбище, а впереди недоступного противника в благоустроенных городских помещениях — фактор не вдохновляющий...»

В итоговом разделе записки полковник Э.Штольце предлагал решительно усилить «беспокоящие противника и обнадеживающие немецкого солдата» диверсии в ближнем и среднем тылу русских и в самом городе. «Абвер-2» занимался диверсиями, так что полковник предлагал меры только по своей специальности.

Работники особых отделов Ленинградского фронта вскоре почувствовали этот натиск. Почти каждую ночь то на одном, то на другом участке фронта возникали перестрелки: немцы вели отвлекающий артиллерийский и минометный обстрел наших позиций, и в это время где-нибудь поблизости через фронт шли их диверсанты. Этот тактический прием применялся неизменно, с чисто немецкой верой в святость любой инструкции. Диверсантов ловили, особисты производили первые допросы и отправляли диверсантов в город. Прибавилось работы и в доме на Литейном...

В аппарате НКВД не хватало опытных работников, и Потапова вернули в управление. Ему поручили допрос Кумлева, и, хотя за весь день резидент не ответил ни на один вопрос, Потапову была приятна даже одна лишь возможность говорить с врагом так, как с ним должен говорить чекист Николай Потапов. Ему доставляло удовольствие просто идти по сумрачному коридору служебного здания, разговаривать с товарищами о самых обыденных вещах, просто находиться среди них в казарменном помещении, где каждую минуту дребезжал телефон и кого-то вызывали «наверх».

Во втором часу ночи он спустился в общежитие и застал там полный разгром. Прогоревшая труба «буржуйки» обрушилась на постели, комнату заполнял едкий дым, все вскочили и, как привидения, суетились в дымной мгле, пытаясь поставить на место трубу.

Печку залили водой. Открыли дверь в коридор и дальше во двор — дым лениво потянулся на морозную улицу. Когда Потапов добрался наконец до своей койки и разделся, его позвали к телефону.

— Не лег еще? — спросил Грушко.

— Не успел — печку чинили, труба упала...

— Давай ко мне.

Он быстро оделся и, шагая через ступеньку и, казалось, не чувствуя усталости, стал подниматься наверх. Но на втором этаже пришлось остановиться, стало

трудно дышать. «Пожалуй, не стоит спешить», — сказал он себе и пошел медленно.

— Есть новость, — встретил его Грушко. — Твой Кузьма Кузьмич мотал-мотал ребят Прокопенко, и знаешь, куда он их привел? На квартиру Палчинского. Первый раз он пошел туда под вечер, и ребята его упустили, до ворот довели, а там он как в воду канул. Но скоро вышел. На другой день он опять туда, а там — наши. Палчинский начисто отрицает свое знакомство с ним. Нужна очная, давай помоги. Их сейчас привезут...

Привели Палчинского. Он сидел посередине комнаты, глядя на Грушко воспаленными глазами, — радист не спал вторую ночь, все думал и решал, что нужно говорить на допросах. То, что он был радистом вражеского резидента, он признал, и это ему зачтется. Но разве этого мало, чтобы быть расстрелянным?

Он уже успел сказать неправду, показав, что был завербован Кумлевым незадолго до войны, и пребывал в состоянии непрерывного страха. Теперь он думал только о том, что Кумлев может в ответ рассказать о его настоящей роли в кронштадтском восстании и разоблачить как давнего немецкого агента. Тогда уж верная смерть.

Палчинский сидит прямо, не сводя глаз с Грушко, он в смятении и еще не знает, что говорить. Он чувствует, что в комнате есть кто-то еще, но боится оглянуться, чтобы посмотреть.

— Кто такой Кузьма Кузьмич Надеин? — спросил Грушко.

— Я уже говорил... Не знаю... абсолютно не знаю... — ответил Палчинский, отрицательно мотая головой.

— И вы его не видели?

— Мало ли кого видишь...

— Ну ладно. Поможем вам...

Грушко распорядился привести Надеина. Потапов подвинулся на диване ближе к шкафу — со света.

Надеина посадили против Палчинского.

— Вы знаете этого человека? — спросил Грушко.

— Да, это гражданин Палчинский.

— Вы его сегодня видите впервые?

— Нет. Вижу его второй раз.

— А он утверждает, что не знает вас. Палчинский, вы знаете этого человека?

— Не знаю... не знаю...

Грушко все-таки поспешил с очной ставкой и не продумал ее как следует.

Надеин, считая, что его выдал Палчинский, собирался рассказать следователю все, что он знал о радисте. И вдруг он видит, что Палчинский в его аресте явно не виноват и даже не выдал, зачем он к нему приходил.

— Следовало бы уточнить, — сказал Надеин. — Кроме фамилии, я об этом человеке ничего не знаю.

— Зачем же вы дважды к нему приходили?

— Я не хотел бы отвечать на этот вопрос, но, поскольку наши встречи окончились безрезультатно; я скажу: мне сказали, что у гражданина Палчинского можно

приобрести сало.

— Вы говорите неправду, — сказал Потапов.

Надеин повернул голову, узнал Потапова и внимательно посмотрел на него.

— Я именно так и думал, — сказал он негромко без удивления.

— Палчинский был у вас тем самым вторым каналом связи с немцами, о котором говорили в вашей группе. Вы не поверили мне и немедленно решили использовать второй канал. Палчинский, зачем он к вам приходил?

Радист несколько мгновений судорожно думал, поворачивая голову то к одному, то к другому из присутствующих, и сказал, обращаясь к Грушко:

— Да, он приходил за этим.

— Дурак, — хладнокровно бросил Надеин.

Его увели. Палчинский смотрел то на Грушко, то на Потапова, будто хотел спросить что-то.

— В вашем положении, Палчинский, самое лучшее — говорить всю правду до конца. — Грушко подвинул к радисту стопку бумаги: — Садитесь к столу и пишите все, что знаете о Кумлеве. И о себе не забудьте.

Вскоре после того, как Палчинский дал свои показания, дом на Чугунной улице был окружен. Операцию нельзя было откладывать до темноты, и, кроме того, Палчинский сообщил, что Мигунов и Чепцов с часу на час должны уйти обратно.

Оперативная бригада блокировала дом со стороны Полюстровского проспекта и Литовской улицы, а также от железной дороги.

Чугунная улица днем была пустынна. Люди были видны около здания больницы и дальше, у завода, а здесь, возле дома, где жил Кумлев, только изредка появлялись одинокие прохожие. Но и это сильно затрудняло скрытное окружение дома — тем, кто блокировал дом с боков, пришлось по-пластунски пробираться, прячась за сугробами и соседними домами.

Мигунов и Чепцов ждали Кумлева и были очень встревожены тем, что он вчера не вернулся. Решили, что ему пришлось заночевать у радиста.

Было уже десять часов утра. Если Кумлев сейчас не принесет приказа Акселя начинать диверсии, они сегодня же вечером уйдут через фронт. Лыжи приготовлены, под матрацами лежат чистые маскировочные халаты. Вчера весь день разрабатывали маршрут — они пройдут сколько можно вдоль Большой, а затем Средней Невки, в районе Старой Деревни сойдут на лед Финского залива, удалятся подальше от берега, чтобы потом выйти к нему уже в расположении финских и немецких войск. И оттого, что они приняли твердое решение, настроение у обоих было приподнятое. Чепцов зажарил сало, достал из буфета водку, и они выпили за успех похода.

— А наш Павел Генрихович все ждет у моря приказа, — засмеялся Чепцов. — Давай-ка еще по одной...

В двенадцать часов десять минут, когда все участники операции заняли свои места, из-за угла Литовской улицы на Чугунную вышли Потапов и Грушко. Оба они: один большой, с широкими плечами, другой — щупленький, в очках — выглядели, как исправные пригородные мужички с Карельского перешейка — в добротных полушубочках-поддевках, в подшитых кожей валенках, на голове — финские треухи. У Грушко в руках была толстая ольховая палка. Навстречу им со стороны Полюстровского проспекта вышел Прокопенко. Это был житель городской — в пальто с каракулевым воротником, в кожаной шапке с каракулем.

Их движение навстречу друг другу было рассчитано по минутам, — когда Потапов и Грушко свернут к дому на Чугунной, Прокопенко будет только приближаться, но затем он тоже свернет к дому. И вслед за ними туда устремятся все остальные участники операции.

Когда постучали, Мигунов пошел открывать. Чепцов убрал со стола еду.

— Кто там?

— Нам нужен Павел Генрихович.

— Его нет дома...

— А как же быть, мы продовольствие привезли? — спросил за дверью низкий мужской голос.

— Откройте, — шепотом сказал Чепцов. — Он ждал продовольствие.

Это был очень напряженный момент в операции. Если бы дверь не открыли, дом пришлось бы брать штурмом, к этому все было готово.

Но дверь открылась...

Потапов и Грушко вошли в дом и по-крестьянски остановились у двери, сняв шапки. Сильно пахло жареным салом.

— А где же хозяин? — подозрительно спросил Потапов и оглядел комнату. — Как же он мог уйти, если было условие, что мы приедем...

— И вам он ничего не поручил? — спросил Грушко недовольно и встревоженно. — Как же так?

Вопросы нужны были только для того, чтобы хорошенько сориентироваться. Прокопенко уже подходил к двери.

Откинув полу поддевки, Грушко поднял автомат:

— Руки вверх! Быстро!

Мигунов бросился к постели, где под подушкой лежал пистолет, но его опередил Потапов. Чепцов поднял руки и застыл с открытым ртом. Вбежал Прокопенко, а за ним еще двое оперативников. Мигунова держали Потапов и Грушко...

Входили новые люди, по заснеженной улице пробиралась к дому тюремная машина...

Немецких агентов отвезли на Литейный и начали допрашивать. Мигунов молчал. Он только назвал свое имя и сказал, что делает это исключительно для того, чтобы конец его пути отразился в каких-нибудь архивах.

— Я попросил бы не затягивать дело... — добавил он и, низко опустив голову, замолчал. Его сухощавое породистое лицо с глубокими морщинами, с плотно стиснутыми губами выражало крайнюю степень решимости.

Чепцов немного пришел в себя и начал говорить. Никто еще не задавал ему вопросов, но он громко сказал:

— Я давно ненавижу большевиков, и вашу революцию, и все, что она породила! Доживете до весны, и вас вздернут на столбы! — продолжал он, задыхаясь на каждом слове. — Немецкая армия уже сжала свой кулак, смертный приговор вам произнесен! За это стоит умереть. Я жалею...

— А ну-ка, хватит ораторствовать! — Грушко грохнул кулаком по столу. — Показания давать будете?

После очных ставок с Кумлевым и Палчинским Чепцов стал давать показания. Он очень хотел жить, этот русский, пришедший на родную землю сеять смерть, чтобы затем возвыситься над полумертвой Россией...

Аксель очень скоро понял, что в Ленинграде произошел провал. Он немедленно радировал о случившемся Канарису, но никаких объяснений или выводов в его сообщении не было. Он знал, что шеф абвера не будет особенно поражен случившимся, регулярные сообщения о делах группы должны были подготовить его к этому.

Но Канарису, больше чем кому бы то ни было, нужен умный ответ на вопрос: почему успех мадридской «пятой колонны» не повторился в Ленинграде?

Какая же причина главная? Аксель хотел бы прежде всего напомнить о том, что он писал про особый ленинградский патриотизм в своем меморандуме еще в тридцать девятом году. Но он на первое место поставит все-таки не это. Здесь приводится мысль Канариса о том, что большевики искалечили русский народ, надломили его психику, лишили его индивидуальности, директивный коллективизм уничтожил личность. Шеф однажды сказал все это Акселю, и, хотя, признаться, полковник тогда не понял всего практического смысла данного вывода Канариса, это не имело существенного значения. Важно, что в самом начале анализа нынешней ситуации Канарис натолкнется на собственную мысль.

Дальше нужно говорить об особом ленинградском патриотизме и об особой любви к этому городу всех советских людей. И, конечно, обязательно напомнить, что сам Аксель писал об этом в своем давнем меморандуме.

Следует подчеркнуть также, что блокада и ее последствия не сломили жителей города, а умелая пропаганда большевиков использовала все трудности жизни для усиления ненависти населения к немецкой армии. После этого вести вербовку в вооруженные отряды «пятой колонны» было почти невозможно. Почти? Просто невозможно, и все... Можно вспомнить о грубой и неумной пропаганде на Ленинград ведомства Геббельса: сочинение примитивных листовок, дурацкий пригласительный билет на бал в «Асторию» по случаю вступления в город немецких войск. Сейчас это прозвучит для Геббельса просто скандально.

Спокойно и не торопясь Аксель обдумывал свое положение, когда наконец пришел из Берлина ответ по поводу диверсионного удара по Ленинграду.

«Предложение несвоевременно. Указанное действие должно находиться в тесной связи с действиями армии, само по себе оно ничего не дает».

Еще через четыре дня Аксель получил радиограмму, которая предлагала ему передать имущество и штаты группы в «Абвер-команду-104» полковнику Шиммелю.

Спустя неделю утром Аксель вошел в кабинет Канариса, держа в руке папку с обстоятельным и самым подробным анализом ленинградской операции.

Канарис, как всегда, встретил Акселя так, будто они виделись только вчера и сегодня его офицер зашел по какому-то рядовому служебному делу.

— Как чувствуете себя? — спросил он, приглашая Акселя садиться.

— Отлично. Если говорить о чисто физическом состоянии.

— Как выдерживали морозы?

— Плохо. Но всегда помнил, что нашему солдату еще тяжелее, это помогало.

Канарис понимающе кивнул. Аксель положил на стол папку:

— Здесь все данные... анализ... выводы.

— Прекрасно. Я ознакомлюсь и приглашу вас, — сказал Канарис и стал разглядывать свои руки.

Аксель хотел уже встать, но Канарис задержал его и, глядя черными узкими глазами на папку, спросил:

— Там есть о последнем предложении диверсий?

— Нет, ни слова, я решил... — начал Аксель.

— Вы правильно решили, — перебил Канарис и подвинул к себе папку. — Идите отдыхайте. Вся война еще впереди. Я позову вас...

Генрих Гиммлер — Адольфу Гитлеру

**Из личной записки,
адресованной в главную квартиру фюрера
с грифом «Одна копия» .**

«29 января 1942 года.

Пишу Вам, все еще находясь под впечатлением совещания у Вас и Ваших слов о том, что устранение миллионов низшей расы, которые размножаются, как черви, никогда не оплатит пролитой на войне благородной немецкой крови.

Сколько в этом высокой и преданной любви к нации, какое высокое чувство ответственности за ее судьбу. Но Ваши слова — и ключ к действию всех нас. Между тем это простое, лежащее в основе основ понятие еще недоступно иным людям, занимающим высокие посты в рейхе. Оброненные Вами слова, что «абвер не справился со многими из своих задач», подводят итог затянувшимся разговорам и недоумениям о методах нашей работы на Востоке.

Главной бедой абвера мне видится графаретность мышления его руководителей. В начатую Вами новую эпоху истории нельзя прошлое делать образцом для настоящего. Мы говорим — партизанские банды в нашем восточном тылу надо поголовно истреблять. Абвер, ссылаясь на свои успехи во Франции, засылает в банды своих людей, которые должны постепенно (история подождет!) разложить банды изнутри. Вместо действия в стиле эпохи — графарет. Очень рельефно это видно в действиях абвера на фронте группировки «Север» с главной целью — Ленинград. Иодль, по Вашему высокому поручению, еще в октябре 1941 года издает специальное распоряжение для командующего группой «Север», определяющее принципиальный характер всех наших действий .

Гл. квартира фюрера

7.X.41 г.

С 123

Верховное главнокомандование

вооруженных сил № 44

1675/41 гайн. канц. начальника штаба

(отд. Л/І опер.)

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ АРМИИ

(Операт. отд.)

Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником.

Моральная правомерность этого мероприятия ясна всему миру. Если в Киеве взрывы мин замедленного действия создали величайшую опасность для войск, то еще в большей мере надо считаться с этим в Москве и Ленинграде. О том, что Ленинград заминирован и будет защищаться до последнего человека, сообщило само русское радио.

Следует ожидать больших опасностей от эпидемий. Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнем.

Небольшие неохранные проходы, делающие возможным выход населения поодиночке для эвакуации во внутренние районы России, следует только приветствовать. И для всех других городов должно действовать правило, что перед их занятием они должны быть превращены в развалины артиллерийским огнем и воздушными налетами, а население обращено в бегство.

Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня, точно так же как нельзя кормить их население за счет германской родины.

Хаос в России станет тем больше, а наше управление и использование оккупированных восточных областей тем легче, чем больше население городов Советской России будет бежать во внутренние области России.

Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров.

По поручению начальника штаба

Верховного командования

вооруженных сил ЙОДЛЬ.

Итак, ни о какой капитуляции города не может идти и речи. Немецкому солдату нечего делать в городе. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения подобных городов от огня. Нельзя кормить их население за счет германской родины. Все абсолютно ясно. Однако я располагаю точными сведениями, что в том же октябре прошлого года абвер обещал фон Леебу в помощь его армиям восстание в городе и затем создал для этого специальную службу. Зачем это делается? Ссылаются на успехи полка «Бранденбург-800» — опять прошлое и опять трафарет. Но объективно получается, что делается это в противовес продуманной тактике ведения войны. Более того — разве в случае успеха, отдав город во власть восставших, это не означало бы спасти приговоренный Вами город и его население и переложить заботу о них на плечи Германии, осложнить все дело на северо-востоке? И наконец, как это увязать с Вашей мыслью о цене германской крови и о червях низшей расы?..»

Дальнейшая часть письма уже не имеет отношения к нашей теме, и нам сейчас важно узнать одно: как они думали тогда о Ленинграде, какую готовили ему судьбу...

Работник Смольного рассказал мне чудесную историю. Вместе с А.А.Кузнецовым и П.С.Попковым он ездил на передний край. С наблюдательного пункта командира полка они просматривали линию фронта, а потом в землянке беседовали с командирами полков. Перед отъездом у командира дивизии выпили по «ворошиловской норме», закусили моченым сухарем и говорили о героизме ленинградцев.

Попков рассказал, что ему докладывали про архитектора Никольского. Голодный, сидит в своей замороженной квартире и рисует проекты арок, которые должны быть установлены на окраине Ленинграда. Под этими арками после победы будут проходить, возвращаясь домой, наши победоносные войска.

— А он случайно... не того? — спросил Кузнецов.

— Да нет... — ответил Попков. — У него были наши люди, говорят, человек в полной форме, ну, опух немного. Он сделал чуть ли не десять проектов — ведь он не знает, на каком входе в город будут строить его арку, а ему надо это знать точно, чтобы архитектурно увязать арку с тем местом.

И вдруг Кузнецов очень серьезно сказал:

— А в самом деле, где будет нужна арка? Откуда войдут в город возвращающиеся войска?

— А вы случайно... не того? — засмеялся Попков.

И тогда все стали смеяться.

Это было под Пулковом. Позади был виден Ленинград.

Примечания

1

Автор приехал в Ленинград в качестве военного корреспондента Московского радио. Посылали на месяц-два, однако пробыл там гораздо дольше... Автор вел дневник, но не по дням и часам, а записывал один-два раза в неделю то, что, казалось тогда, следовало бы запомнить. Теперь решил некоторые свои дневниковые записи включить в эту повесть. Вместо рисунков, что ли...

2

После первого опубликования этой повести в «Роман-газете» я получил письмо из Ленинграда от мастера спорта В.Гальшова. Вот, оказывается, кем стал тот мальчик, который был ранен в трамвае № 12.

3

Секретарь горкома партии Ленинграда.

4

Контрольно-пропускной пункт.

5

Рундфунк — радио.

6

В Ленинграде были случаи, когда об умершем не сообщали, чтобы не сдавать карточки.

7

Кунгс — по-латышки «господин».

8

Второй раздел — диверсии.

9

Гриф, подчеркивающий и особую важность и особую доверительность документа.

Судя по всему, Гиммлер ссылается на документ, представляющий столь большой интерес и для нас, что автор находит нужным привести его полностью.

11

Председатель Ленсовета.